ОЛДОС

# ХАКСЛИ

## И ПОСЛЕ МНОГИХ ВЕСЕН



Возможна ли жизнь, не кончающаяся смертью? В странном готическом замке в Калифорнии мультимиллионер Джо Стойт обитает в окружении юной любовницы и бесчисленных сокровищ искусства.

За его здоровьем следит дерзкий и вероломный врач, чья обязанность — предотвращать старение владельца замка.

Для Джо Стойта старость и страх смерти — самое страшное.

В этом странном месте оказывается литератор и английский джентльмен, которые, роясь в старых бумагах, неожиданно находят средство заглушать параноидальные страхи Стойта. Это открытие становится толчком фантастических событий, стремительно сменяющих друг друга.

15-00



# КЛАССИКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА

Aldous Huxley
After Many a Summer

© The Estate of Aldous Huxley, 1939

**Олдос**

# ХАКСЛИ

# И ПОСЛЕ МНОГИХ ВЕСЕН

перевод Алексея ЗВЕРЕВА

МОСКВА
Издательство
имени
Сабашниковых
1992

ББК 84.4.Вл
Х 16

Оформление А. Мусина

4703010100–001
Х ——————— КБ-22-25-1991
Б94(03)-1992

ISBN 5–8242–0004–1

© А. Зверев, перевод, 1992
© А. Мусин, оформление, 1992
© Издательство имени Сабашниковых, составление, 1992

• Из Книг Библиотеки TopLib.net •

Олдос Хаксли (1894–1963) – английский писатель, внук выдающегося биолога Томаса Генри Хаксли (Гексли). Дебютировал в 1916 г. книгой стихотворений, в 1921 г. опубликовал первый роман «Желтый Кром». Мировую известность принесли Хаксли сатирические романы «Шутовской хоровод» (1923) и «Контрапункт» (1928), изображающие духовную опустошенность, которая стала одним из следствий первой мировой войны. Вышедшая в 1932 г. антиутопия Хаксли «О дивный новый мир» дала толчок бурному развитию этого жанра на Западе.

С 1937 г. до конца своих дней Хаксли жил в Калифорнии; им созданы философский роман «Слепой в Газе» (1936) и цикл произведений, в которых сатира на грани буффонады сочетается со сложными интеллектуальными коллизиями и проблемами смысла бытия, осознаваемыми Хаксли под знаком нарастающего влияния мистических учений европейского Средневековья и Древней Индии. Этот цикл, открывшийся романом «И после многих весен» (1939), был продолжен книгами «Время должно остановиться» (1944), «Обезьяна и сущность» (1948), «Остров» (1962). Хаксли известен также многочисленными сборниками рассказов, эссе и путевых очерков.

На русский язык в 30-е годы переводились «Шутовской хоровод» и «Контрапункт», однако в дальнейшем взгляды Хаксли, отвергавшего все проявления тоталитаризма, привели к запрету на его книги в СССР. Лишь в последние годы вышли переводы романов «Желтый Кром», «О дивный новый мир», повести «Гений и богиня», рассказов.

Леса роняют желтую листву,
Рыдает небо, землю поливая.
Поля убрали. Лег работник под ботву
И после многих весен лебедь умирает.

*Теннисон*

# Часть I

## I

Обо всем договорились телеграммами: Джереми Пордейджу предстояло отыскать шофера-негра с гвоздикой в петлице серой спецовки, а негр будет высматривать англичанина средних лет, у которого в руках том стихов Вордсворта. Народу было полно, однако нашли они друг друга без труда.

– Вы от мистера Стойта?

– Сар? Мистер Пордейдж, сар?

Джереми кивнул, потянувшись к встречавшему – в одной руке Вордсворт, зонтик в другой, жест манекена, впавшего в самоуничижение: ему ведомо, как он несовершенен, как жалок и смешон, особенно в этом нелепом своем одеянии. «Незавидная внешность,– словно говорил он,– но вот я, уж каков есть». Профилактическое умаление собственной персоны, служившее формой самозащиты, давно вошло у него в привычку. Всегда выручает. Вдруг ему пришла неожиданная мысль. Он забеспокоился: а ну как на этом их демократичном Дальнем Западе принято подавать шоферу руку, тем более когда шофер из цветных, самый случай доказать, что никакой ты не сагиб, пусть твоей стране приходится волочь на себе Бремя Белых. Ладно, обойдется, решил он. Верней, вынужден был так решить,– вечная история, сказал он про себя, извлекая своего рода порочное наслаждение, когда выпало лишний раз удостовериться в присущих ему недостатках. Пока он размышлял в таком духе, шофер снял кепи, поклонился, чуть пережимая в стараниях выглядеть настоящим черным слугой, какие водились в старину, и, обнажив в улыбке половину зубов, сказал: «Милости просим в Лос-Анджелес, мистер Пордейдж, сар!» А потом оставил актерство и, сменив интонацию, доверительно сообщил: «Я бы вас по голосу, мистер Пордейдж, узнал, даже без книжки этой».

Джереми засмеялся чуть смущенно. За неделю, что он провел в Америке, о голосе заставляли его вспоминать постоянно. Негромкий, мелодичный – так в английских храмах поют вечернюю молитву,– голос сразу выдавал в нем питомца колледжа Святой Троицы, окончившего Кембридж лет за десять до Большой войны. Дома никто не обращал внимания, как он

звучит. И подшучивать по этому поводу, как посмеивался он, оберегая себя, над своей внешностью или, допустим, над тем, что стареет, Джереми никогда не приходило на ум. А здесь, в Америке, все по-другому. Стоит заказать кофе или спросить, где уборная, (в этом странном государстве никто, правда, не говорит «уборная»), как на него тут же уставятся с насмешливым любопытством, словно он какая диковина, экспонат комнаты смеха. Ужасно неприятно, что и говорить.

– Куда же носильщик запропастился? – поспешил он сменить тему.

Через несколько минут тронулись в путь. Забившись в уголок на заднем сиденье с надеждой, что шоферу теперь будет не до разговоров, Джереми Пордейдж отдался – как хорошо! – созерцанию. За окнами машины проносилась Южная Калифорния; ну что же, присмотримся повнимательнее.

Первое, что он увидел, была трущоба, населенная африканцами и филиппинцами, мексиканцами, японцами. Боже, что за пестрота, что за сочетания черного, желтого, коричневого! Что за невероятные бастарды! А девчонки – какая прелесть, и все в платьях из искусственного шелка. «И негритянки в белом шелке до колен». Самая его любимая строчка в «Прелюдии» [1]. Джереми улыбнулся. А трущоба осталась позади и уже высились громады делового квартала.

Лица на улицах посветлели. Лавки виднелись на каждом углу. Мальчишки выкрикивали заголовки первой полосы: «Франко наступает на Барселону». Девушки на тротуарах почти все, казалось, нашептывают молитву, но, вскоре сообразил Джереми, не в созерцание они погружены, просто жуют не переставая. Резинка вместо Бога. Машина неожиданно нырнула в туннель и вылетела из него в другой мир – просторный, неприглаженный, мир пригородов, рекламных щитов, заправочных станций, низеньких домиков, укрывшихся в саду, пустырей, свалок, там и сям попадавшихся магазинчиков, контор, церквей: первометодистские, выстроенные – какой сюрприз! – в стиле гранадских Чертогов, католические – подражания Кентерберийскому собору, синагоги – имитация Айя-Софии, молельни последователей Христианской науки – эти украшены колоннами на цоколе, совсем как банк. Было

[1] Поэма В. Вордсворта (1805). Здесь и далее примечания переводчика.

раннее зимнее утро, но солнце сияло ослепительно – на небе ни облачка. Машина катила к западу, и лучи, разгоравшиеся сзади, высвечивали, как прожектором, все эти здания, щиты, зазывные надписи – точно специально старались показать новому человеку, в каких местах он очутился.

ДАВАЙ ЗАКУСИМ! КОКТЕЙЛИ. НОЧЬЮ ТОЖЕ РАБОТАЕМ

ПИВО ДЖУМБО

ВКЛЮЧАЙ МОТОР ПРОЕДЕШЬ ВСЮДУ! ЛУЧШИЙ БЕНЗИН «КОНСОЛЬ»

ПАНТЕОН «БИВЕРЛИ». ПРЕКРАСНЫЕ ПОХОРОНЫ НЕДОРОГО

Машина неслась вниз, и посреди пустого поля мелькнул ресторан – дом в форме сидящего бульдога, вход между передними лапами, по яркому фонарю в обоих глазах.

«Зооморфизм,– неслышно пробормотал Джереми, и снова: – Зооморфизм». У него, ученого педанта, было пристрастие к таким словам. Бульдог сгинул в вечность.

АСТРОЛОГ, ВЫЧИСЛЯЮ СУДЬБУ, УГАДЫВАЮ ХАРАКТЕР

СВЕРНИ! ОРЕХОВЫЕ КОТЛЕТЫ – что это за штука? Попробует при первой же возможности, решил он. Порцию ореховых котлет и пиво «Джумбо».

ОСТАНОВИТЕСЬ! ЛУЧШИЙ БЕНЗИН «КОНСОЛЬ»

Шофер вдруг и правда остановился. «Десять галлонов самого-самого, – сказал он; потом, повернувшись к Джереми, добавил: – Наша фирма. Мистера Стойта, то есть. Он президент, – и указал на щит, стоявший напротив. ЗАЙМЫ НАЛИЧНЫМИ. ОБСЛУЖИВАЕМ ЗА ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ,– прочел Джереми.– ГОРОДСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ. СОВЕТЫ, ВЕДЕНИЕ ДЕЛ».

– И эта тоже наша, – с гордостью пояснил шофер.

Поехали дальше. С гигантского щита смотрело лицо красивой молодой женщины, омраченное, словно лик Магдалины, печалью. «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ! – гласила надпись. – НАУКА ДОКАЗАЛА: 73 ПРОЦЕНТА ВЗРОСЛЫХ СТРАДАЮТ КАРИЕСОМ».

В МИНУТУ СКОРБИ ПУСТЬ УТЕШИТ ВАС ПАНТЕОН «БИВЕРЛИ»

ПОДТЯЖКА КОЖИ. ПЕРМАНЕНТ. МАНИКЮР. САЛОН КРАСОТЫ «У БЕТТИ»

Рядом с салоном красоты он заметил вывеску «Вестерн юнион» [2]. Господи, чуть не забыл! Телеграмма матери... Джереми наклонился к шоферу и извиняющимся тоном, которым всегда разговаривал со слугами, попросил на минуту остановиться. Свернули к стоянке. Джереми вылез и с выражением озабоченности, написанным на невыразительном кроличьем лице, поспешил через улицу к телеграфу.

«Миссис Пордейдж, усадьба «Араукарии», Уокинг, Англия»,– писал он, улыбаясь, на бланке. Его всегда смешила изысканная абсурдность этого адреса. Араукарии в каком-то Уокинге. Когда было куплено это поместье, мать собиралась подобрать какое-нибудь другое название,– это уж слишком откровенно мещанское, получается юмор совсем в духе Хилэра Беллока [3]. «Но в том весь шарм! – запротестовал он.– Это же очаровательно». И постарался убедить ее, что людям, как они, именно и подобает жить в усадьбе с таким именем. Восхитительный комический эффект от несоответствия названия усадьбы и характера ее обитателей! И есть некая прелестная, некая извращенная гармония в том, что старая приятельница Оскара Уайльда, язвительная, высокопросвещенная миссис Пордейдж сочиняет свои блестящие письма под сенью «Араукарий», что под этими же араукариями, чьи кроны украсили какой-то, прошу заметить, Уокинг, создаются труды, в которых ученость сдобрена вяловатым, но утонченным юмором, принесшим определенную репутацию ее сыну. Миссис Пордейдж сразу поняла, куда клонится его мысль. Хвала Всевышнему, нет нужды растолковывать ей, что да зачем. Можно просто намекнуть, небрежно оборвав фразу на полуслове,– она обязательно поймет. «Араукарии» так «Араукариями» и остались.

Написав адрес, Джереми помедлил, в задумчивости нахмурился и уже было воспроизвел знакомую картинку с покусыванием карандаша, однако оказалось, что этот карандаш увенчан латунным колпачком да к тому же закреплен цепочкой на стойке. «Миссис Пордейдж, усадьба «Араукарии», Уокинг, Англия»,– вслух прочел он в надежде, что эти слова подвигнут его сочинить текст корректный и безупречный, какого от него и ждала матушка,– одновременно ироничный и нежный,

[2] Телеграфная компания.

[3] Английский романист (1870–1953), популярный у обывателей.

содержащий с юмором выраженное чувство настоящей преданности ей, признание материнского права им командовать и легкую насмешку над этими ее стремлениями, чтобы старушка могла успокоить совесть, сочтя сына совершенно свободным человеком, а саму себя кем угодно, только не тираном. Трудно все это выразить, особенно карандашом, закрепленным на цепочке. После нескольких неудачных попыток он удовольствовался вот этим посланием, прекрасно понимая, что результат неудовлетворителен: «Субтропический климат позволяет нарушить зарок касательно белья тчк радовался бы твоему присутствию здесь ради меня тебе трудно достоинству оценить этот недоконченный Борнмут немыслимых размеров тчк».

– Что недоконченный? – спросила девица, сидевшая за окошком.

– Б-о-р-н-м-у-т [4], – продиктовал Джереми. Он улыбнулся; за бифокальными стеклами очков моргнули голубые глаза, и движением совершенно неосознанным, автоматически повторяемым всякий раз, как рождалась одна из его шуточек, он прикоснулся к лысине на самой макушке. «Ну, вы знаете, – выговорил он с особенной мелодичностью,– слышали, наверное, есть такой мутный заливчик, куда ни один корабль не пристанет, разве что деваться будет некуда».

Девушка уставилась на него пустыми глазами, а затем, догадавшись по выражению лица Джереми, что было сказано нечто забавное, да вспомнив девиз «Вестерн юнион» – вежливость во всем,– одарила его ослепительной улыбкой, которой явно добивался старый болван, и дочитала: «Желаю приятных дней Грасе тчк нежно целую Джереми».

Стоила телеграмма недешево, но к счастью, подумал он, убирая в карман бумажник, к счастью мистер Стойт платит ему сверх всякой меры щедро. Контракт на три месяца, шесть тысяч долларов. Что с того, что потратился?

Он вернулся к машине, и снова покатили. Позади оставались миля за милей, а пригороды тянулись нескончаемо – домики, заправочные станции, пустыри, церкви, магазины. И слева, и справа до самого горизонта тянулись жилые кварталы, высились пальмы, перечные деревья, акации.

[4] Курорт на южном побережье Англии.

ОБЕД ПЕРВЫЙ КЛАСС, МОРОЖЕНОЕ КИЛОМЕТР ВЫСОТОЙ

ХРИСТОС СПАСИТЕЛЬ

ГАМБУРГЕРЫ

Зажегся красный сигнал светофора. К окну подбежал мальчишка с газетами. «Франко утверждает: «Большие успехи в Каталонии» – прочел Джереми и отвернулся. Мир стал ужасен до такой степени, что ему это просто скучно. Из остановившегося перед ними автомобиля вышли две старухи с завитыми перманентом сединами, обе в штанишках малинового цвета, у каждой по йоркширскому терьеру на руках. Собак опустили на землю у светофора. Пока они раздумывали, воспользоваться ли предоставившимся удобством, вспыхнул зеленый свет. Негр включил первую скорость, машина покатила вперед, в будущее. Джереми думал о матери. Как на грех, у нее ведь тоже йоркширский терьер.

ОТЛИЧНЫЕ ЛИКЕРЫ

САНДВИЧ С ИНДЕЙКОЙ

ПОМОЛИСЬ В ЦЕРКВИ – ДУШЕВНЫЙ ПОКОЙ ВСЮ НЕДЕЛЮ

ПРОЦВЕТАНИЕ БИЗНЕСА – **ВАШЕ** ПРОЦВЕТАНИЕ

Мелькнуло еще что-то зооморфное, на сей раз офис торговца недвижимостью, неотличимый от египетского сфинкса.

ИИСУС ПРИДЕТ СКОРО

ХОЧЕШЬ ОСТАТЬСЯ НАВСЕГДА ЮНОЙ? ЛИФЧИКИ «ТРИЛФОРМ»

ПАНТЕОН «БИВЕРЛИ». КЛАДБИЩЕ НЕ КАК ДРУГИЕ

Негр, похожий на торжествующего Кота в сапогах, который похваляется сокровищами маркиза Карабаса, покосился через плечо на Джереми и, указывая на этот рекламный щит, сказал: «Тоже наше!»

– Вы о Пантеоне «Биверли»? Шофер кивнул.

– Самое лучшее в мире кладбище, уж это точно,– сказал он и, с минуту помедлив, добавил: – Вам, наверно, посмотреть охота? Вообще-то нам по пути.

– Очень было бы любопытно,– ответил Джереми со всей своей английской воспитанностью. Потом, решив, что надо бы выразить испытываемые им чувства живее и демократичнее, откашлялся и, постаравшись, чтобы прозвучало совсем по-местному, выговорил: полный блеск. Произнесенная его кембриджским, в Святой Троице приобретенным выговором,

фраза прозвучала до того ненатурально, что от смущения он чуть не залился румянцем. К счастью, шофер, слишком занятый маневрами на шоссе, ничего не заметил.

Свернули направо, во весь опор понеслись мимо молельни розенкрейцеров, ветеринарной лечебницы, еще одной больницы для кошек и собак, училища, где готовили барабанщиц для парадов; потом щит, и еще щит с рекламой Пантеона «Биверли». Когда по бульвару Сансет поехали влево, Джереми заметил девушку, которая шла за покупками в ртутного оттенка голубом купальнике без бретелек,– сверху был наброшен жакет из черного меха, волосы цвета платины. Но и она тут же исчезла, канув в вечность.

Теперь катили по дороге у подножья крутых холмов и по обе стороны теснились маленькие, очевидно, дорогие магазинчики, ресторанчики, ночные клубы,– жалюзи опущены, пока не уйдет солнце,– офисы, виллы. А потом пропадали из виду, тоже становясь невозвратимыми. Дорожный знак оповещал, что миновали черту города Биверли-Хиллз. Пейзаж изменился. Дорога петляла среди садов, за которыми виднелись роскошные особняки. Сквозь деревья Джереми различал фасады домов – почти сплошь новых, почти неизменно свидетельствовавших, что архитекторы были люди со вкусом; элегантные, изящные подражания замкам, прославившим Латьенза [5], этакие миниатюрные трианоны и монтичело, легкомысленные пародии на Корбюзье с его громоздкими утюгами для жилья, полные фантазии мексиканские постройки, напоминавшие настоящие гасиенды, или фермерские жилища, прямо Новая Англия. Повернули направо. Шоссе шло под сенью гигантских пальм. Заросли пышной травы светились под солнцем красноватым отблеском. Виллы сменяли одна другую, словно павильоны на бесконечной международной выставке. За Глостерширом возникала Андалузия, в свою очередь уступая место Туреню и Оахаке, Дюссельдорфу и Массачусетсу.

– Тут Гарольд Ллойд живет,– сказал шофер, показывая на палаццо, точно бы перенесенное из садов Боболи [6]. – Тут Чарли Чаплин. А вон там, видите? – там Пикфэр.

Дорога круто взмыла вверх. Через укутанную тенью впадину шофер указал на противоположном холме что-то наподобие

[5] Латьенз, Эдвин Лэндсир (1864–1944) –английский зодчий.

[6] Вилла и знаменитый парк на окраине Флоренции.

покоев тибетского ламы. «А это, сар, владение самой Джинджер Роджерс. Точно так, сар»,– и, не отпуская руля, расплылся победительной улыбкой.

Еще шесть-семь поворотов, и автомобиль оказался на вершине. Внизу под ними простиралось ровное пространство, а город, видный отчетливо, как на карте, исчезал вдали, растворяясь в розоватой дымке.

Впереди и справа, и слева высились горы – хребет за хребтом, насколько видит глаз, этакая Шотландия, только обезвоженная и безлюдная, раскинувшаяся над голубым небом пустыни.

Обогнули оранжевого цвета уступ, и тут совершенно неожиданно открылась невидимая прежде скала, которую венчала электрическая надпись гигантскими буквами: «ПАНТЕОН «БИВЕРЛИ». КЛАДБИЩЕ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ»,– неоновые трубки были высотой по шесть футов, а на самом гребне красовалась воспроизведенная в натуральную величину Пизанская башня, только она не падала.

– Видали? – спросил негр возбужденно.– Башня Воскресения. Двести тысяч долларов, вот она сколько стоила. Двести тысяч, сар, так-то.– В его голосе звучал неподдельный восторг. Оставалось заключить, что всю эту сумму он выложил из своего кармана.

## 2

Час спустя они двинулись дальше, успев осмотреть все. Абсолютно все. Сбегающие вниз лужайки, словно зеленые оазисы среди выжженных гор. Тенистые рощи. Памятники, высящиеся над травой. Участок для кошечек и собачек, украшенный мраморной группой в подражание «Гордости и дерзости» Лэндсира [7]. Миниатюрную Часовенку Поэта – уменьшенное воспроизведение Св. Троицы в Стрэтфорде на Эвоне, включая надгробие Шекспира и органную музыку двадцать четыре часа в сутки,– запись, автоматически воспроизводимая на аппарате фирмы «Вурлицер» и слышимая по репродукторам в любом уголке кладбища.

[7] Лэндсир, Эдвин Генри (1802–1873), английский художник-анималист.

Кроме того, за ризницей были еще Покои невесты (поскольку в Часовенке совершалось и венчание, и погребенье), причем Покои невесты, сообщил шофер, недавно обставили наново, сделав неотличимыми от будуара Нормы Ширер из фильма «Мария Антуанетта». И еще, рядом с Покоями невесты, была облицованная великолепным черным мрамором Галерея праха, которая вела к крематорию, где в трех новейшей конструкции нефтяных печах всегда поддерживалось пламя, чтобы никакие чрезвычайные обстоятельства не застали врасплох.

Сопровождаемые неотступными трелями «Вурлицера», они съездили взглянуть и на Башню Воскресения, но только снаружи, потому что в ней располагался директорат Кладбищенской корпорации Западного побережья. Осмотрели Детский уголок, где красовались статуи Питера Пэна и Младенца Иисуса, а гипсовые отроки играли с медными зайцами, и цвели лилии на пруду, и было устройство, называвшееся Фонтан радужной музыки,– высоко били водяные струи, одновременно вспыхивали разноцветные огни и повизгивал неотвратимый «Вурлицер». А вслед за тем, уже наспех,– Сад Отдохновенья, Маленький Тадж Махал, Европейский колумбарий. И под конец, словно шофер специально приберегал это высшее и непререкаемое свидетельство величия своего патрона,– сам Пантеон.

Полно, убеждал себя Джереми, да быть не может, чтобы подобное существовало на земле. Разумеется, это невероятно. Пантеон «Биверли» был нечто невообразимое, решительно не укладывающееся в его фантазии. Но теперь мысль, что такое возможно, уже не оставляла его, и значит, он это действительно видел. Закрыв глаза, чтобы не мешал проносившийся за окнами пейзаж, Джереми восстанавливал в памяти деталь за деталью это неправдоподобное зрелище. Архитектурное решение, вдохновленное «Островом мертвых» Беклина. Закругленный вестибюль. Копия роденовского «Поцелуя», подсвеченная розовыми лучами. За нею пролеты лестницы из темного мрамора. Восьмиярусный колумбарий, бесконечные галереи, могильные плиты ряд за рядом. Бронзовые и серебряные урны с прахом – настоящая выставка спортивных трофеев. Витражные окна в стиле Бурне-Джонса. Надписи, высеченные в мраморе. Звуки «Вурлицера» на каждом этаже. Скульптуры...

Вот они всего фантастичнее, подумал Джереми, не открывая глаз. Скульптуры преследовали его почти так же неистово, как «Вурлицер». Куда ни взгляни, обязательно статуя. Сотни и сотни статуй, которые, надо думать, закупили оптом где-нибудь в Карраре или Пьетросанте в мастерских монументального искусства. И неизменно – обнаженная плоть, и только женская, и пышности совершенно необычайной. Такими изваяниями всего бы лучше украсить зал дорогого борделя в Рио-де-Жанейро. «Смерть! где твое жало?» – написано было по мрамору при входе в каждую галерею. Безмолвные статуи, с предельным красноречием отвечая вопросившему, крепили его дух. Девы, чей наряд ограничивался поясом, накрепко впечатанным в паросские телеса, чтобы достичь выразительности, как у реалиста Бернини. Склоненные юные дамы: одни стыдливо прикрылись ладошками, другие вольготно вытянулись на ложе, а эти словно мучимы пароксизмом, а те, выпятив попочку, нагнулись, чтобы завязать шнурок на сандалии, и вот еще – откинувшиеся на скамье. Юные дамы с голубками, с пантерами, с другими юными дамами – глаза возведены горе, говоря о пробуждении души. «Я есмь Воскресение и Жизнь»,– вещали надписи.– «Господь – Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться». Ни в чем, будь то хоть «Вурлицер», хоть дева в туго впечатанном поясе. «Смерть победою поправ»,– не победою духа, но торжеством тела, хорошо откормленного тела, навсегда юного, навеки атлетичного, непреходяще притягательного. В мусульманском раю коитус длится шесть столетий. А в этих новых христианских кущах не прервется всю тысячу лет, да сколько других радостей – теннис нескончаемый, и гольф вековечный, и бассейн неусыхающий.

Машина вдруг нырнула вниз. Открыв веки, Джереми обнаружил, что почти кончились горы, среди которых был воздвигнут Пантеон.

Дальше тянулась рыжеватого цвета долина, на которой выделялись зеленые квадратики поместий и белые домики. А с другой стороны, милях в пятнадцати-двадцати на горизонте теснились розоватые холмы.

– Где мы? – спросил он.

– Долина Сан Фернандо,– сказал шофер.– Там вон,– он показал на участок посередине,– дом Граучо Маркса. Да-да, сар, того самого.

У подножья холма повернули налево и покатили по широкому шоссе, асфальтовой лентой среди загородных вилл прорезавшему долину. Шофер прибавил газа; щиты сменяли один другой с головокружительной скоростью. МОРОЖЕНОЕ ЭКСТРА ОБЕД ДАНСИНГ В ОТЕЛЕ «ГОНОЛУЛУ» ИСЦЕЛЯЕМ ДУХ ТАКЖЕ ИРРИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ СОСИСКИ «БОКЛОНГ» КУПИТЕ ДОМ СВОЕЙ МЕЧТЫ СЕГОДНЯ. А дальше, за щитами – геометрически четкие ряды абрикосовых и ореховых деревьев, и они тоже исчезли бесследно, и промельками набегали, пропадая, едва различимые картины, как будто кто-то стремительно раскрывал и запахивал раскрашенный веер.

Сменяли друг друга бесконечные апельсиновые рощи – темно-зеленое с золотом, словно поблескивало под солнцем шитье на мундирах полка, растянувшегося в марше на километры. Вдали горы вычерчивали свою непостижимую диаграмму взлетов и обвалов.

– Тарзания,– вдруг объявил шофер; и действительно, над шоссе было протянуто полотнище, на котором белыми буквами вывели это название.– Вот он, колледж Тарзания,– сказал негр, указывая на несколько зданий в испанском колониальном стиле, теснившихся вокруг базилики, которая напоминала о римских соборах.– Мистер Стойт им недавно новый корпус построил, не слыхали?

Взяв направо, ехали теперь не такой оживленной магистралью. Апельсиновые рощи кончились, вместо них несколько миль тянулись просторные поля люцерны и еще какой-то остро пахнувшей травы; потом опять пошли плантации, и апельсины выглядели еще роскошнее, чем прежде. Горы по северной границе долины придвинулись ближе, а с запада набегал другой хребет, четко видимый в левое окно. Автомобиль шел на полной скорости. Дорога резко повернула, словно нацеливаясь туда, где должны были сомкнуться обе горные цепи. В просвете между садами Джереми Пордейджу неожиданно открылось поразительное зрелище. Примерно в полумиле от гор, как остров невдалеке от скалистого побережья, круто взмывал вверх каменный холм, и казалось, что между ним и равниной разверзлись пропасти. А на самой вершине утеса, точно бы цветущий куст, выросший из гранитных плит, виднелся замок. И какой! Главная башня была размерами в небоскреб, стены сбегали вниз мощно и без усилий, как поток,

несущийся по бетонному руслу. Чистая готика, средневековье, баронская цитадель – но дважды укрепленная, готическая до того, что готике как бы придали особую силу, средневековая больше, чем любой памятник тринадцатого столетья. Ведь это... это Сооружение, как Джереми, не подыскав другого слова про себя его обозначил, выглядело средневековым не в силу вульгарной исторической неизбежности, как замки наподобие Куси или там Олнвика [8], нет, средневековым его сделали просто из каприза или по настроению, можно сказать, платонически. Такое средневековье могло пригрезиться лишь остроумному архитектору, который пожелал возвести нечто старинное и ни о чем другом не заботился, а чтобы его желание осуществилось, нужны были самые искусные инженеры, знающие, на что способна современная техника.

Джереми едва набрался духу, чтобы осведомиться, указывая на кошмар, венчающий вершину утеса:

– Господи, а это что такое?

– Это-то? Да вы что, это же мистера Стойта дом,– ответил водитель и, вновь испытав прилив гордости, словно поместье принадлежало лично ему, добавил: – Замечательный дом, правда ведь?

Над шоссе вновь сомкнулись апельсиновые рощи; откинувшись на сиденье, Джереми Пордейдж встревоженно размышлял, уж не вляпался ли он в историю, приняв предложение мистера Стойта. Платят, конечно, по-королевски, а работа – предстояло составить каталог почти легендарного архива Хоберков – доставит ему истинное наслаждение. Но этот Пантеон, потом это... Сооружение. Джереми покачал головой. Разумеется, ему было известно, что мистер Стойт богат, что у него собрание живописи и необыкновенная вилла в Калифорнии. Но никто не предупредил его, что следует ожидать такого. Смешное пуританство присущего ему хорошего вкуса было оскорблено, его страшила мысль, что скоро он познакомится с человеком, способным к столь чудовищной фантазии. Какой между ними может возникнуть контакт, какая общность мысли или чувства? И зачем он выбрал именно этого специалиста? Ведь ясно же, что книги данного автора привлечь его не могли. Да и знает ли он эти книги? Вообще представляет

[8] Куси – замок XIII века под Компьеном; Олнвик – замок в г. Нортумберленде; построен в 1309 г.

ли хоть сколько-нибудь, кто я такой? Способен ли, допустим, понять, отчего мне так важно, чтобы усадьба называлась «Араукарии», как прежде? Сумеет ли оценить мнение насчет...

Беспокойные его мысли прервал клаксон – водитель сигналил громко и требовательно. Джереми взглянул на дорогу. Метрах в тридцати перед ними покряхтывая полз по шоссе древний фордик. К его крыше, багажнику и бортам были кое-как привязаны убогие пожитки – матрасы, старая железная плита, корзины с кастрюлями, сложенная палатка, ванночка из жести. Молнией они обогнали этот рыдван, и Джереми на секунду различил лица трех хилых детишек с потухшими глазами, женщины, кутавшейся в дерюгу, изможденного небритого мужчины.

– Транзитные,– объяснил шофер, и в голосе его звучало презрение.

– Кто? – переспросил Джереми.

– Да транзитные, не видите разве? – повторил негр, уверенный, что все объяснено.– Эти, видать, из какой-то дыры, где пылища до небес. Номер у них канзасский. Наши корольки собирать заявились.

– Собирать корольки? – отозвался Джереми, ничего не понимая.

– Ну, апельсины такие, корольки называются,– сказал шофер.– Самое им времечко. Погода нынче для корольков стоит, лучше не бывает.

Еще раз выкатились на плоскую равнину и опять перед ними громоздилось Сооружение – теперь оно казалось просто гигантским. У Джереми было время вникнуть в детали. Перемежаемая башенками стена огибала подножие холмов и за нею протянулась вторая оборонительная система – посреди утеса, как и подобало строить согласно понятиям, утвердившимся после крестовых походов. А сам замок, окруженный службами, квадратом придавливал вершину.

Оторвавшись от созерцания главной башни, Джереми обратил внимание на домики, разбросанные по долине у подножия гор. Один из них, самый большой, украшала доска, на которой позолоченными буквами было написано: Приют Стойта для больных детей. Развевались на ветерке два флага – звездно-полосатый и белый, с вышитым посредине малиновым С. Рощица высохших каштановых деревьев закрыла этот вид. И почти тут же шофер сбросил скорость, нажимая на тормоза.

Машина плавно подкатила к обочине, обогнав человека, бодро шагавшего по траве рядом с дорогой.

– Подвезти вас, мистер Проптер? – окликнул его шофер.

Тот обернулся и, улыбаясь, подошел к знакомому водителю. Это был крупный мужчина, широкоплечий, но довольно сутулый, с копной каштановых волос, в которых всюду проглядывала седина; лицо у него, подумалось Джереми, в точности как лики святых, которых приверженные готике ваятели помещали на самом верху в западном нефе,– с глубокими впадинами, острыми углами, густыми тенями, изборожденное резко прочерченными морщинами, чтобы выразительность не терялась даже на большом расстоянии. Однако же, продолжал он свои размышления, не просто выразительное лицо, его издалека заметишь да и вблизи запомнится, в общении один на один,– необычное, тонкое лицо, свидетельствующее о способности глубоко чувствовать, но также и о большой воле, о доброте, ясности ироничного ума, собранности и силе.

– Привет, Джордж,– сказал подошедший,– молодец, что остановился.

– Рад сердечно видеть вас, мистер Проптер,– расплылся негр. Обернувшись, он ткнул пальцем в Джереми и, демонстрируя изысканность манер, сказал: – Познакомьтесь, пожалуйста, это мистер Пордейдж, он из Англии, а это мистер Проптер.

Пожали друг другу руки, обменялись приветствиями, и мистер Проптер сел в машину.

– Так вы гость мистера Стойта? – спросил он, когда тронулись дальше.

Джереми покачал головой. Нет, он приехал по делу, надо посмотреть кое-какие рукописи, коллекцию Хоберков, точнее говоря.

Мистер Проптер внимательно слушал его, время от времени кивая, и, когда Джереми договорил, с минуту помолчали.

– Возьмем христианина из тех, что вымирают, и отчасти еще стоика,– сказал наконец Проптер задумчиво,– добавим хорошие манеры, немножко денег, образование на старинный лад, все это тщательно перемешиваем и держим несколько лет в университете. Получаем: ученый и джентльмен. Что же, не самый скверный образец человеческой породы.– Он засмеялся.–

Было время, давно, правда, когда я и сам соответствовал такому образцу.

Джереми взглянул на него с недоумением.

– Послушайте,– осведомился он,– вы не тот ли самый Уильям Проптер? «Этюды по истории Контрреформации», или я ошибаюсь?

Сосед кивнул.

Джереми взирал на него с изумлением и восторгом. Возможно ли? – спрашивал он себя. Эти «Этюды» принадлежали к числу его любимых книг, он всегда считал, что в своем жанре они само совершенство.

– Ну, просто с ума сойти,– вымолвил он, постаравшись, чтобы мальчишеское это восклицание получилось у него как бы заключенным в иронические кавычки. Джереми знал, сколь утонченных эффектов можно достигнуть, обдуманно сдобрив фразу или написанное предложение каким-нибудь жаргонным словечком, детской присказкой или непристойностью.

– Нет, черт возьми, просто невероятно! – снова воскликнул он, но, почувствовав, что по собственной воле сморозил глупость, закашлялся и принялся поглаживать лысину.

Опять наступило молчание. А потом, обманув ожидания Джереми, приготовившегося потолковать об «Этюдах», мистер Проптер покачал головой и заметил:

– Все мы большей частью с ума сходим.

– Вот именно, – отозвался Джереми. – И черт нас заберет, никаких сомнений. В психологическом смысле, – пояснил он.

Каштановая роща кончилась, и снова, теперь по правому борту, высилось Сооружение. «Бедный Джо Стойт,– мистер Проптер указал на замок.– Угораздило же его взвалить себе этакое на шею! На нем и так достаточно висит. Нам-то с вами сильно повезло, вы не находите? – оттого что про вас, про меня только и скажешь: ученый, джентльмен, а никем больше мы просто не могли стать.– Снова пауза.– Да, бедняга Джо,– продолжал он, улыбаясь,– он-то не джентльмен, не ученый. Вам с ним немножко трудно будет. Он, само собой, попробует вас сразу подавить, поскольку принято думать, что как личность такие, как вы, стоите выше, чем он. Уж не говоря о том,– он взглянул на Джереми с выражением, полным иронии, но и симпатии,– что вы, кажется, из тех людей, которых прямо-таки нельзя не подавлять. О да, вы ученый, вы джентльмен, но есть в вас, боюсь, и что-то особенно притягательное для убийц.

Несколько досадуя на такую откровенность, однако тронутый дружеским расположением, Джереми нервно улыбнулся и закивал.

– Возможно,– говорил мистер Проптер,– вы не станете так уж провоцировать Джо Стойта на убийство, когда я вам расскажу, как вышло, что он обрек себя вот этому проклятью.– Проптер снова указал на Сооружение.– Мы с ним учились вместе в школе, только тогда его никто не называл Джо. Называли его кто Недотепой, кто Толстячком. Видите ли, бедняга Джо был у нас единственный толстый мальчишка, один-единственный на всю школу.– Он минуту молчал, потом переменил тон.– Ума не приложу, отчего всегда издеваются над толстяками. Видимо, ожирение отталкивает инстинктивно. Подумайте, ведь совсем нет толстых святых, ну разве что старичок Фома Аквинский, да он, по-моему, не настоящий святой, если судить строго, то есть в общепринятом понимании святым он не был, а общепринятое понимание самое верное. Если Фома святой, значит, Винцент де Поль [9] – нет. И наоборот, раз Винцент святой, а кто с этим спорит, то уж Фома никак. Думаю, и по той причине, что у него огромное брюхо. Как знать? Это я, прочем, так, не по делу. Мы же о Джо Стойте говорили. А Джо, несчастный малый, был, как я уже сказал, толст, потому все мы над ним издевались. О Господи, ну и доставалось ему от нас за то, что с гландами у него был непорядок! Вот он и вознаградил себя за те унижения – а сами видите, каким чудовищным способом. Слишком старался... Эге, да я уже дома,– сказал он, выглянув из окна машины, притормозившей у маленького белого бунгало под эвкалиптами. – Договорим в следующий раз. Помните только, если бедняга Джо станет так уж вам грубить, это все из-за пережитого им тогда в школе, так что постарайтесь его пожалеть – и не переусердствуйте, себя жалеючи.– Он захлопнул дверцу и, помахав шоферу, быстро пошел по тропинке к своему дому.

Машина тронулась. Смущенный разговором с автором «Этюдов», Джереми, однако, чувствовал себя теперь увереннее и без особого волнения смотрел на проплывавший за окнами пейзаж. Они были уже совсем рядом с Сооружением; тут он впервые заметил, что холм, на котором стоит замок,

[9] Католический священник, несколько лет провел в плену у пиратов; канонизирован в 1737 г.

оказывается, окружен рвом с водой. Приближаясь к этому рву, миновали две колонны, украшенные геральдическими львами. Очевидно, при этом сработал фотоэлемент, потому что, едва львы остались позади, начал опускаться подъемный мост. Он коснулся земли в тот самый момент, когда им предстояло пересечь ров, и, плавно миновав мост, автомобиль остановился перед воротами, за которыми виднелся проезд к главной башне. Шофер вышел и сообщил об их прибытии по телефону, спрятанному в нише внешней стены. Бесшумно поднялась хромированная решетка, распахнулись двойные створки из нержавеющей стали. Машина поползла вверх. Вторую линию стен миновали через другие ворота, автоматически открывшиеся перед ними. Сразу за этими стенами был еще один мост – железобетонный, размерами с теннисный корт. В тени под ним Джереми различил что-то знакомое. Ах, разумеется, точная копия грота в Лурде.

– Мисс Монсипл, она, знаете, из этих, из католиков,– объяснил шофер, кивнув по направлению к гроту.– Он это для нее построил. Мы-то тут все пресвитериане, у нас прямо семья,– закончил он.

– А кто такая мисс Монсипл?

Водитель с минуту помолчал, подбирая слова. Наконец, сказал:

– Ну, молодая леди, а мистер Стойт с ней вроде как дружит,– и переменил тему.

Взбирались на вершину. Площадка над гротом была засажена кактусами. Потом дорожка вильнула, огибая северный склон утеса, а кактусы сменились травой и кустами. На маленькой террасе, выглядевшей слишком элегантно,– словно бы ее воспроизвели по картинке из журнала «Вог», издаваемого для богинь,– извергала водяные струи превосходно выточенная грудь бронзовой нимфы работы Джанболоньи [10]. Чуть дальше, за железной сеткой, скакало по камням семейство павианов и, словно состязаясь в непристойности, демонстрировало свои безволосые зады.

Ехали все вверх и вверх, пока не развернулись на асфальтовой платформе, мощными консолями закрепленной над

[10] Джанболонья (Джованни Болонья, 1529–1608) –скульптор и архитектор, ученик Микеланджело, автор знаменитой «Венеры», установленной в садах Боболи.

обрывом. Решив напоследок снова стать слугой из добрых старых времен, водитель снял кепи, исполнил весь ритуал, подобающий встрече молодого хозяина, возвратившегося домой на плантацию, а затем принялся выгружать багаж.

Джереми Пордейдж подошел к баллюстраде и огляделся. Почти сто футов обрыв падал едва ли не отвесно, а затем постепенно сбегал к внутренней стене и за нею до первого ряда укреплений. Дальше начинался ров, за которым раскинулись апельсиновые рощи. «Im dunklen Laud die goldn, Orangen gltihen» [11], – пробормотал он про себя, и еще: «В тени ветвей оранжевым блеснул, Как света луч в ночи зеленой». Марвелл [12] описал, пожалуй, точнее, чем Гёте, подумал он. Теперь апельсины светились еще ярче и приобрели для него особый смысл. Джереми всегда было сложно осознать живые, непосредственные впечатления – они вечно причиняли ему одно беспокойство, более или менее сильное. Жизнь входила в берега, а вещи наполнялись значением только после того, как для всего находилось нужное слово и свое местечко под переплетом. С апельсинами он справился отлично, но как быть с замком? Он повернулся и, прислонясь к парапету, взглянул вверх. Сооружение нависало над ним оскорбительно громоздкое. Никто не подобрал поэтических образов вот для этакого. Ни Роланд, ни тот Король, который влюбился в блоху, ни Мармион, ни леди из Шалотта или сэр Леолайн [13] – ничто не годится. Да, даже сэр Леолайн, повторил он, наслаждаясь своей способностью истинного знатока, умеющего сразу опознать обычные для романтиков нелепости, даже этот богатейший барон, у которого был – постой-ка, кто же у него был? Ну разумеется, сука мастиф, причем беззубая. А у мистера Стойта павианы и Священный грот, у мистера Стойта хромированная решетка на воротах и архив Хоберков, у мистера Стойта кладбище, похожее на площадку аттракционов в парке, и замок, похожий...

---

[11] «Где пурпур королька прильнул к листу...» – Гёте, «Миньона», перевод Б. Пастернака.

[12] Марвелл, Эндрю (1621 –1678) – английский поэт.

[13] Леди Шалотта – в романах Круглого Стола несчастная возлюбленная Ланселота; Мармион – герой поэмы Вальтера Скотта, погиб в битве с англичанами, решившей судьбу Шотландии; сэр Леолайн – герой баллады английского романтика Роберта Саути (1774–1843), надменный лорд.

Послышался громкий скрежет; тяжелые, инкрустированные шляпками гвоздей двери замка – раннеанглийский стиль – распахнулись и, словно подгоняемый вихрем, краснолицый, плотно сбитый человечек с копной белоснежных волос влетел на террасу, устремясь прямиком к Джереми. Выражение его ничуть не изменилось, когда он подбежал вплотную. Все та же неподвижная и неулыбчивая маска, которую так любят американские служащие, когда им приходится иметь дело с иностранцами,– считают, что, обходясь без требуемых обиходом любезностей и ужимок, они скорее внедрят в чужеземца мысль: тут свободная страна, пусть никто не навязывает им своих понятий.

Поскольку Джереми воспитывала несвободная страна, при появлении этого стремительного человека, который, следовало полагать, был его хозяин и работодатель, он инстинктивно расплылся в улыбке. Но, убедившись, что сосредоточенность, написанная на лице собеседника, осталась по-прежнему твердой, вдруг понял, что улыбается зря, что обходительность неуместна и ставит его в нелепое положение. Растерянный и смущенный, Джереми попытался придать себе серьезность.

– Мистер Пордейдж? – проговорил подошедший резким, лающим голосом.– Очень рад. Моя фамилия Стойт.– Пожав Джереми руки, он все так же напряженно впивался в него глазами.– А я думал, вы моложе,– сказал он.

Уже во второй раз за это утро Джереми пришлось притворяться манекеном, охваченным приступом самоуничижения.

– Листок увядший, пожелтелый,– отозвался он.– И старость близится уже...

– Так вам сколько лет? – оборвал его мистер Стойт; тон его был требовательный, жесткий, словно у сержанта полиции, задержавшего жулика.

– Пятьдесят четыре.

– Всего-то? – Мистер Стойт показал головой.– Мужчине в пятьдесят четыре нечего ныть. У вас насчет секса как, все нормально?

Джереми попробовал отшутиться, чтобы скрыть, до чего он ошеломлен. Моргнул, провел ладонью по лысине. «Mon beau

printemps et mon ete ont fait le sault par la fenetre» [14], – процитировал он.

– Это вы про что? – Стойт нахмурился.– Бросьте, нечего со мной по-иностранному щеголять. Я образования не получил.– Он вдруг резко засмеялся.– У меня тут нефтяная компания. В одной Калифорнии две тысячи заправок. И на любой спросите, нет служащего, чтоб без диплома был.– Опять смех, теперь торжествующий.– Вы с ними вот по-иностранному потолкуйте.– Помолчав, он по какой-то необъяснимой логике ассоциаций заговорил совсем о другом: – Мой лондонский агент – ну, он там для меня всякие штуки подбирает, вот он меня на вас и вывел. Написал, лучше никого не найдешь для этих, ну как же их? Ну, для бумаг, которые я летом купил. Чьи они там, Робеков, что ли? Хобаков?

– Хоберков, – сказал Джереми, с угрюмым чувством убеждаясь в своей правоте. Этот человек не читал ни книг его, ни имени его не слышал. Однако, Бог с ним, ведь в школе Толстячком звали.

– Ну, Хоберков,– отозвался мистер Стойт с досадой, оттененной презрением.– В общем, написал, что обратиться к вам надо.– И тут же, без паузы, без перехода: – Так у вас с сексом все в порядке, значит? Я чего-то не разобрал, вы там по-иностранному выразились. Джереми засмеялся смущенно.

– Хотел сказать: нормально для моего возраста.

– А откуда вам знать, что для вашего возраста нормально? – перебил его Стойт.– Вы про это лучше с доктором Обиспо поговорите. И платить ничего не придется. Он у меня на жалованье, Обиспо то есть. Вроде домашнего врача.– С той же неожиданностью он снова переменил тему.– Замок посмотреть хотите? Я покажу.

– О, вы так добры,– сказал Джереми, пытаясь уклониться. И, заботясь об этикете, прибавил: – Я уже побывал у вас на кладбище.

– У меня на кладбище? – переспросил Стойт подозрительно; недоверчивость вдруг сменилась гневом: – подозрительно; недоверчивость вдруг сменилась гневом: – Черт подери, вы что ляпаете? – заорал он.

[14] «И лето вслед весне моей в туманной дымке растворилось» (*франц.*). Ламартин.

– Про Пантеон «Биверли» и участие мистера Стойта в кладбищенской корпорации, о чем ему рассказывал водитель.

– А, понятно,– пробурчал Стойт, чуть смягчившись, но все еще нахмуренный.– А я-то решил...– Фраза осталась недоконченной, и Джереми ломал голову над тем, что тот мог иметь в виду.– А, ладно,– рявкнул Стойт, сорвавшись с места, и во весь опор помчался ко входу в замок.

## 3

Покой царил в палате 16 Стойтовского приюта для больных детей, покой и светящийся полумрак – жалюзи были опущены. Настал полуденный час отдыха. Трое из пяти выздоравливающих маленьких пациентов спали. Четвертый, уставившись в потолок, задумчиво исследовал пальцем собственные ноздри. Последней была крохотная девочка,– она шепталась с куклой, такой же кудрявой, безупречно арийской малышкой, как она сама. Юная сиделка, устроившись у окна, самозабвенно углубилась в последний выпуск «Прямодушных признаний».

«Сердце его дрогнуло,– читала она.– Не владея собой, он прижал меня к груди. О, как долго мы оба этому противились, однако пыл страсти оказался сильнее нас. Его губы впились в мои, вызвав искру ответного трепета, пробежавшую по смирившейся плоти.

– Жермена! – шептал он.– Не мучьте меня! Дорогая, ответьте моим желаниям немедля, сейчас же!

Он был так со мной бережен, так беспощаден – этой мужской беспощадности жаждет любящая женщина. Я почувствовала, как поднявшаяся волна подхватывает...»

В коридоре послышался шум. Дверь распахнулась, точно налетел ураган, и кто-то вихрем ворвался в комнату.

Сиделка оторвалась от «Цены мгновения», захватившей ее с головой,– тем неожиданнее и болезненнее было это вторжение. Не раздумывая, она возмущенно накинулась на пришельца.

– В чем дело? – выкрикнула она, кипя гневом, но тут опознала гостя и изумилась: – Как, это вы, мистер Стойт?

Ковырявший в носу оторвал взгляд от потолка, девочка бросила свою куклу.

– Дядя Джо! – завопили оба.– Дядя Джо! Мистер Стойт был тронут этой их радостью. Лицо, показавшееся Джереми таким

гнетуще мрачным, озарилось улыбкой. Стойт шутливо прикрыл ладонями уши: «Оглохнешь от вас! – перекрывая шум крикнул он. А потом, понизив голос, обратился к сиделке:

– Бедные ребятки! Прямо обревешься на них глядючи.– От полноты чувств он даже чуточку хрипел.– Да еще вспомнишь, какие они больные были...

Фраза оказалась недоконченной, Стойт помотал головой и заговорил совсем по-другому.

– Да, кстати,– сказал он, указывая своей широкой квадратной ладонью на Джереми Пордейджа, который, последовав за ним в палату, остановился у двери с выражением озадаченным и смущенным,– это вот мистер... мистер... а, черт, забыл, как вас звать.

– Пордейдж,– подсказал Джереми, напомнив себе, что Стойта в школе звали Толстячок.

– Правильно, Пордейдж. Вы его спросите что-нибудь про историю там, про литературу,– посоветовал он сиделке, не скрывая насмешливости.– Он по этой части толковый.

Побуждаемый скромностью, Джереми принялся объяснять, что, строго говоря, период, которым он занимается профессионально, охватывает только годы от появления Оссиана до смерти Китса, однако Стойт уже повернулся к детям и, заглушая невнятные самоумаления своего спутника, заорал во все горло:

– Ну, так чего вам принес дядя Джо?

Угадывали все. Конфеты. Жвачку. Воздушные шарики. Морских свинок. Всякий раз Стойт с видом победителя качал головой: не то. Наконец, убедившись, что детское воображение иссякло, полез в карман поношенного твидового пиджака, извлекая на свет сначала свистульку затем губную гармошку, музыкальную шкатулочку, рожок, деревянную трещотку и, наконец, автоматический пистолет. Его он, впрочем, поспешил засунуть обратно.

– А ну-ка,– заключил он, раздав игрушки.– Только все вместе. Раз, два, поехали.– И, отбивая такт обеими ладонями, запел: – По Сивони, ах, по реке Сивони...

После всех шокирующих сюрпризов этот последний изумил Джереми еще больше; недоумение читалось на его добром лице.

Господи, ну и утро выдалось! Прибыл ни свет, ни заря. Этот негр, разыгрывавший преданного слугу. Эти нескончаемые предместья. Пантеон «Биверли». Сооружение, вознесшееся над

апельсиновыми плантациями, встреча с Уильямом Проптером, а потом этот просто невыносимый Стойт. А там, в его замке, настоящий Рубенс, и подлинный Эль Греко, и Вермеер, украшающий кабину лифта, и офорты Рембрандта, развешанные по коридорам, а в буфете – полотно Винтерхальтера [15].

А вспомнить только будуар мисс Монсипл в стиле Людовика XV с картиной Ватто и двумя Ланкре [16], с содовым фонтанчиком, украшенным безделками эпохи рококо, вспомнить саму мисс Монсипл в ее оранжевом кимоно – как смакует она малиновое мороженое, чередуя его мятным и содовой, причем все это готовится для нее одной. Его представили, он, поблагодарив, отказался от фруктового пломбира и был тут же увлечен дальше, в предельной спешке, словно подгоняемый торнадо,– скорей, скорей, надо осмотреть в замке все остальное. В частности, гостиную, декорированную фресками Серта [17], изображающими слонов. И библиотеку – шкафы в ней работы Гринлинга Гиббонса [18], только пустые, мистер Стойт все не соберется приобрести книги. Небольшую гостиную, где висит Фра Анжелико, а мебель приобрели при распродаже обстановки Павильона в Брайтоне [19]. Большая столовая по интерьеру – точная копия мечети Фатхпур-Сикри. Клозет на двенадцатом этаже может похвалиться витражем тринадцатого века. В зале, где утром пьют кофе, стоит диван, затканный розовым шелком, на котором вверх ногами воспроизведен пейзаж Буше – «La Petite Morphil». Часовню по частям перевезли из Гоа, в этой исповедальне, сделанной из ореха, выслушивал покаяния святой Франциск из Саля, когда держал приход в Аннеси. Бильярдная – чистый конструктивизм. Крытый бассейн. Бар, напоминающий о вкусах времен Второй империи,– несколько «ню» кисти Энгра. Два зала с тренажерами. Читальня для приверженцев Христианской науки, устроенная в память миссис Стойт. Кабинет дантиста. Турецкая баня. Затем, в обществе Вермеера – вниз, в самое нутро горы, в подземное хранилище, где размещен хоберковский архив. И еще ниже, в самую глубь, к сейфам, к подстанции, к

[15] Винтерхальтер Франц Ксавье (1806–1873), немецкий портретист.

[16] Ланкре Николя (1690–1743). пейзажист школы Ватто.

[17] Серт Хосе-Мария (1876–1945) – испанский монументалист.

[18] Гиббоне, Гринлинг (1648–1720) – резчик по дереву, работал в лондонском соборе Св. Петра.

[19] Бывшая королевская резиденция на курорте Брайтон.

кондиционерной установке, насосной, цистернам с водой. А потом вверх, и вот уже первый этаж, кухня, китаец-шеф показывает мистеру Стойту только что доставленных карибских черепах. И опять вверх, на пятнадцатый, где Джереми отведена спальня. Еще шестью этажами выше расположена контора: мистер Стойт дал указания секретарям, продиктовал два письма и долго говорил по телефону со своим маклером в Амстердаме. А когда наконец положил трубку, пора уже было ехать в приют.

Тем временем в палату 16 сбежались сиделки, любуясь мистером Стойтом, чьи седины раздувал ветер, когда, похожий на Стоковского, он вдохновенно дирижировал своим оркестриком, игравшим все громче, громче – какофония невыносимая.

– Да он просто большой ребенок,– заметила одна из слушательниц, и в словах ее чувствовалось умиление, почти нежность.

Другая, очевидно, не чуждая литературных наклонностей, сказала, что это прямо сценка из Диккенса.

– А вам не кажется? – допытывалась она у Джереми.

Он нервно улыбнулся и кивнул, соглашаясь, но так, что это его ни к чему не обязывало.

Третья – эта дама отличалась практической смекалкой – пожалела, что с нею нет ее кодака: «Президент нефтяной компании «Консоль», глава корпорации «Калифорнийские земельные участки и ископаемые», директор Тихоокеанского банка, создатель фирмы «Кладбищенская корпорация Западного побережья» и т. д. Снимок с натуры». Она упивалась, перечисляя основные должности мистера Стойта, делала это чуть иронично, но и с восторгом, с пафосом восхищения, словно какой-нибудь не вовсе лишенный юмора легитимист, который называет титулы своего испанского гранда.

– Газеты за такой снимок неплохо бы заплатили,– убежденно сказала она. И в доказательство своих слов сообщила, что у нее был кавалер, работавший по рекламе, а уж он-то точно знает, всего неделю назад он ей говорил про то, как...

Морщинистое лицо мистера Стойта светилось добротой и счастьем, когда уезжали из больницы.

– Поиграешь с детишками этими бедными и хорошо становится,– объяснял он Джереми.

От дверей приюта к шоссе вела широкая лестница. На дороге ждал голубой кадиллак мистера Стойта. За ним стояла еще

машина, поменьше; ее не было, когда они приехали в больницу. Тень подозрения пала на сияющее чело мистера Стойта, как только он ее увидел. Шантажисты, похитители детей – все может быть. Рука его потянулась к карману. «Кто это?» – крикнул он, и в голосе чувствовалась такая ярость, что Джереми на мгновенье подумал, уж не начинается ли приступ безумия.

В окне машины показалась широкая и круглая, как луна, физиономия со вздернутым носом; губы, сжимавшие сигару, растянулись в улыбке.

– А, это вы, Клэнси,– сказал мистер Стойт.– Почему не предупредили, что приедете? – Выражение его оставалось насупленным, хмурым, и на щеке начал подрагивать мускул.– Терпеть не могу, когда за мною чужие машины пристраиваются. Поняли, Питерс? – чуть не заорал он своему шоферу, хоть тот ничем не провинился – просто подвернулся под руку.– Терпеть не могу, запомните.

Тут ему вдруг вспомнилось, как упрекал его доктор Обиспо, когда он срывался. «Сознательно желаете укротить свои дни, мистер Стойт?» Доктор говорил язвительно, холодно и при этом улыбался, не скрывая пронизанного сарказмом безразличия: «Вам, видимо, очень хочется, чтобы до удара дошло. Второго удара, прошу заметить, и тогда уж вы так легко не отделаетесь. Если вас эта перспектива привлекает, продолжайте в том же духе Желаю успеха».

Напрягши волю, мистер Стойт подавил свой гнев.

– Бог есть любовь,– сказал он, ни к кому не адресуясь.– Смерти нет.

Покойная Пруденс Макглэддери Стойт была поборницей Христианской науки.

– Бог есть любовь,– повторил он и подумал: будь люди поскромнее, не раздражай они его на каждом шагу, он бы не выходил из себя. Бог есть любовь. Во всем виноваты они.

Меж тем Клэнси вылез из машины и, нависая над паучьими ножками неправдоподобно раздувшимся животом, с таинственными улыбками и подмигиваниями поднимался по ступеням.

– Что случилось? – осведомился мистер Стойт, добавив про себя: хватит уж тебе кривляться.– Да, познакомьтесь, это мистер... мистер...

– Пордейдж,– сказал Джереми.

Клэнси источал обаяние. Рука его была неприятно влажной.

– У меня для вас новости,– сказал он полушепотом, точно заговорщик; сигару он прикрыл ладонью, так что весь дым вкупе со словами достался одному мистеру Стойту.– Вы Титтельбаума помните?

– Который из муниципального технического отдела? Клэнси кивнул.

– Да, он там работает. Как многие,– сказал он загадочно и опять подмигнул.

– Ну, и дальше что? – Хотя Бог есть любовь, в голосе мистера Стойта чувствовалось накипающее раздражение.

Клэнси взглянул на Джереми Пордейджа, затем со всем искусством провинциального актера, который изображает Гая Фокса, вступающего в сговор с Кейтсби, взял мистера Стойта за рукав и отвел в сторону по ступеням.

– Знаете, что мне сегодня Титтельбаум сказал?

– Откуда ж мне знать, черт вас дери! (Не надо, не надо. Бог есть любовь. Смерти нет.)

Не смущаясь свидетельствами недовольства, Клэнси продолжал беседовать с мистером Стойтом все в той же театральной манере.

– Он сказал, что принято решение относительно,–

тут он совсем перешел на шепот,– относительно долины Сан Фелипе.

– И что же они там решили? – Терпение мистера Стойта вновь было на пределе.

Клэнси не торопился с ответом. Вынул изо рта окурок, отбросил в сторону, достал другую сигару из жилетного кармана и, скомкав целлофановую обертку, незажженной поднес к губам, чтобы заменить выкуренную.

– Решили,– сообщил он очень медленно, вкладывая глубокий драматизм в каждое слово,– решили поставить насосы и качать туда воду.

Досада на лице мистера Стойта наконец-то сменилась заинтересованностью.

– Они что же, всю долину затопить собираются?

– Всю долину,– торжественно отозвался Клэнси. С минуту мистер Стойт хранил молчание.

– Сколько у нас остается времени? – спросил он наконец.

– Титтельбаум полагает, что о решении будет объявлено не ранее, чем через шесть недель.

– Шесть недель? – Мистер Стойт задумался всего на миг и тут же у него созрел план действий.– Ладно. Приступайте, мешкать нечего,– сказал он с решительностью человека, привыкшего распоряжаться.– Займетесь этим сами, даю вам еще несколько человек на помощь. Независимые покупатели, телят, мол, собрались выращивать, ранчо у них тут будет, приехали с Востока и покупают землю под ранчо. Скупите все, что сможете. Да, а почем сейчас идет?

– В среднем двенадцать долларов за акр.

– Двенадцать,– повторил мистер Стойт, прикидывая, что с первым же насосом цена подскочит под сто. Ну, и сколько акров сможете купить, как думаете?

– Может, тысяч тридцать.

На лице мистера Стойта мелькнула довольная улыбка.

– Неплохо,– подытожил он.– Очень неплохо. Ясное дело, моего имени не упоминать,– добавил он и тут же, без паузы, без перехода: – А Титтельбаум, он нам во сколько станет?

По губам Клэнси пробежала презрительная усмешка.

– Тысячи четыре-пять я ему дам.

– И только?

Клэнси кивнул.

– Титтельбаум сам на этом деле повязан,– сказал он.– Не очень-то поартачится, как до расчета дойдет. Да и деньги ему нужны, позарез нужны, я знаю.

– А зачем? – лицо мистера Стойта выражало профессиональный интерес к человеческим слабостям.– Продулся, что ли? Или девки?

Клэнси помотал головой.

– Доктора, – объяснил он.– Сынишка у него парализованный, вот что.

– Парализованный! – в тоне мистера Стойта звучало искреннее сострадание.– Худо дело.– Минуту помедлив, он вдруг сказал со всем радушием: – Пусть сюда своего парня привозит.– Рука его указала на приют.– Для детишек с параличем лучше места нигде в Штатах не найти, и я с него ничего не возьму. Ни цента.

– Черт, ну и добрый вы, мистер Стойт,– сказал Клэнси с восхищением.– Уж такой добрый.

– Да бросьте вы,– ответил Стойт, подходя к машине.– Мне это только в радость. Как в Библии про детей сказано, помните? И вообще мне нравится с детишками этими возиться. Вроде как

душой отходишь.– Он похлопал себя по груди.– Передайте Титтельбауму, пусть анкету заполняет. А заявление прямо мне отдаст. Я прослежу, чтобы все как надо было.

Он влез в автомобиль, захлопнул дверцу; потом, бросив взгляд на Джереми, открыл ее, не произнеся ни слова. Джереми втиснулся внутрь, бормоча извинения. Мистер Стойт опять запер дверцу, опустил стекло и выглянул наружу.

– Пока,– сказал он.– И смотрите, чтобы с этими делами по Сан Фелипе никакой волокиты не было. Вы постарайтесь, Клэнси, а я вам уступлю десять процентов всей земли, какая останется, когда я свое возьму.

Подняв окошко, он велел шоферу ехать. Повернув на шоссе, помчались прямо к замку. Откинувшись на подушки, мистер Стойт вспомнил тех несчастных детишек и прикидывал, сколько заработает на Сан Фелипе. «Бог есть любовь»,– произнес он снова с убежденностью, в эту минуту непоколебимой; шепот его ясно слышался. «Бог есть любовь». Джереми стало совсем не по себе.

Цепной мост опустился при приближении голубого кадиллака, взмыла вверх хромированная решетка, двери внутреннего ограждения раздвинулись, пропуская машину. По бетонному корту катались на роликах семеро детей китайца-повара. Ниже, в Священном гроте что-то сооружали каменщики. При виде их мистер Стойт дал сигнал остановиться.

– Строят гробницу для монахинь,– бросил он Джереми, выходя из автомобиля.

– Для монахинь? – отозвался Джереми, пораженный.

Мистер Стойт кивнул, объясняя, что его агенты в Испании купили кое-какие статуи и литье в часовне, разрушенной монархистами, когда началась война.

– Монахинь тоже прислали,– продолжал он.– Ну, набальзамированных. Или там на солнце высушенных, не знаю. В общем, тут они теперь, монахини эти. Хорошо, у меня для них нашлось подходящее место.– Он показал на памятник, который рабочие устанавливали у южной стены грота. На мраморной полке над большим римским саркофагом располагались изготовленные неизвестным резчиком времен короля Якова мужская и женская фигуры – обе в плоеных воротниках, обе коленопреклоненные,– а за ними тремя правильными рядами фигурки девяти дочерей: возраст их был от младенчества до отрочества.

«Hie jacet Carolus Franciscus Beals, Armiger...» [20] – начал читать Джереми.

– В Англии куплено, два года назад,– прервал его мистер Стойт. И, повернувшись к рабочим: – Ну как, ребята, скоро кончите?

– Завтра днем готово будет. А может, и с утра.

– Отлично,– сказал мистер Стойт.– Надо этих монахинь со склада забрать,– добавил он, пока шли к машине.

Поехали дальше. Удерживая равновесие почти невидимым покачиванием крыльев, пил из фонтанчика на левой груди нимфы, сработанной Джанболоньей, пересмешник. Вольер для павианов полнился резкими звуками битв и любовных утех. Мистер Стойт прикрыл глаза. «Бог есть любовь,– шептал он, стараясь продлить восхитительную эйфорию, в которую погрузило его общение с несчастными детьми и славная новость, сообщенная Клэнси. – Бог есть любовь. Смерти нет». Он помедлил в надежде почувствовать, как после тихо произнесенных слов у него теплеет внутри, словно после глотка виски.

Но, как будто затаившийся в нем враг решил сыграть злую шутку, он вдруг осознал, что думает о ссохшихся телах монахинь и о том, как сам станет бездыханным телом, о Страшном суде и адском пламени. Пруденс Мак-глэддери Стойт хранила верность Христианской науке; однако Джозеф Бадж Стойт был гласитом, а Летиция Морган, бабка по материнской линии, всю жизнь прожила да и померла плимутской сестрой [21].

У него в комнате под самой крышей стандартного домика в Нэшвилле, штат Теннесси, висел над койкой плакатик, где оранжевыми буквами по черному фону было написано СТРАШНЕЕ НЕТ, КАК В ДЛАНИ ГОСПОДА ЖИВОГО ОЧУТИТЬСЯ. С отчаянием он повторял опять и опять: «Бог есть любовь. Смерти нет». Только вот для грешников, для таких, как он, ненасытный червь сомнения вечен.

– Если все время будете бояться смерти,– сказал ему доктор Обиспо, – обязательно умрете. Страх – тоже яд, причем не из тех, которые медленно действуют.

Снова справившись с собой усилием воли, мистер Стойт принялся насвистывать. Песенка была знакомая: «Славно с

[20] Здесь покоится Чарлз Френсис Биле, смиренный... (*лат.*)

[21] Шотландские и ирландские секты XVII–XIX вв.

милой под луною полежать, нам солома – королевская кровать»,– но лицо, которое видел перед собой и, словно человек, случайно узнавший страшную, постыдную тайну, старался поскорее позабыть Джереми Пордейдж, было лицом арестанта в камере приговоренных.

– Совсем скис, – пробормотал шофер, наблюдая, как ковыляет от машины его хозяин.

Сопровождаемый Джереми, мистер Стойт молча прошествовал через готический портал, пересек римский вестибюль с колоннами, напоминавший часовню Девы и Дареме, и, по-прежнему не снимая шляпы, надвинутой прямо на глаза, ступил в готический полумрак главного вестибюля.

Отзвуки их шагов под сводами где-то на высоте ста футов. Вдоль стен, словно железные призраки, стояли рыцарские доспехи. Над ними в царственной тени гобелены пятнадцатого века распахивали окна, за которыми виднелся пышно-зеленый мир фантазии. В самом углу схожего с пещерой помещения вспыхивало, подсвеченное невидимыми прожекторами, эль-грековское «Распятие Св. Петра» и казалось среди обступающей тьмы прекрасным откровением чего-то непостижимого, глубоко волнующего. А в углу напротив красовался не менее искусно подсвеченный портрет Элен Фурман: в полный рост, обнаженная, только меховая шапочка на голове. Джереми переводил взгляд с полотна на полотно – иссушенная плоть терзаемого муками святого сменялась роскошеством кожи, складок, мышц, доставлявшим Рубенсу бесконечное наслаждение, когда он такое видел, к такому прикасался, а цвета охры, кармина на фоне до прозрачности черных тонов и белозеленых пятен, которыми возвещает о себе подступившая агония, соседствовали с кремовым, нежнорозовым, со святящейся голубизной и зеленоватым колоритом, обычным для фламандских «ню». Два блистательных, несравненных, предельно выразительных символа – однако чего? чего? Вот это бы понять.

Дверь лифта скрывалась между двумя колоннами. Мистер Стойт распахнул ее, вспыхнул свет, и перед ними возникла голландская дама в голубых шелках, сидящая за клавесином,– олицетворение, подумалось Джереми, олицетворение того мира, где соединились в целое красота и логика, наивность и геометрия. Зачем этого единства добивались? Понять бы тоже и

вот это. Когда соприкасаешься с искусством, сказал себе Джереми, это всегда и надлежит понять.

– Дверь закройте! – приказал мистер Стойт. И когда это было сделано, сообщил: – Поплаваем перед обедом.

Он нажал на самую верхнюю кнопку в длиннейшем ряду.

## 4

В апельсиновой роще, куда послали человека из Канзаса, уже работало с десяток семей переселенцев, и теперь они с женой, тремя детьми и бурым псом изо всех сил спешили к участку, который указал им смотритель. Шли молча, потому что говорить было не о чем, да и сил не оставалось, чтобы тратить на слова.

Всего полдня, думал канзасец, всего четыре часа, и работа кончится. Хорошо еще, если хоть семьдесят пять Центов наработают. Семьдесят пять центов. Всего семьдесят пять, а покрышка на переднем колесе совсем износилась. Раз уж решили добираться до Фресно, а потом до Салинаса, менять ее придется обязательно. А даже подержанная покрышка, самая паршивенькая денег стоит. А деньги – это ведь хлеб. Едят же они! – подумал он с нахлынувшим раздражением. Будь он один, без Минни, без детей, которых пришлось за собой тащить, нанял бы где-нибудь для себя домишко. Лучше бы у шоссе, тогда можно подзаработать, продавая яйца, фрукты, всякую мелочь проезжающим в собственных автомобилях,– он брал бы намного меньше, чем в магазине, а прибыль все равно бы вышла приличная. И глядишь, скопил бы на корову, на парочку поросят, а там и девчонку бы себе приглядел – попухлявее, ему пухлявые нравятся, пухлявые и молоденькие, чтобы...

Жена опять зашлась кашлем; мечты развеялись. Ах, ну и едят же они! Столько прожрут, сами того не стоят. Трое ребятишек, а силенок ни у одного. Да еще Минни то и дело хворает, вот и вкалывай за нее, словно своего мало!

Собака остановилась, обнюхивая столб. С нежданным проворством и умением канзасец резко рванулся вперед и пнул пса, угодив прямо между ребер. «Тварь проклятая! – завопил он.– Пошел ты к черту!» Пес отполз скуля. Канзасец оглянулся в надежде увидеть осуждение или сострадание на детских лицах. Но дети уже научились не давать ему повода вслед собаке обрушивать ярость на них самих. Личики,

полуприкрытые спутанными волосами, оставались безразличными, не выражая ровным счетом ничего. Разочарованный отец отвернулся, бормоча, что кишки им выпустит, если что. Мать даже не повернула головы. Слишком больной себя чувствовала, слишком усталой и просто шла, ничего не замечая. Воцарилось молчание.

Потом вдруг громко вскрикнула самая младшая: «Смотрите!» Она показывала вперед. Перед ними высился замок. С закругления самой высокой башни поднимался витой металлический шест, на котором, устремляясь к небу на двадцать, на тридцать футов над парапетом, громоздились площадки. Крохотная фигурка чернела на верхней из них, резко выделяясь в слепящих лучах солнца. Не отрывая глаз, они смотрели, как, всплеснув руками, человек ринулся вниз головой и исчез за заграждением. Вопли изумленных детей предоставили канзасцу предлог, которого он не дождался несколько минут назад. Он накинулся на них неистово. «Заткнитесь!» – кричал он, раздавая тумаки направо, налево – удары пришлись по головам, досталось всем. Волевым усилием женщина заставила себя выкарабкаться из бездны усталости; обернувшись, она метнулась со своими протестами и норовила схватить мужа за руку. Он толкнул ее так яростно, что она еле устояла.

– Ты еще хуже этих паршивцев,– орал он.– Валяешься весь день да жрешь себе. На черта ты мне такая нужна! Я сам вымотался, не знаешь, что ли, и чувствую себя погано. Погано себя чувствую, поняла? – повторил канзасец.– Не лезь, хуже будет.

Он отвернулся и, ощутив прилив сил после этой вспышки, быстро зашагал под гнущимися от плодов апельсиновыми деревьями, зная, что жене догнать его не под силу.

Вид от этого бассейна на крыше главной башни открывался чудесный. Плавая в прозрачной воде, достаточно было всего лишь повернуть голову, чтобы сквозь каменные зубцы предстали пейзажи равнины и гор, зеленые, темные, рыжеватые, сиреневые тона, легкая голубизна. Плывешь, наслаждаешься видом, вспоминаешь, если, конечно, ты Джереми Пордейдж, ту башню из «Эпипсихидиона» [22], где

[22] Поэма Шелли.

В окна воздух льется золотой
И дух Востока, ветром донесенный.

Но если ты мисс Вирджиния Монсипл, такое не вспомнится. Вирджиния не плавала, не любовалась видами, не размышляла об «Эпипсихидионе»; глотнув еще виски и забравшись на самую верхнюю площадку трамплина, она подняла руки, прыгнула, мягко вошла в воду, тут же вынырнула за спиной ничего не подозревавшего Пордейджа, схватила его за пояс купальника и утянула вниз.

– Вам это надо было,– пояснила она, когда, отдуваясь, он вернулся из глуби,– а то разлеглись да полощетесь, как старый этот дурак, Будда то есть.– И улыбнулась Пордейджу, выражая самое чистосердечное презрение.

Боже правый, что за монстрами наводнил замок дядя Джо. То англичанин с моноклем, разглядывающий доспехи, то этот заика, который подправлял картины, да еще человечек, возившийся с дурацкими этими горшочками да цветочками, тот вообще говорить не умеет, только по-немецки, а теперь вот еще один англичанин, чучело какое-то, с виду прямо кролик и голос такой особенный – ну, как песни без слов, когда на саксофоне играют.

Джереми Пордейдж протер глаза, но по-прежнему все перед ним расплывалось – старческая дальнозоркость, он же без очков – только рядом, чуть не нос к носу мелькает молодое смеющееся лицо, а тело сжалось, стало под водой крохотным и трепещет, так что не уловить очертаний. Редко ему доводилось находиться совсем близко к столь юному существу. Подавив досаду, он улыбнулся.

Мисс Монсипл высвободила руку, потрепав Джереми по лысине на макушке.

– Вот это да,– заметила она.– Сверкает, прямо в глазах резь. Какой там бильярдный шар! Бивень слоновий, вот что. Я вас так и называть буду. Пока, Бивень! – она отпрянула, подплыла к лесенке и, отправившись к столику, заставленному бутылками, докончила свой виски с содовой, а потом уселась на краешек кушетки, где принимал солнечную ванну, прикрыв глаза темными очками, облаченный в купальник мистер Стойт.

– Привет, дядя Джо,– сказала она, игриво подчеркивая нежность,– вы как себя чувствуете, неплохо, а?

– Отлично, Малышка,– ответил он. И в самом деле ему было хорошо; солнце прогнало прочь мрачные думы, он вновь погрузился в настоящее – в прекрасное настоящее, где он навещает больных детишек и приносит им счастье, где есть Титтельбаумы, готовые за ерундовые деньги выложить информацию, стоющую не меньше миллиона, где небо голубое, а солнышко ласково щекочет живот, где, что уж греха таить, есть малышка Вирджиния, которая кого угодно пробудит от сладкой дремы, а ему она улыбается, так улыбается, словно впрямь любит своего старенького дядю Джо, и беспокоишься о нем, и, главное, не потому что он стар или вправду доводится ей дядюшкой, о нет, ничего подобного, соль-то в другом, то есть, что стар ты лишь в меру того, насколько старым себя чувствуешь, а значит, по-стариковски себя ведешь, а он, когда дело его Малышки касается, он что, разве не молод? разве с нею как старичок обращается? Дудки, сэр, ничуть не бывало. И мистер Стойт улыбнулся: победитель, он был удовлетворен собой.

– А ты как, Малышка, хорошо? – промолвил он

вслух, кладя квадратную ладонь с растопыренными толстыми пальцами на ее нагую коленку.

Полуприкрыв веки, мисс Монсипл одарила его тайной улыбкой, в которой было что-то непристойное – понимание, соучастие; послышался короткий смешок, она раскинула руки. «Вы у солнышка поинтересуйтесь, хорошо ему?» – сказала она и, смежив глаза, опустила одну руку за другой, сцепляя их на затылке, отводя назад плечи. В этой позе грудь поднималась, подчеркивая линии паха и одновременно круглилось сзади,– должно быть, евнухи обучали подобным движениям новоприбывших в серале, прежде чем показывать султану; Джереми вспомнил, что в точности такое же видел на четвертом этаже в Пантеоне «Биверли», где ему попалась особенно неприличная статуя.

Мистер Стойт рассматривал девочку через темные очки с видом хозяина – властитель и благодетель сразу. Вирджиния и впрямь его малышка, не только в переносном смысле слова или оттого, что он ее так называет, она и правда ему как ребенок. В его чувстве к ней соединялись чистейшая отцовская любовь и самый неукротимый зов плоти.

Он снова взглянул на нее. Обласканная солнцем, оттеняемая блестящим белым шелком трусиков и лифчика кожа казалась

ему особенно загорелой. Плавными, протяжными, без усилия идущими кривыми уверенно соединялось в целое все это юное тело – никаких пережимов, ничего выпирающего, четкая трехмерность. Взгляд мистера Стойта скользнул выше: каштановые пряди, под ними закругленный лоб, глаза широко расставлены, нос маленький, прямой, дерзкий, и наконец, ее рот. Ах, этот рот, самое в ней необычное. Коротенькая верхняя губа как раз и придавала лицу Вирджинии особое выражение ангельской непорочности, не менявшееся, в каком бы настроении она не находилась, и обращавшее на себя внимание, чем бы Малышка ни была занята: рассказывала похабный анекдот или беседовала с викарием, чинно склонялась над чашкой чая у себя в Пасадене или крутила с мальчишками на всю катушку, предаваясь тому, что называлось у нее «немножко пошалить», или отстаивала мессу. По строгому счету была мисс Монсипл женщиной двадцати двух лет, но эта укороченная верхняя губа в любопытных обстоятельствах позволяла ей выглядеть совсем подростком, не достигшим совершеннолетия. Мистера Стойта, перевалившего за шестьдесят, словно сладкий яд притягивало это утонченно извращенное несоответствие между детскостью и зрелостью, невинностью облика и искушенностью познания. Не только оттого, что он так чувствовал, Вирджиния оказывалась малышкой и метафорически, и буквально,– она на самом деле ею была.

Восхитительное дитя! Ладонь, до этой минуты неподвижно покоившаяся на коленке, медленно сжалась. Какую гладкость, какую роскошную, неподдельную упругость ощущали сильные пальцы, схожие – особенно отставленный большой – с лопатой.

– Джини! – пробормотал он.– Малышка моя!

Малышка приоткрыла большие голубые глаза, уронив руки по бокам. Спина, освободясь от напряжения, выпрямилась, поднятая грудь вздымалась и опадала, точно живое, мягкое существо, взыскующее отдыха. Она улыбнулась.

– Вы мне зачем больно сделали, дядя Джо?

– Я бы тебя съел,– ответил ей дядя Джо тоном расчувствовавшегося каннибала.

– А я драться буду!

– Котеночек драчливый.– Мистер Стойт засмеялся в умилении.

Джереми Пордейджа, который все так же безмятежно оглядывал окрестную панораму, декламируя про себя

«Эпипсихидион», как раз в эту минуту угораздило обернуться и бросить взгляд на кушетку; он так смутился, что стал тонуть и вынужден был изо всех сил заработать руками и ногами, чтобы не уйти на дно. Шлепая по воде, он добрался до лестницы, вылез и, даже не вытершись, поспешил к лифту.

– Нет, уму непостижимо,– бормотал он, всматриваясь в полотно Вермеера.– Уму непостижимо!

– Я кое-какие дела нынче утром устроил, – сказал мистер Стойт, когда Малышка села прямо.

– Какие это?

– Славное дельце,– ответил он.– Может, будут деньги, и неплохие. Настоящие деньги,– это было сказано с нажимом.

– И сколько?

– Может, с полмиллиона,– осторожно сказал он,

скрыв, на что рассчитывает.– Глядишь, и миллион, а то и побольше.

– Дядя Джо,– воскликнула она,– вы прямо чудесный!

В голосе ее звучала неподдельная искренность. Она и правда считала, что он чудесный. В мире, где она обреталась, было аксиомой, что человек, способный заработать миллион,– не меньше как чудо. Родители, друзья, школьные педагоги, газеты, радио, рекламные плакаты – впрямую или подразумеваемо все с единодушием внушали, что такая личность чудо, и только. А кроме того, любила Вирджиния своего дядю Джо. Он устроил так, что она чудесно проводит время, и она ему благодарна. И еще ей нравится относиться к людям с симпатией, если этому ничто не мешает, нравится доставлять им радость. Доставляешь им радость и самой хорошо, пусть они даже старички вроде дяди Джо, и чтобы их порадовать, приходится кое-что такое делать, что не очень-то ей симпатично.

– Вы прямо чудесный! – повторила она.

Ее восторг пробудил в нем чувство настоящего довольства собой.

– Ну что ты, это ведь так просто,– ответил он с лицемерной скромностью, втайне снедаемый жаждой новых похвал.

И Вирджиния с ними не замедлила.

– Просто, как же! – решительно парировала она.– Я говорю, вы прямо чудесный, не спорьте. Вот и все, молчите уж лучше.

Растрогавшись, мистер Стойт ухватил пальцами чуть не все ее колено и принялся с нежностью его поглаживать.

– Вот докончу это дельце, тебе подарочек будет,– пообещал он.– Ты мне скажи, Малышка, чего тебе хочется?

– Хочется? – отозвалась она.– Да ничего мне не надо!

Равнодушие ее не было наигранным. Она в самом Деле никогда не соглашалась, чтобы ее вознаграждали вот так, с откровенностью. Когда она испытывала желание – ну, хоть стаканчик содовой с мороженым, или немножко пошалить, или примерить норковую шубку мелькнувшую в витрине,– вот тут она этого хотела, хотела немедленно, не желала ждать. А насчет отдаленных желаний, которые надо наперед обдумывать,– нет, так она не согласна. Самое лучшее в ее жизни неизменно заключалось в сиюминутной радости, за которой шла другая, и еще другая, и так все время; если же обстоятельства вынуждали Вирджинию выйти из состояния бездумного вечного блаженства, вокруг нее оказывался мирок тесный и унылый, где и мечтать-то не о чем, потому что неделя, ну пусть две недели – и мечты эти сбудутся либо не сбудутся, только и всего. Даже когда она танцевала в кордебалете за восемнадцать долларов в неделю, Вирджинии в голову не приходило поразмыслить о деньгах, о будущем, о печальных перспективах, если вдруг что-нибудь случится с ее ножками и ее выгонят. А тут как раз появился дядя Джо, и все сразу устроилось, точно на дереве вдруг выросло,– и бассейн вырос, и коктейли, и шкафчик парфюмерный. Только руку протяни, и сорвешь плод, какой пожелаешь,– вот как дома, в Орегоне срывала она поспевшие яблоки. Что ей подарить? Да ничего не надо, зачем ей какие-то подарки! И ей же понятно: дяде Джо ужас как в ней нравится, что она ни о чем не просит, а если дядя Джо доволен, ей тоже становится хорошо.

– Спасибо, дядя Джо, я же говорю, ничего мне не надо.

– Вы уверены? – вдруг прямо за спиной у них послышался чей-то голос.– Раз так, тогда я кой о чем попрошу.

И доктор Зигмунд Обиспо – темноволосый, щегольски подтянутый, схожий с дерзким карточным игроком, быстро подошел к их кушетке.

– Точнее говоря, попрошу у нашего великого бизнесмена разрешения впрыснуть полтора кубических сантиметра тестостерона в gluteus medius,– пояснил он.– А вас, ангел мой, попрошу удалиться.– С Вирджинией он разговаривал тоном, в котором соединились презрение, насмешка и нескрываемое желание.– Одна нога здесь, другая там! – Привычным жестом

он потрепал ее по плечу, а когда Вирджиния поднялась, освобождая место, другой рукой похлопал по шелковому задику.

Она резко обернулась, решив его оборвать, но, переведя взгляд с раздувшегося холмика волосатой плоти, которую представлял собой мистер Стойт, на красивое лицо доктора с его оскорбительно саркастической ухмылкой и льстившим ей зазывным выражением глаз, передумала: вместо того, чтобы объяснить ему, куда именно должен он отправляться, просто скорчила рожицу и высунула язык. Думала поставить его на место, но непонятно для самой вышло так, что она принимает его дерзости, готова с ним поиграть в эти нехорошие игры и вроде как предала дядю Джо. Бедненький дядя Джо, подумалось ей, испытавшей в эту минуту страстное сочувствие к своему старичку. На миг ей стало очень стыдно за себя. Вся беда, конечно, в том, что доктор Обиспо такой красивый, и смешить ее умеет, и ухаживает так, что ей нравится, и приятно его поддразнивать, а потом смотреть, как он ей ответит. Приятно даже выходить из себя, когда он прет уже слишком напролом, а он только напролом и действует.

– Подумаешь, новый Дуглас Фербенкс нашелся,– сказала она, стараясь, чтобы это прозвучало язвительно, и, ступая со всем достоинством, какое можно сохранить, когда на тебе только две белые полосочки из шелка, подошла к парапету, откуда открывалась просторная панорама. Фигурки размером не больше муравьев копошились среди апельсиновых деревьев. Интересно, подумала она, что они там делают, но тут же эта ленивая мысль исчезла, выплыли предметы более занимательные и прямо ее касающиеся. Зиг, в частности, и тот факт, что она, надо признать, испытывает явное волнение, когда он рядом, хотя бы и вел себя нахально, как вот сейчас. А что если как-нибудь, ну, не сию минуту, потом, просто посмотреть, какой он на самом деле, а то в замке бывает скучновато... Бедненький дядя Джо! – думала она. Однако, на что он, собственно, может рассчитывать, в его-то годы, когда она такая молодая. Еще удивляться надо, что все эти месяцы она ему не давала никаких поводов ревновать, если, понятно, позабыть про Эниду и про Мери Лу, хотя она-то не забывает, она-то на самом деле не такая, вовсе не такая, а раз уж так вышло, будем считать, что просто все нескладно получилось, было вообще-то неплохо, да ладно, пустяки какие. А вот если у нее начнется с

Зигом, все по-другому пойдет, правда, тоже не очень-то всерьез, не то что с этим Уолтом, даже с крошкой Батером там, в Портленде. И по-другому, чем с Энидой и Мери Лу, ведь с мужчинами всегда получается как-то напряженно, хотя совсем не хочешь, чтобы тебя это по-настоящему трогало. По этой вот единственной причине и не надо бы с мужчинами связываться, да кроме того еще и грех, конечно, но о грехе почему-то не очень думаешь, если красивый мужчина за тобой приударит (а что уж толковать, Зиг очень красивый, правда, он, пожалуй, в стиле Альфреда Менжу, но вот эти смуглые шатены, мажущие волосы маслом, ее всегда всего больше волнуют). А после коктейля-другого ужасно тянет что-то этакое испытать и даже в мыслях не держишь, что это грех, ну и одно за другим, заметить не успеешь, как все уже произошло и честное слово, не понимает она, что уж тут такого ужасного, как говорит отец О'Рейли в церкви. Пресвятая Дева скорее поняла бы все это и простила, конечно, ну и манеры у отца О'Рейли, кошмар какой-то, за столом, когда в замок приезжает, свинья да и только, по-другому не скажешь, уж и обжирается он, хотя обжорство тоже грех, не меньший, чем то другое, не так разве? А еще назидает, назидает...

– Нуте-с, как самочувствие пациента? – осведомился, передразнивая старых сиделок, доктор Обиспо, занявший место Вирджинии на кушетке. Настроение у него было великолепное. В лаборатории эксперимент продвигался с негаданным успехом; новая рецептура солей превосходно сказывалась на желчном пузыре и печени; перевооружение шло полным ходом, его акции поднялись еще на три пункта – правильно сделал, что вложил деньги в авиацию; Вирджиния, никаких сомнений, капитулирует уже совсем скоро.

– Как себя с утра чувствовал наш бедный больной? – подчеркивая, что шутит, продолжал он с утрированным английским акцентом – после университета доктор год стажировался в Оксфорде.

Мистер Стойт промычал что-то невнятное. Игривость доктора Обиспо отчего-то неизменно повергала его в ярость. Трудно определить, почему именно, но в ней было нечто осознанно дерзкое. Болтовня Обиспо, такая вроде бы добродушная, всякий раз заставляла мистера Стойта ощутить, что в действительности за нею скрывается обдуманное и злое презрение. От этой мысли у мистера Стойта закипала кровь. А

когда кровь кипит, давление, он знал, лезет вверх и жизнь укорачивается. Нельзя ему выходить из себя, хотя Обиспо просто на это провоцирует. И еще хуже, без Обиспо ему никак не обойтись. Доктор этот – неотвратимое зло. «Бог есть любовь. Смерти нет». Но мистер Стойт с ужасом вспомнил о перенесенном ударе, о том, что стареет. Обиспо поставил его на ноги, чуть не из могилы вытащил, обещал еще лет десять, даже если ничего не выйдет из его опытов, хотя есть надежда на удачу. Тогда двадцать лет жизни, нет, тридцать, сорок. Чем черт не шутит, вдруг этот хамоватый еврейчик сумеет доказать, что миссис Энди-то дело говорила. И кто знает, вдруг окажется, что смерти на самом деле больше не будет – уж во всяком случае для дяди Джо. Вот было бы замечательно! Ну, а покуда... мистер Стойт вздохнул: глубоко, отрешенно. «Каждому свой крест»,– сказал он себе, десятки лет спустя повторив те самые слова, которые произносила его бабушка всякий раз, как надо было давать ему касторку.

Тем временем доктор стерилизовал иглу, набрал лекарство из стеклянной ампулы, заполнил шприц. Когда он занимался своим делом, каждое его движение отличалось отработанным изяществом – точностью выразительной и любующейся собой. Словно он был сразу и танцовщиком на сцене, и зрителем, который восхищается артистом из зала, привередливым зрителем, искушенным, и все-таки – какой балет! Нижинский, Карсавина, Павлова, Мясин – все вместе в одном представлении. Гром аплодисментов, шквал оваций – но ведь заслуженных.

– Вы готовы? – спросил он наконец.

Безропотно, молчаливо, как дрессированный слон, мистер Стойт перевернулся на живот.

## 5

Джереми переоделся и теперь сидел в подземном хранилище, которому предстояло сделаться его кабинетом. Пересохшая разъедающая пыль старинных документов кружила ему голову, словно он нанюхался ядовитого снадобья. Лицо его пылало, пока он раскрывал блокноты, точил карандаши; на лысине поблескивал пот, глаза за бифокальными стеклами сверкали от возбуждения.

Ну вот! Все готово. Он повернулся на кресле и какое-то время сидел неподвижно, смакуя собственные пред, чувствия. Архив Хоберков, упрятанный в бесчисленные пакеты из оберточной бумаги, ждал своего первого читателя. Двадцать семь ящиков еще никем не тронутых брачных наслаждений интеллекта. Он улыбнулся, подумав: я-то и буду для них Синей Бородой. Тысячи таких наслаждений, заготовленных на века многими поколениями неугомонных Хоберков. Одна генерация за другой: рыцари, затем бароны, потом графы, наконец графы Гонистер – колено за коленом, до самого последнего, восьмого. А после восьмого – только погребальные ритуалы, да разваливающийся дом, да две ветхие старые девы, которым с каждым годом все более одиноко и все более порабощают их странности обихода, и бедность, и тщеславные воспоминания, хотя что уж там говорить, бедность – увы! увы! – поработила всего сильнее. Клялись, что с архивом не расстанутся никогда, а кончилось тем, что приняли предложение мистера Стойта. И бумаги перевезли в Калифорнию. Что же, старухам теперь хватит на запоминающиеся похороны. И на этом летопись Хоберков завершится. Прелестный фрагмент английской истории! Поучительный к тому же, а верней, куда верней – бессмысленный, повесть, рассказанная идиотом, только и всего. А в этой повести головорезы и конспираторы, взятые в фавориты королями, которых тянуло к извращениям, забытые поэты и адмиралы, и сводники, и блаженные, и героини, и нимфоманки, да еще редкостные дебилы, и премьер-министры, и собиратели живописи, и садисты. От всех них только и осталось, что вот эти двадцать семь ящиков в беспорядке сваленных бумаг, которые никто не переписал, не просмотрел – начинай с самого начала. С вожделением взирая на свое сокровище, Джереми позабыл об усталости, о дороге, Лос-Анджелесе, водителе, о кладбище и замке, даже о мистере Стойте. Вот они, бумаги Хоберков, и принадлежат они ему одному. Словно ребенок, впивающийся зубками в пирожок, чтобы побыстрее добраться до запеченной в нем – он точно знает! – монетки, Джереми схватил первый подвернувшийся пакет из ближайшего ящика и рванул шпагат. Какая груда богатств лежала перед ним на столе! Записи семейных расходов за 1576 и 1577 год; письмо какого-то юного Хоберка, младшим офицером участвовавшего в экспедиции сэра Кенелма Дигби в Скандерун; пятнадцать писем по-испански, адресованных

Мигелем де Молиносом [23] леди Энн Хоберк, которая скандализировала свое семейство, обратившись в папскую веру; подборка рецептов – по почерку судя, начало восемнадцатого века; экземпляр трактата Дрелинкура «О смерти»; старинное издание Андреа де Нерсиа [24] – «Фелиция, или Мои безумства». Он вскрыл следующий пакет и гадал, чья это потускневшая каштановая прядь заложена между страницами рукописи «Размышлений о последнем папистском заговоре», представляющей собой авторский оригинал третьего графа Хоберка, когда в дверь постучали. Джереми открыл, увидев перед собой низкорослого смуглого человечка в белом комбинезоне, направлявшегося прямо к нему. «Не хочу вас тревожить,– заговорил тот, хотя потревожить Джереми еще не успел.– Моя фамилия Обиспо. Доктор Зигмунд Обиспо, личный врач Его Величества короля Стойта Первого, будем надеяться, также и последнего».

Явно в восторге от собственного юмора, он разразился громким неприятным смехом, который отдавал чем-то металлическим. Затем капризным жестом аристократа, вынужденного копаться во всяком мусоре, подцепил одно из писем Молиноса и, уставившись в причудливые завитки, до которых были так охочи каллиграфы семнадцатого столетья, принялся вслух разбирать первую строку: «Ame a Dios come es en si y no como se lo dice y forma su imaginacion». [25] Он взглянул на Джереми, посмеиваясь.– Думаю, это легче сказать, чем сделать. Куда там, даже женщину невозможно любить, какова она есть, а как ни крути, женщина создает объективные физические предпосылки для любви. Иной раз даже очень милые предпосылки, кстати. Бог же, увы, есть только дух, иначе говоря, продукт чистой фантазии. А этот кретин, не знаю, кто именно, наставляет другого кретина, что нельзя, видите ли, любить Бога, каким он сотворен фантазией.– И, по-прежнему держась аристократом, он презрительно отбросил листок небрежным движением руки.– Какая чепуха! – продолжал он.–. Словеса, словеса – и это называется религией. Другие словеса –

[23] Испанский священник (1628–1696), проповедник квиетизма; осужден папой Иннокентием XI и умер в тюрьме.

[24] Французский офицер (1739–1800), автор скандальных эротических романов.

[25] Люби Бога, каков Он есть, не Того, кого сотворяет молва либо твоя фантазия (исп.)

вот вам философия. Еще пять-шесть пустейших фраз, и уже толкуют о политических идеях. А на самом деле одни словеса, либо бессмысленные, либо туманные. Причем из-за этих словес люди теряют голову и готовы в два счета ухлопать ближнего по той причине, что он употребил какое-нибудь слово им не по вкусу. Хотя слово это, возможно, полная бессмыслица – упражнение голосовых связок, только и всего. Шумовой эффект, абсолютно лишенный резона, хотя бы того, что есть у пищеварения,– ветры-то испускать надо. «Ame a Dios come es en si»,– повторил он насмешливо.– Все равно, что сказать: икни, но чтобы икнулось без фантазии. Ума не приложу, как вас, гуманитариев, литераторов, от такого не тошнит. Неужто вас никогда не бесит, что смысла тут искать нечего?

Джереми нервно улыбнулся, словно извиняясь.

– Смысл в данном случае отнюдь не главная забота,– сказал он. И, упреждая новые нападки, которыми собеседник постарается дискредитировать его самого и то, что он любит больше всего на свете, добавил: – Знаете, занятия эти приносят такое удовольствие, ну просто вот когда роешься во всяком старье.

Доктор Обиспо засмеялся, поощрительно похлопывая Джереми по плечу.

– Молодчина вы! – сказал он.– По крайней мере, откровенно. Вот так мне нравится. А то эти профессора, по опыту сужу, все сплошь Пекснифы [26]. Вечно тянут бесконечные свои разговоры про величие культуры и так далее. Ну, сами знаете: главное идеи, а знание вторично, и Софокл важнее всех наук. «Странное дело,– отвечаю я им в таких случаях,– получается, то ремесло, которое лично вас кормит, оно-то и спасет людской род». Вы хоть не пытаетесь представить свою профессию высшей необходимостью для человечества. Вы честный. Признаетесь, что для вас она удовольствие, и только. Ну, а я по тем же соображениям выбрал свое ремесло. Хотя, если бы вы тоже завели эту тягомотину про Софокла и прочее, я бы тут же вам целую лекцию прочел про науку, которая есть двигатель прогресса, гарантия счастья, даже про неизбежность постижения конечной истины потолковал бы, начни вы со мной спорить. – Обнажив безупречно белые зубы, он сверкнул улыбкой, полной беспечного презрения ко всему на свете.

[26] Пексниф – персонаж романа Ч. Диккенса «Мартин Чезлвит».

Насмешливость оказалась заразительной. Джереми тоже улыбнулся.

– Что ж, хорошо, что обошлось без споров,– сказал он со строгой сдержанностью, призванной подчеркнуть, что посягательства на конечную истину недопустимы.

– Заметьте,– продолжал доктор Обиспо,– я ведь не так глуп, чтобы не понимать привлекательных сторон ваших занятий. Только не надо мне навязывать Софокла. И вообще, я бы от тоски повесился, если бы пришлось сидеть над этим,– кивок в сторону ящиков.– Но признаюсь,– закончил он с любезной улыбкой,– старые книги и мне в свое время доставили массу наслаждения. Уверяю вас.

Джереми кашлянул, провел рукой по лысине, моргнул; ему не терпелось сразить этого врача полным яда сарказмом. Увы, доктор Обиспо не предоставил ему для этого возможности. Явно не замечая, что убийственная шутка уже вертится у Джереми на языке, он посмотрел на часы и поднялся.

– Вам стоит взглянуть на мою лабораторию. Времени до ленча еще предостаточно.

«Нет чтобы спросить, хочу ли я осматривать эту его дурацкую лабораторию», возмущался про себя Джереми, давясь своим сарказмом, а ведь до чего метким. Он бы, само собой, предпочел посидеть тут над хоберковским архивом, но, не осмелившись сказать этого вслух, послушно встал и последовал за доктором Обиспо.

Длительность жизни, объяснял Доктор, пока они шли по коридору. Вот чем они занимаются, продлением срока жизни. Сам он занимается этим с той поры, как получил медицинский диплом. Понятно, что он был завален практикой, времени для серьезных опытов не оставалось. Практика, заметил он, вообще фатальна для научных штудий. Чего добьешься, если весь день с пациентами возиться приходится! Больные бывают трех разновидностей: одни только воображают, будто больны, другие больны, но потихоньку выкарабкиваются, а третьим лучше бы всего умереть. Для человека, способного к настоящей научной работе, сущий абсурд тратить силы на пациентов. И что там скрывать, он это делал исключительно по необходимости, зарабатывать-то надо. И так бы, наверное, и продолжалось год за годом. Растратил бы все свои дарования, выхаживая идиотов. Но вдруг – полная неожиданность! –

колесо фортуны повернулось. К нему обратился за консультацией Джо Стойт. Улыбка судьбы, иначе не скажешь.

– Судьбы ужасная улыбка,– пробормотал Джереми, цитируя любимую свою строку Колриджа.

Да, Джо Стойт, повторил доктор Обиспо, причем был он тогда совсем плох. Лишнего веса фунтов сорок, не меньше, и после удара. К счастью, не очень сильного удара, но старому мерзавцу было от чего сдрейфить. Вот-вот, перепугался до полусмерти, в буквальном смысле. (Зубы доктора Обиспо, засмеявшегося своему людоедскому каламбуру, опять обнажились). Правда, зря он так уж запаниковал. Но ему, доктору, эта паника принесла избавление от пациентов, хороший доход и лабораторию, где можно по-настоящему заняться долголетием, плюс очень квалифицированного ассистента, да еще финансируются фармацевтические изыскания в Беркли и опыты над обезьянами в Бразилии, а кроме того, послана экспедиция изучать черепах на островах Галапагос. Чего еще желать ученому, благо и сам дядя Джо пригодился, можно без всяких морских свинок обойтись, потому что он на любые опыты над собой согласится, если ему пообещать два-три добавочных года, ну разве что вивисекцию без наркоза не даст над собой произвести.

Вообще-то ничего такого особенного с этим старым пачкуном он сейчас не делает. Просто не дает ему разжиреть, присматривает за почками да накачивает время от времени синтетическими половыми гормонами и еще держит под наблюдением его артерии. Обычный, избитый курс для мужчин в его возрасте и с таким медицинским прошлым. А в лаборатории кое-что проясняется новенькое, важное кое-что проясняется. Еще несколько месяцев, а возможно, всего несколько недель, и можно будет сделать вполне определенные выводы.

– Очень интересно,– сказал Джереми, стараясь остаться вежливым.

Они шли по узкому, выкрашенному в белое коридору, где всюду горели лампочки. Через распахнутые двери Джереми то и дело видел просторные кладовые, заваленные индейскими тотемными столбами, средневековыми кольчугами, чучелами орангутангов, мраморными группами Торвальдсена, раззолоченными Буддами, старинными паровыми двигателями, памятниками фаллического культа, дверцами дилижансов и

карет, перуанским фарфором, распятиями, образцами минералов. Доктор увлеченно говорил о долголетии. Эта дисциплина, снова и снова повторял он, находится еще в донаучной стадии. Множество наблюдений, но никаких гипотез и попыток анализа. Сплошная свалка фактов. И до чего странных, прямо-таки чудовищных в эксцентричности своей фактов! Отчего, например, цикада живет столько же, сколько и бык, а канарейка больше, чем три поколения овец? Отчего собаки в четырнадцать лет уже дряхлеют, а столетние попугаи полны сил? Отчего у женщин в сорок с небольшим наступает климакс, тогда как крокодилихи, которым перевалило за двести, преспокойно откладывают яйца? Кто объяснит, почему треска живет себе и живет, не старея, две сотни лет? А вот бедняга Джо Стойт...

Вдруг сбоку появились два работника, которые тащили носилки с парочкой мумифицированных монахинь. Столкнулись лоб в лоб.

– Идиоты проклятые! – злобно выкрикнул доктор.

– Сам идиот!

– Вы что, не видите, куда идете?

– Да пошел ты!

Доктор с презрением отвернулся и зашагал дальше.

– А ты вообще-то кто тут такой? – кричали ему вслед.

Задержавшись, Джереми разглядывал мумии с большим интересом. «Босоногие кармелитки»,– сказал он, ни к кому не обращаясь, и, словно странное это сочетание слов доставляло ему особое наслаждение, повторил, смакуя: «Босоногие кармелитки».

– Сам ты задница голая,– отозвался один из работников, решив отыграться на новом противнике.

Джереми лишь мельком взглянул на его раскрасневшееся злое лицо и с постыдной торопливостью направился вслед своему проводнику.

Доктор Обиспо, наконец, остановился. «Вот и пришли»,– сказал он, открывая дверь. Коридор заполнился запахом мышей и ректификата. «Входите».– В голосе его звучала приветливость.

Джереми переступил порог. Мышей и правда было множество – клетка на клетке рядами по полкам прямо перед ним. Три окна, прорубленных в каменной стене слева, выходили на теннисный корт, за которым вдали виднелись апельсиновые

рощи и горы. Перед одним из окон сидел человек, что-то разглядывая в микроскоп. При их приближении он поднял красивую голову со спутанными волосами и повернулся к вошедшим; лицо его, простодушное, доверчивое, казалось почти детским.

– Приветствую вас, док,– сказал он с подкупаю, щей улыбкой.

– Мой ассистент,– представил его доктор Обиспо,– Питер Бун. Пит, это мистер Пордейдж.– Питер поднялся; оказалось, что он настоящий юный гигант.

– Зовите меня просто Пит,– попросил он, когда Джереми обратился к нему: «мистер Бун».– Меня все так называют.

«Может, сказать ему, чтобы звал меня Джереми?» – подумал Пордейдж, но, как обычно, размышлял слишком долго, и подходящий момент был неповторимо упущен.

– Пит у нас парень умный,– начал доктор Обиспо тоном вроде бы очень дружелюбным, но, по сути, скорее покровительственным.– Физиологию отменно знает. И руки у него золотые. Никогда не видел, чтобы так здорово резали мышей.– Он потрепал своего молодого помощника по плечу.

Пит улыбнулся; Джереми показалось, чувствовал он себя несколько смущенно, словно не совсем понимал, что от него требуется в ответ на такую сердечность.

– Правда, вот политикой уж слишком увлечен, – продолжал доктор Обиспо.– Единственный его недостаток. Пытаюсь его от этого избавить. Только не очень-то пока у меня выходит, а, Пит?

Молодой человек опять улыбнулся, чуть увереннее,– он теперь понимал, к чему весь этот разговор и что ему нужно сказать.

– Верно, док, верно,– отозвался он. И, повернувшись к Джереми, осведомился: – Вы новости из Испании нынче утром слышали? – На его крупном, открытом и чистом лице появилась озабоченность.

Джереми покачал головой.

– Просто ужасно там,– Пит выглядел удрученным. – Как подумаешь об этих бедолагах, у которых ни авиации нет ни пушек, ни... – Так бросьте о них думать, – весело перебил его доктор Обиспо.– И все станет хорошо. Молодой великан посмотрел на него в упор и отвернулся не проронив ни слова. Наступила пауза; затем он достал часы.

– Пожалуй, пойду окунусь перед ленчем, – сказал он, направляясь к двери.

Доктор взял с полки одну из клеток, поднеся ее почти вплотную к лицу Джереми.

– Вот они, гормончики половые, живьем тут сидят, –

сказал он с игривостью, которая Пордейджу показалась особенно неуместной. Мыши пищали, когда доктор встряхивал клетку.– Пока препарат действует, все замечательно. А плохо, что действует он не так долго.

Хотя и краткосрочными эффектами пренебрегать не стоит, пояснил он, ставя клетку на место. Кому же не захочется хоть на время почувствовать себя лучше, а не хуже, пусть тоже временно. Затем он и проводит с дедушкой Джо курс инъекций тестостерона. Правда, не сказать, чтобы старый выродок особенно нуждался в этих уколах, когда такая девчонка, ну, Монсипл, рядом...

Вдруг доктор зажал ладонью рот, оглядываясь.

– Господи помилуй, – сказал он, – хорошо, Пит вышел. Экий дуралей! – На губах его мелькнула снисходительная усмешка. – Влюблен по уши. – Доктор постучал себя по лбу. – Считает, она прямо из стихов Теннисона сюда заявилась. Ну, знаете: прелесть юная, ангел непорочный и так далее. С месяц назад чуть одного не прикончил на месте, а все потому, что тот засомневался – дедушку, мол, даже ей не раскочегарить... Руками развести, и только. Поди догадайся, чем она, по его понятиям, тут занимается. Он, видно, решил, что они с дядей Джо обсуждают происхождение небесных туманностей. Ладно, пусть думает, раз ему так лучше. Я-то уж точно не стану ему портить настроение.– Доктор добродушно рассмеялся.

– Итак, возвращаясь к тому, что я вам говорил насчет дяди Джо... Достаточно, чтобы эта девочка тут болталась, и никакие гормоны не потребуются. Только вот беда, гормоны действуют недолго. И никто ничего сделать не может. Браун-Секард, Воронов, все остальные – они явно не тем путем шли. Считали, что упадок половой силы является причиной старения. А на самом деле это лишь один из его признаков. Старение начинается где-то в другой области и распространяется на эрос вместе со всеми прочими функциями организма. Гормоны – только паллиатив, краткое взбадривание. Человек чувствует себя какое-то время свежим, но и в это время продолжает стареть. Джереми с трудом подавил зевок.

– Вот некоторые животные например,– продолжал доктор Обиспо,– живут дольше, чем люди, но почему-то никаких признаков старости у них не замечается. Мы где-то просчитались в биологическом смысле. А, допустим, крокодилы ошибки этой не сделали, и черепахи тоже. Равно как некоторые разновидности рыб.

– Взгляните-ка,– сказал он, пересекая комнату, и отодвинул резиновый коврик, за которым оказалось стекло вделанного в стену большого аквариума. Джереми подошел осмотреть его вблизи.

В зеленоватой затененной прозрачности, замерев, висели две крупные рыбы, почти соприкасаясь головами, неподвижно, если не замечать резких подрагиваний плавников и ритмического колебания жабер. Почти сразу за их наставленными в упор глазами тянулась к свету схожая с четками непрерывающаяся цепочка пузырьков, а вода вокруг то и дело вспыхивала серебром от метавшихся по аквариуму мелких рыбешек. Оба чудища, охваченные своим безумным экстазом, не обращали на мелюзгу ни малейшего внимания.

Карпы, объяснил доктор Обиспо, карпы из прудов одного замка во Франконии, где-то под Бамбергом, забыл, как он называется. Владельцы обеднели, но рыба в пруду считается семейной реликвией и купить ее нельзя. Джо Стойту пришлось поиздержаться, чтобы браконьеры отловили и тайно вывезли этих двух в специально сконструированной машине с ванночкой под задним сиденьем. Шестьдесят фунтов, четыре с лишним фута в длину, а кольца на хвостах помечены 1761 годом.

– Как раз начало периода, которым я занимаюсь,– пробормотал Джереми, неожиданно заинтересовавшись. В 1761-м появился «Фингал». Он улыбнулся в душе, карп рядом с Оссианом, любимым поэтом Наполеона, рядом с первыми прикосновеньями к седой кельтской старине – как изысканно! Прекрасный можно было бы сочинить эссе. Страниц двадцать: эрудиция пополам с абсурдом этакое прециозное святотатство, изощренная, лукавая непочтительность истинного знатока по отношению к мертвым, неважно – знаменитым, незнаменитым.

Но доктор Обиспо не позволил ему мирно насладиться такими мыслями. Неутомимо нахлестывая любимого конька, он вновь пустился разглагольствовать. Вот, полюбуйтесь, говорил он, указывая на могучих рыб, им почти двести лет, а совершенно здоровы, ни единой приметы старости, отчего бы

им не прожить еще века три-четыре. Полюбовались? А теперь присмотритесь к себе. Он обернулся к Джереми, словно его в чем-то обвиняя. Нет, вы присмотритесь, не увиливайте: всего половина Жизненного срока позади, а уже лысина, уже дальнозоркость да и одышка тоже имеется; зубов уже половины не наберется, физического напряжения и пяти минут не выдержите, запоры-то часто случаются (ладно, ладно, нечего краснеть), а память совсем прохудилась, и пищеварение барахлит, и потенция подводит – или, может, ее уж и не осталось вовсе, а?

Джереми заставил себя улыбнуться, кивая после каждого предположения, словно бы со всеми шутливо соглашаясь. Его бесила эта даже чрезмерная точность диагноза, и в глубине души он полыхал гневом к диагносту за беспощадность его научных выкладок. Одно дело с комическим самоунижением толковать, что, мол ужасно быстро стареем, совсем другое – когда это в лоб говорит некто, испытывающий к тебе интерес лишь в силу того, что ты почему-то непохож на рыбу. Тем не менее Джереми все улыбался да поддакивал.

– Ну вот,– завершил свою лекцию доктор,– взгляните на себя, а потом на карпов. Почему же вы не сумели управиться со своей физиологией, как умеют они? В чем именно состоит ваша ошибка, когда и где вы сделали что-то не так? а теперь расплачиваетесь шатающимися зубами, выпавшими волосами и могилой, ожидающей вас всего через несколько лет.

Вопросами этими занимался старик Мечников и предложил смелые ответы. Все, что утверждал он, понимается неверно: фагоцитоза нет; кишечная интоксикация не является единственной причиной старения; невромы – сплошной миф, чудовищная выдумка; пей сырое молоко хоть ведрами – жизни это не продлит, а если удалить толстую кишку, уж точно укоротишь свои дни на земле. Посмеиваясь, доктор вспоминал операции, вошедшие в такую моду как раз перед Большой войной. Эти почтенные матроны, эти преклонных лет джентльмены, которым удалили толстую кишку, отчего им приходилось испражняться каждые несколько минут, ну прямо канарейки! И все, незачем пояснять, напрасный труд, потому что операция, сулившая, что пациенты проживут лет до ста, приканчивала их через год, максимум через два. Откинув свою набриолиненную голову, доктор Обиспо разразился приступом развязного хохота, какие у него всегда вызывали свидетельства

человеческих глупостей, увенчанных катастрофой. Бедняга Мечников, заметил он, утирая от смеха глаза. Во всем ошибался. Но уж наверняка не так грубо ошибался, как тогда полагали. Ошибка была в том, что он так сильно упирал на кишечный стаз и интоксикацию. Но в общем-то не напрасно ему казалось, что весь секрет там, в кишечнике. Да, где-то в кишечнике, повторил доктор Обиспо, а главное, он скоро до этого секрета докопается. Он помедлил и с минуту стоял молча, постукивая пальцами по стеклу аквариума. Застывшие между тиной и воздухом, два престарелых раздобревших карпа, выделявшиеся на зеленоватом сумеречном фоне, явно его не заметили. Доктор пригрозил им пальцем. Самые неподходящие для опытов твари, хуже не бывает, пробурчал он недовольно, однако в сказанном чувствовалась некая мрачная гордость. Пусть при мне не вздумают сетовать на технические сложности, если с рыбами не работали. Возьмите хоть самую простую вещь, и сразу черт знает что. Пробовали как полагается смочить жабры, когда на столе делают рыбе анестезию? А под водой оперировать не приходилось? Обмен веществ у рыб определить не пытались, или, может, кардиограмму у них снимали, давление измеряли? Вам не любопытно ли сделать анализ их экскрементов? Любопытно? – что ж, попробуйте для начала их собрать. Или вот, не угодно ли заняться химией рыбьего пищеварения, усвоения корма? Установить, как меняется давление в разных условиях? Измерить скорость нервных реакций?

Вот попробовали бы, кричал доктор, испепеляемый презрением. А не пробовали, так нечего и скулить.

Он задернул занавески аквариума и, взяв Джереми под руку, отвел его обратно к мышам.

– Посмотрите на вон тех, – сказал он, обводя рукой клетки на верхней полке.

Джереми поднял глаза. Мыши ничем не отличались от всех остальных. – А что в них такого? – осведомился он.

– Будь это люди, – засмеялся Обиспо, – их возраст перевалил бы за сотню.– В голосе его появилась торжественность.

И опять – возбужденно, напористо – он начал рассказывать о жирных спиртах, о кишечной флоре карпов. Потому что тут-то и лежит ключ ко всей проблеме старения и долголетия. Вся загвоздка в стеринах и в том, какая флора у карпов в кишках. Уж эти мне стерины! (Доктор, нахмурившись, покачал головой,

точно бы их укоряя.) Обязательно приводят к старению. Взять хоть холестерин для наглядности примера. О том, что организм ветшает, можно судить по отложению холестерина на стенках артерий. Тиоцианид калия, правда, их вроде бы растворяет. Если ввести тиоцианид калия стареньким кроликам, они явно оживают. Значит, и человеческий организм встрепенется. Но, увы, опять-таки ненадолго. Холестерин в артериях – только одна из многих проблем. Да ведь и сам холестерин – лишь один из многих стеринов. А их целая группа, этих жирных спиртов. Совсем нетрудно каждый из них превратить в любой другой. А если вам известны работы старика Шнееглока и те исследования, которые велись в Упсале, вы должны знать, что среди стеринов есть ужасно вредные, намного вреднее холестерина, даже в больших отложениях. Лонгботтем пошел еще дальше, предполагая связь между жирными спиртами и неоплазмами. Короче, рак в общем и целом можно рассматривать как свидетельство отравления стеринами. А он, Обиспо, скажет и больше: это вот отравление составляет основную причину старческих процессов дегенерации у человека и прочих млекопитающих. Просто пока никто еще не занялся наблюдением над тем, как воздействуют жирные спирты на организмы, подобные карпьим. А он этому посвятил весь прошлый год. И выяснил несколько вещей: во-первых, что жирные спирты у карпов не накапливаются в чрезмерном количестве, во-вторых, они не образуют еще более вредные стерины, а главное, эти благотворные факторы объясняются особенностями кишечной флоры. Ах, какая у карпов флора! – воскликнул доктор, полный восторга. До чего богатая, разнообразная – изумительно! Ему пока еще не удалось определить тот орган, который и делает карпов неуязвимыми для атак старости, и он не до конца разобрался в природе химических процессов, с этим связанных. Однако самое важное установлено. Тем или иным способом, взаимодействуя или создавая специальный орган защиты, карпы несомненно развили способность, благодаря которой стерины не превращаются у них в яды. Оттого карп спокойно живет себе двести лет, и никакого старения у него не замечается.

Ну, а возможно ли кишечную флору карпа пересадить в толстую кишку млекопитающего? И если она приживется, возникнут ли те же самые биологические и химические эффекты? Это-то все последние месяцы он и старался

определить. И поначалу без успеха. Но вот недавно они придумали новую методику, которая позволяет защитить флору от процессов, вызываемых пищеварением, и дает некоторое время на приспособление к новой среде. Флора прижилась. На мышей она подействовала немедленно и очень существенно. Старение остановилось, даже начался обратный процесс. Физиологически мыши теперь моложе, чем были, по меньшей мере, восемнадцать месяцев назад, моложе теперь, когда им, по человеческим меркам, сто лет, чем были, когда по этим меркам их возраст равнялся шестидесяти.

В коридоре прозвучал электрический звонок. Час ленча. Собеседники покинули лабораторию и направились к лифту. Доктор Обиспо все продолжал свою повесть. На мышей, заметил он, вполне полагаться нельзя. Теперь попробуем применить ту же методику к более крупным животным. Если окажется, что у собак или у павианов результаты такие же, она должна дать схожий эффект и у дяди Джо.

## 6

В маленькой столовой обстановка была преимущественно из брайтонского Павильона. Четыре позолоченных дракона служили опорами покрытого красным лаком стола, еще два в виде кариатид поддерживали крышку над камином, сделанную из того же материала. В дни Регенства [27] так представляли себе восточную роскошь. Что-нибудь в таком духе, размышлял Джереми, усаживаясь на свой пурпурный с золотом стул, да, нечто подобное должно было представляться Китсу, когда при нем заговаривали о Древнем Китае, как, впрочем, представлялось и Шелли, и лорду Байрону,– и точно так же эта пленительная «Леда» работы Этти, висящая вон там, рядом с «Благовещением» Фра Анжелико, с абсолютной достоверностью доносит их верования касательно языческой мифологии: превосходно подошла бы (он чуть не захихикал от этой мысли вслух) в качестве иллюстрации для всех их од Психее и Греческой вазе, для «Эндимиона», для «Прометея Прикованного». У любой эпохи собственные идеи и чувства, и фантазии, которые отличают всех, кто этой эпохе принадлежит, без всякого исключения, будь то случайный прохожий или

[27] 1810-е годы.

личность, отмеченная гениальностью. Регентство всегда узнаваемо, оно Регентство, берешь ли образчик с поверхности или залезаешь на самое дно корзинки. В 1820-е годы каждый, устремивший взор внутрь себя, чтобы вообразить чудесные гроты, у которых пенной волной бьется волшебное море, должен был увидеть – что? Да башни брайтонского Павильона. Соображение это заставило Джереми самодовольно улыбнуться. Этти и Китс, брайтонский Павильон и Перси Биши Шелли – потрясающая тема! Куда более захватывающая, нежели карп в сопоставлении с песнями Оссиана, ведь Нэш [28] и принц-регент, во всяком случае, поинтереснее какой-то старой рыбы. Не поднимать же ее, впрочем, за столом, где о таких вещах словом перекинуться не с кем. Любопытно, есть здесь хоть кто-то, кого бы такие материи увлекали, кто способен вести о них речь? Мистер Стойт, понятно, исключается, равно как мисс Монсипл и эти две юные ее гостьи, явившиеся из Голливуда к ленчу; доктору Обиспо мыши важнее всех книг на свете; что до Питера Буна, он, похоже, вообще не ведает о существовании интересных книг. Единственное лицо, которое, быть может, испытает некий трепет, задумавшись о психологии последних Георгов, был джентльмен, представленный Джереми как профессор Хуберт Малдж, доктор философии, магистр богословия и президент колледжа Тарзания. Доктор Малдж, однако, в настоящий момент патетически, словно произнося проповедь перед паствой, рассуждал о новом учебном корпусе, презентованном колледжу мистером Стойтом, – вскоре предстояла церемония официального открытия. Этот доктор Малдж был крупный, видный мужчина с подобающим такой наружности голосом – звучным, но вместе с тем обходительным, ласкающим, но непреклонным. Говорил он неспешно, однако уверенно и без единой запинки. Фразами, где каждое второе слово надлежало бы выделить прописными буквами, он заверял мистера Стойта и всех своих любезных слушателей, что для обучающихся в Тарзании явится Великим Благом предоставленная возможность собираться в превосходном новом корпусе, чтобы Сообща Посвятить Себя Высоким Занятиям. Например, Религиозным Ритуалам вне различия вероисповеданий, или же Изучению Лучших

[28] Нэш, Джон (1757–1835) –английский архитектор, построил комплекс домов у Риджент-Парка, места королевской охоты.

Свершений Поэтической и Драматической Музы. Да, дар этот бесценен! Многие поколения тарзанских Питомцев и Воспитанниц с сердечной благодарностью и любовью будут вспоминать имя Стойта, вспоминать его, можно не сомневаться, всегда; и сей Учебный Корпус есть monumentum aere perennius, да, Монумент, коий не погребет Время под своими Песками,– истинный, вековечный монумент. Позвольте же, продолжал доктор Малдж, перемежая свою речь кусочками цыпленка под соусом, упомянуть теперь о том, сколь необходима Тарзании новая школа Искусств. Ибо не убедились ли мы сами, сколь помогают Искусства истинному Образованию. И Дух Веры в наше Двадцатое Столетие также себя выражает всего яснее посредством Искусств. В Искусствах дано Личности наиболее полно осуществить свое Творческое Начало, поскольку...

«Рехнуться можно,– подумалось Джереми,– да замолчи ты, наконец». И он улыбнулся, вспомнив, что вот с этим-то болваном намеревался поболтать о том, что связывает поэзию Китса и брайтонский Павильон.

Питер Бун увидел, что от Вирджинии его отделяет ее юная подруга из Голливуда, та, у которой головка посветлее, и остается лишь любоваться Вирджинией на фоне румян и наклеенных ресниц, золотистых завитков и густого, почти зримого аромата гардений. Всякому другому подобный фон стал бы некой пленительной помехой, однако Питу было безразлично – что духи, что столь же сильный запах помоев. Интересовало его лишь находящееся за помехой – изящно подкороченная верхняя губка, крохотный носик, при виде которого навертывались растроганные слезы: такой он был элегантный и дерзкий, такой забавный, такой ангелоподобный; и длинные, по-флорентийски зачесанные пряди, сверкающие под солнцем переливами каштанового цвета; и эти широко расставленные огромные глаза с их обманчивой живостью темноголубыми глубинами, где, он не сомневается, таятся неиссякаемая мудрость и нежность, не знающая пределов. Он был так в нее влюблен, что на месте сердца ощущал лишь побаливающую пустоту, заполнить которую могла она одна.

А она болтала себе с этой златоглавой Помехой насчет нового контракта, который Помеха заключила только что со студией «Космополитен-Перельмутер». Картина называлась «Подбери мне чулочки», и Помехе предстояло в ней воплотить

богатую девицу, которая, только начав выезжать в общество, сбегает из дома, чтобы устроить свою жизнь самостоятельно, становится звездой стриптиза в каком-то шахтерском городишке на Западе и под конец выходит за ковбоя, а тот оказывается сынком миллионера.

– Чудная история! – сказала Вирджиния.– А вы как думаете, Пит?

Пит был с нею совершенно согласен, он с радостью подумал бы все, что она найдет правильным.

– Кстати, расскажите про Испанию,– прощебетала Вирджиния. И пока Джереми, который прислушивался к их разговору, лихорадочно пытался сообразить, как это у нее оказались кстати «Чулочки» и Гражданская война,– связались ли в целое «Космополитен-Перельмутер», антисемитизм, франкизм, нацизм, или беглянка, классовая борьба, Москва, Негрин, или стриптиз, дух нынешнего времени, радикализм, Республика,– пока он прокручивал все эти варианты, Вирджиния тормошила молодого великана, чтобы он им рассказал про свои испанские приключения, а когда он замялся, потребовала с настойчивостью – ведь это так интересно, и Помеха никогда про это не слышала, да наконец, ей вот хочется, и нечего ломаться.

Пит послушно кивнул. Чередуя ходовые словечки с газетными фразами,– Джереми, втихомолку подслушивавший, насколько позволяло бубнящее красноречие доктора Малджа, подумал: вот он, убогий, нищенский, ковыляющий лексикон, к которому прибегают столько молодых американцев и англичан из страха показаться небанальными, а значит, третирующими свою компанию или высокомерными, стало быть, недемократичными, или же вовсе снобами, что совсем уж не годится,– спотыкаясь, уснащая свой рассказ междометиями, Пит на мерзком этом жаргоне принялся описывать те героические месяцы 1937 года, которые провел добровольцем в Интербригаде. Повесть выходила захватывающая. Хотя речь Пита безнадежно хромала, Джереми не составило труда уловить, что юноша этот действительно верит в справедливость и свободу, что он по-настоящему храбр, предан своим товарищам и даже здесь, рядом с капризным ротиком, в атмосфере, где все благоприятствует научным занятиям, его снедает тоска по жизни среди людей, посвятивших себя своей

идее, готовых встретить лицом к лицу любую опасность, не страшившихся ни лишений, ни всегда близкой угрозы гибели.

– Да чего там,– то и дело повторял он,– настоящие были парни, уж поверьте.

Все они были настоящие – Кнут, однажды спасший его там, в Арагоне, и Антон, Мэк, бедняга Дино, которого убили, и Андре – тому отрезали ногу; а у Яна остались дома жена и двое малышей; про Фрица и говорить нечего – он полгода сидел у нацистов в лагере, да и вообще чего там, лучше парней в мире не найти. А вот он хорош гусь, нечего сказать,– сначала подхватил ревматизм, и пришлось ребятам столько с ним возиться, а потом бац! миокардит, и значит, прощай, солдатская служба: на что он годен, если двигаться не может. Поэтому он сюда и приехал – это было сказано извиняющимся тоном. Да ладно, чего там, он все-таки кое-что в жизни повидал! Вспомнить хотя бы, как они с Кнутом сделали ночную вылазку, переползли через расщелину и, застав врасплох целый взвод мавров, половину перестреляли, а вернулись с пулеметом, с тремя пленными...

– Позвольте поинтересоваться, что вы думаете о Творческом Развитии Личности, мистер Пордейдж?

Смущенный тем, что его так явно поймали на невнимании к оратору, Джереми виновато забормотал: «Творческое развитие? Ну конечно, конечно,– он пытался выиграть время.– Обязательно, просто необходимо. Я всей душой за творческое развитие»,– закончил он с пафосом.

– Приятно это слышать,– сказал доктор Малдж.– Поскольку мы в Тарзании именно этого и стараемся добиться. Творческого развития – и чтобы оно становилось все более Творческим. Сказать вам, о чем я всего сильнее мечтаю? – И мистер Стойт, и Джереми хранили молчание. Тем не менее доктор Малдж пылал решимостью поведать им свои грезы.– О том, что Тарзания превратится в Центр той Новой Цивилизации, коя расцветает здесь у нас на Западе.– Мясистая его длань торжественно взмыла вверх.– Афины Двадцатого Века вскоре появятся в пределах городских границ Лос-Анджелеса. И я хочу, чтобы Тарзанию считали новыми афинским Парфеноном и Академией, новой Стоей и Храмом Муз. Чтобы Религия, Творчество, Философия, Наука, чтобы все они обрели приют в Тарзании, отсюда источая благородный свой свет, которым...

Довершая рассказ о вылазке, Пит наконец сообразил, что слушает его только Помеха. Внимание Вирджинии отвлеклось, сначала незаметно, затем явно и вызывающе, на левый фланг, где доктор Обиспо что-то нашептывал почти в самое ухо той блондинке, что потемнее.

– Вы о чем это там? – окликнула их Вирджиния. Доктор повернулся к ней, снова принявшись шептать.

Три головы – набриолиненная черноволосая, в мелких русых завитках и еще одна, с каштановым отливом,– почти касались друг друга. По выражению лиц Пит догадался, что доктор опять рассказывает какую-то из своих похабных историй. Болезненная пустота на месте сердца, исчезнувшая было, когда Вирджиния с пленительной улыбкой попросила его рассказать про Испанию, теперь вернулась, отозвавшись удвоенной тревогой. Боль была особенная, в ней сплетались нежность, отчаяние, чувство утраты, ощущение собственной никчемности и еще страх, что ангела его совращают, а вдобавок другой, более глубокий страх, который он отказывался отчетливо осознать, и страх этот был тот, что о совращении тревожиться уже незачем, потому что ангел на самом-то Деле не херувим, которого создало воображение, плененное любовью. Увлекательный его рассказ вдруг сам собою иссяк. Он замолчал.

– А что же потом было? – тормошила его Помеха; на лице ее читались страстный интерес и такое преклонение перед героем, от которого у любого другого приятно защекотало бы в груди.

Он покачал головой.

– Ничего особенного.

– А с маврами, то есть с пленными вы как распорядились?

– Ну их к черту! – нетерпеливо отмахнулся он. – Вам-то что?

Слова его заглушил неистовый хохот, как будто взрывом разбросавший заговорщицки склоненные одна к другой головы: черноволосую, в русых завитках и ту, с прелестным каштановым отливом. Взглянув на Вирджинию, он увидел, что она корчится от еле сдерживаемого смеха. Что это ее разбирает? – он мучительно пытался понять, насколько она развращена, и в памяти разом всплыли, как бы выкристаллизовавшись и сливаясь воедино, все смачные анекдоты, которые гуляли в его дни по школе, все шуточки, все скабрезные куплеты.

Может, и ее развеселил анекдотец в таком духе? Или что-нибудь вроде этой вот песенки? Или – Боже, да неужто – вроде той истории? О нет, взывал он к небесам, только не этой, но чем

больше старался он себя убедить, чем горячее молился, тем безнадежнее, сам не зная почему, проникался уверенностью, что эта именно история и была рассказана.

–...самое важное,– вещал доктор Малдж.– Творческое Созидание в сфере Искусств. Поэтому необходима Художественная Школа, которая была бы достойна Тарзании, достойна величайших традиций нашего...

Истерический женский хохот нарушил чинное спокойствие, своим неистовством точно бы негативно соответствуя строгости принятых в обществе табу. Взор мистера Стойта резко устремился туда, где веселились от души.

– Вы чего это? – подозрительно спросил он.

Он не позволит, чтобы Малышка краснела от грязных шуточек. Когда за столом были дамы, он делался почти так же нетерпим к грязным шуточкам, как бывало его бабушка, плимутская сестрица.

– Чего ржете, спрашиваю?

Ответил доктор Обиспо. Со своей всегдашней лощеной вежливостью, воспринимавшейся как издевательство, объяснил, что рассказывает девочкам забавный случай, о котором недавно говорили по радио. Ужасно смешное происшествие. Может, начать сначала, чтобы и мистер Стойт послушал?

Бросив на него сердитый взгляд, мистер Стойт отвернулся.

Скучающая мина на лице хозяина убедила доктора Малджа, что этот разговор о Художественной школе лучше отложить до другого случая. Жаль, очень жаль, дело-то вроде было совсем на мази. Ладно, не все сразу. В качестве главы колледжа доктор Малдж хронически нуждался в филантропах; о богачах ему было известно все. Известно, в частности, что они похожи на горилл, а тех непросто укрощать, потому что они всегда настороже, вечно чем-то недовольны и отличаются скверным характером. С ними надо действовать без нажима, обращаться нежно, ласково и хитрить на каждом шагу. Причем все равно они способны вдруг ни с того, ни с сего обозлиться и показать зубы. Полжизни что-нибудь выклянчивая у банкиров, стальных магнатов и отошедших от дел консервных королей, доктор Малдж выучился сносить маленькие неудачи вроде сегодняшней с истинно философским терпением. Сияя всей своей расплывшейся в улыбке физиономией римлянина имперской поры, он обратился к Джереми:

– А как вам наш калифорнийский климат, мистер Пордейдж?

Вирджиния мельком взглянула на Пита, сразу угадав, чем он расстроен. Бедненький! Но с другой стороны, ей что, вот так и слушать все эти байки про дурацкую войну в Испании, а если не про Испанию, так про лабораторию, а в лаборатории они занимаются вивисекцией, ужас какой-то, ну да, на охоте тоже убивают зверьков, но у них, бедненьких, есть шанс уцелеть, особенно когда стрелок неважный, а она и стрелять-то не умеет, и вообще на охоте так здорово, горы кругом, воздух такой чудесный, а Пит просто кромсает бедненьких мышек у себя в этом противном погребе... В общем, он сильно ошибается, если рассчитывает, что она так вот сядет рядом и уши развесит. Но в общем-то он славный, Пит, а уж влюблен, с ума сойти! Чудесно, когда так в тебя влюбляются, просто чудесно. Хотя в общем-то надоел он ей уже. Вроде как ты ему чем-то обязана, а он тебе указывать может и вообще лезть с советами. Пит, правда, особенно не лезет, но смотрит, смотрит как – вроде бы ты лишний коктейль выпила, а твоей собаке вздумалось тебя ругать за это. Глазами все говорит, прямо как Хеди Ламар, только у нее, у Хеди, глаза совсем другое говорят, совсем, совсем другое. И сейчас опять вон на меня уставился, а что я такого сделала? Надоела мне эта дурацкая война, вот я и прислушалась, что это там Зиг нашептывает Мери Лу. Ладно, хватит, в общем никому не позволю объяснять, как мне жить, моя жизнь это моя жизнь. И мое дело. А он пялится с упреками, ну совсем как дядя Джо, или мамаша, или этот отец О'Рейли. Те, правда, не просто пялятся, те еще говорят, говорят – не остановишь. Хотя вообще-то он все это с лучшими чувствами делает, бедненький, он совсем мальчишка, этот Пит, опыта никакого, а главное, влюблен, как сопляк, как тот школьник в последней картине Дины Дурбин. Бедненький Пит! – опять подумалось ей. Не везет ему, а что поделаешь, никогда ей не нравились такие вот здоровые, красивые парни вроде Кэри Гранта. Ну, не нравятся, и все тут. Он милый, чудесно, что он так ее любит. Но делать нечего.

Встретившись с ним взглядом, она одарила его ослепительной улыбкой и позвала, если найдется свободных полчаса, после ленча поучить ее с девочками, как кидают подкову.

## 7

Наконец, поднялись из-за стола и начали расходиться. Доктору Малджу предстояла деловая встреча в Пасадене с вдовой владельца треста резиновых изделий – может, та пожертвует тридцать тысяч на спальный корпус для девочек. Мистер Стойт отправлялся в Лос-Анджелес на еженедельное заседание правления, происходившее в пятницу к вечеру, и последующие деловые переговоры. Доктор Обиспо должен был оперировать на кроликах и направился в лабораторию за инструментами. У Пита накопилась груда научных журналов, которые надо просмотреть, но все же он не отказал себе в нескольких минутах счастья, даруемого обществом Вирджинии. А Джереми, разумеется, не терпелось вернуться к бумагам Хоберков. Он шел к себе в подвал, испытывая чувство почти физического облегчения,– так возвращаются туда, где чувствуют себя дома. Он проводил день прекрасно, и с какой пользой! Прошло каких-то два-три часа, когда из кипы бухгалтерских книг и деловых бумаг он выудил еще одну связку писем Молиноса. А также третий и четвертый тома «Фелиции». И кроме того, иллюстрированное издание «Le Portier des Carmes» [29], а затем под переплетом, напоминающим молитвенник, обнаружилось сочинение редчайшее – «Сто двадцать дней Содома», труд Божественного Маркиза. Истинное сокровище. Вот уж удача, так удача. Впрочем, подумал Джереми, удачи этой вполне можно было ожидать, зная, что за семейство были Хоберки. Судя по году выпуска, книги скорее всего принадлежали пятому графу – тому, который владел титулом полвека с лишним, перевалил за девяносто, а скончался уже при Вильяме IV, и не задумавшись о покаянии. Памятуя, что собою представлял сей старый джентльмен, странно удивляться, обнаружив, какое у него было собрание порнографии,– уж скорее следовало бы предположить, что оно окажется еще богаче.

С каждой новой находкой Джереми окрылялся все больше. Как обычно,– безошибочная примета, что у него хорошее настроение,– он принялся вспоминать песенки, популярные во времена его детства. Письма Молиноса читались под аккомпанимент «Веселеньких девчонок», «Фелицию» и «Le Portier des Carmes» он листал, мурлыкая под нос романтичную мелодию «Пчелка на сирени». А когда очередь дошла до «Ста

[29] «Дарующий блаженства» Нерсиа.

двадцати дней», никогда им прежде не читанных и даже не виданных, сюрприз привел его в такое восхищение, что, раскрыв старый томик по долгу библиографа и обнаружив вместо предполагаемых англиканских песнопений прозу маркиза де Сада с ее ледяным изяществом, Джереми принялся снова и снова повторять вслух стишок, который мать заставила его выучить всего трех лет от роду,– он до сих пор воспринимал эти строчки как символ восторга перед чудом, потому что невозможно достовернее передать радость от негаданного подарка судьбы, от нежданной улыбки жизни:

– Дружок, вот сладкий пирожок!
– Ах, принеси еще, дружок!

А он, какое счастье, еще и первый не надкусил, вот она, книжечка, толком даже и не открытая, все впереди – и наслаждение, и поучение. Вспомнив, как там, в бассейне, он ощутил укол ревности, Джереми снисходительно усмехнулся. Пусть мистер Стойт заведет себе хоть гарем, первоклассный образчик непристойной прозы восемнадцатого столетья – это вам не какая-нибудь мисс Монсипл. Он закрыл книжечку, не выпуская ее из рук. Сафьяновый переплет – скромно, но до чего элегантно· слово «Молитвенник» вытеснено на корешке золотыми буквами, почти не потускневшими от времени. Он поставил томик на край стола, куда откладывал прочие курьезные вещицы. Сделает все, что на сегодня намечено, – заберет эту коллекцию к себе в комнату.

«Дружок, вот сладкий пирожок!» – напевал он, вскрывая следующий ящик, а потом затянул: «Этим ясным днем весенним в лепестках густой сирени собирает пчелка мед – вся природа с ней поет». Эта поющая природа – Вордсворт, да и только,– особенно его умиляла. Очередная связка бумаг оказалась перепиской пятого графа с несколькими влиятельными вигами по поводу ограждения в пользу его сиятельства трех тысяч акров общественных пастбищ в Ноттингемшире. Джереми сложил листки в папку, занес на карточку краткое описание документов, убрал папку в шкаф, карточку отправил в картотеку и, опять воспевая сладкий пирожок, потянулся за следующим пакетом. Он разрезал шпагат. «Пчелка, пчелка, не ленись ты, в рот возьми сирени листик». Интересно, что бы по этому поводу сказал доктор Фрейд? Какие-то неподписанные памфлеты

против деистов – жуткая тощища, Джереми тут же отложил их подальше. Но вот кое-что занятное – экземпляр «Серьезного призвания» Лоу с собственноручными пометками Эдварда Гиббона [30], а вот еще – отчеты, представленные пятому графу неким мистером Роджерсом из Ливерпуля, который сообщает об издержках на снаряжение трех экспедиций работорговцев и о доходах, причитающихся графу за участие в их финансировании. Похоже, особенно удалась вторая экспедиция: во время плавания утрачена всего пятая часть груза, даже меньше, а цены на невольничьих торгах в Саванне были на сей раз необыкновенно высоки. Мистер Роджерс просит выслать положенное за труды – чек на семнадцать тысяч двести двадцать четыре фунта одиннадцать шиллингов и четыре пенса. Так, а в письме из Венеции, по-итальянски, пятому графу дают знать, что предстоит продажа поясного портрета Марии Магдалины кисти Тициана, причем просят, по мнению корреспондента, до смешного мало. Уже имеются покупатели, однако из уважения к английскому cognoscente [31], чей безупречный вкус известен всем и каждому, продавец согласен подождать, пока не придет ответ его светлости, Впрочем, не угодно ли его светлости поспешить с решением, ибо...

Было пять часов, солнце начало заходить. Облачившись в белые туфли и носки, белые шорты, курточку из розового шелка и кепочку вроде капитанской фуражки, Вирджиния отправилась посмотреть, как кормят павианов.

Ее выкрашенный в розовые тона мотоцикл стоял с заглушённым мотором на дороге метрах в двадцати-тридцати над вольером. Сопровождаемая доктором Обиспо и Питом, она спустилась к самому ограждению, чтобы разглядеть обезьян получше.

Прямо напротив них сидела на скале, обтесанной так, чтобы получилась полка, мамаша, сжимая ссохшийся, разлагающийся труп своего младенца, околевшего уже две недели назад. Не желая с ним расставаться, мамаша время от времени принималась с неистовой механической страстностью лизать его крохотное тельце. На языке у нее оставались пучки зеленоватого меха и даже клочья кожи. Движением ловких черных пальцев она вытаскивала из пасти прилипшую шерсть и

[30] Гиббон, Эдвард (1737–1794) – выдающийся английский историк.
[31] Знаток (*итал.*).

снова облизывала детеныша. Над нею у входа в небольшой грот вдруг затеяли драку два молодых самца. Воздух заполнился визгом, криками и скрежетом резцов. Наконец, один из сражавшихся обратился в бегство, а победитель, тут же позабыв свой воинственный пыл, начал вычесывать перхоть с груди. Справа на скале великолепный старый самец с облысевшей мордой и всклокоченной седой шевелюрой, словно у какого-нибудь африканского жреца семнадцатого века, караулил свою безропотную подругу. Эта была бдительная вахта: стоило ей шевельнуться без его позволения, он тут же бил ее лапой; маленькие черные глазки посматривали по сторонам с неусыпной настороженностью, ноздри, резко прочерченные на расцарапанной морде, подрагивали. Пит полез в принесенную им корзину и швырнул павиану картофелину, потом морковку и еще картофелину. Стремительно мелькнули пунцовые ягодицы,– покинув свой пост, старый самец схватил морковь и, прожевывая ее, успел запихнуть обе картофелины за щеки, подскочил, продолжая жевать, к проволочной сетке и стал клянчить добавку. Препятствие исчезло. Тот молодой, который вычесывал перхоть, вдруг осознал, что ему представился шанс. Дрожа от возбуждения, он перепрыгнул на скалу, где, страшась последовать за повелителем, по-прежнему сидела, скрючившись, самка. Не прошло и секунды, как они уже совокуплялись.

Вирджиния захлопала в ладоши от восторга.

– Чудные! Ну, совсем как люди!

Слова ее утонули в новых вскриках и взвизгиваниях.

Пит, отставив корзинку, сказал, что давно уже не видел мистера Проптера. Может, спуститься к нему, навестить?

– Замечательный маршрут,– заметил доктор Обиспо.– Из обезьянника в проптеров питомник, оттуда в стойтовское стойло и на монсипловскую мансарду. Ангел мой, угодно вам предпринять такое путешествие?

Вирджиния кидала старому павиану картофелины, стараясь разбрасывать их так, чтобы он повернулся от сетки и направился к скале, где оставил скучать самку. Ей хотелось, чтобы старик посмотрел, как себя ведет в его отсутствие супруга. «Прекрасно, и в самом деле, пошли к нашему доброму Проппи»,– ответила она, не оборачиваясь. Через ограждение полетела еще картофелина. Встряхнув седой шевелюрой, павиан метнулся за ней, но, вместо того чтобы бросить взгляд на скалу

и застукать миссис П. в объятиях снежного человека, противная эта обезьяна опять вцепилась в сетку, выцыганивая еще. «У, дурак!» – скривила губки Вирджиния и следующую картофелину швырнула прямо в него, угодив по носу. Засмеявшись, она повернулась к мужчинам:

– Мне наш Проппи нравится. Немножко страшно с ним, но вообще-то он хороший.

– Стало быть, решено,– заключил доктор Обиспо,– пошли, а по пути должны мы к Пордейджу зайти, чтобы с собой его вести.

– Отлично, пройдется с нами, старый Бивень,– отозвалась Вирджиния, проведя ладонью по своим каштановым волосам, словно в напоминание о лысине Джереми.– Он вообще-то ничего, как вы находите?

Оставив Пита кормить павианов, они двинулись вверх, по лестнице обогнули площадку с другой стороны и оказались прямо перед пробитыми в стене окнами кабинета Джереми. Вирджиния распахнула стеклянную дверь.

– Привет, Бивень,– окликнула она хозяина,– пришли вас побеспокоить.

Джереми забормотал что-то галантно-непринужденное, но так и не докончил фразу. Ему вдруг вспомнилась сложенная на уголке стола коллекция курьезов. Встать и сложить книжки в шкаф значило привлечь к ним внимание, газеты прикрыть их под рукой не было и не было других книжек, чтобы перемешать все в беспорядке. Делать было нечего. Да, нечего делать, глядишь, как-нибудь обойдется. Он очень на это надеялся, но тут же произошло самое худшее. Бесцельно, просто чтобы занять руки, Вирджиния потянулась к томику Нерсиа, открыв его на одной из особенно выразительных гравюр, небрежно взглянула, и глаза ее расширились, впились в рисунок,– раздался вопль изумления, смешанного с восторгом. Доктор заглянул ей через плечо, разразившись таким же воплем, и оба принялись хохотать, как безумные.

Не находя места от смущения, Джереми стыдливо улыбался, пока они добивались от него правды: ах так, значит, вот как он проводит свои рабочие часы, это, стало быть, и изучает. Господи, думал он, ну почему люди так загрубели, почему они столь удручающе бесчувственны.

Вирджиния, перелистывая страницы, нашла еще одну иллюстрацию. Опять вопль восторга, изумления и на сей раз –

неверия. Да таких книг не бывает! Неужели могли напечатать вот это? Она попробовала разобрать подпись под гравюрой: «La volupte frappaita toutes les portes» [32], сердито тряхнула головкой. Что за чепуха, ни словечка не поймешь. В школе были уроки французского – жуткая тягомотина, ничего больше. Хоть бы двум-трем фразам научили, а то все сплошь какой-то «Le crayor de mon oncle» да savez-vous planter le chou» [33]. С самого начала она говорила, что эти уроки никому не нужны, вот и доказательство. И вообще, зачем это книжки по-французски печатать? При мысли, что изъяны образования по системе штата Орегон, вероятно, навеки лишат ее возможности прочесть Андре де Нерсиа, на глаза Вирджинии навернулись слезы. Ужас, ну просто ужас!

У Джереми мелькнула замечательная мысль. А не предложить ли, что он переведет ей книжку с листа, абзац за абзацем, как синхронист на заседании совета Лиги Наций? В самом деле, отчего не попробовать? Идея определенно нравилась ему все больше. Так и сделаем, решил он, уже прикидывая, как бы ей об этом сообщить словно между делом, но в эту минуту доктор решительно забрал томик из рук Вирджинии, присовокупив к нему три остальных тома, лежавшие на столе, а также «Le Portier des Carmes» и «Сто двадцать дней Содома» и рассовав всю эту маленькую библиотеку по карманам.

– Не огорчайтесь, мой ангел,– сказал он Вирджинии.– Я вам все это переведу. А теперь назад к павианам. Пит, наверное, тревожится, куда мы подевались. Не составите ли нам компанию, мистер Пордейдж?

Не проронив ни слова, хотя внутри у него все кипело от досады на собственную неумелость, подкреплявшейся возмущением наглостью доктора, Джереми последовал за ними через дверь в нише, выходившую на лестницу.

Пит уже опустошил свою корзину и, держась руками за сетку, рассматривал возню обезьян в вольере. Услышав их шаги, он обернулся. Молодое прекрасное лицо пылало восторгом.

– Послушайте-ка, док,– сказал он,– по-моему получается.

---

[32] Страсть билась во все двери (*фр*.).

[33] Это карандаш моего дядюшки... вы умеете выращивать капусту? (*фр*.)

– Что получается? – осведомилась Вирджиния.

Улыбка, посланная Питом в ответ, светилась счастьем. Он и вправду был счастлив, еще как! Дважды, трижды счастлив. Вирджиния была после ленча такой милой, такой обворожительной – он совсем позабыл, с какой горечью наблюдал, как она внимает каким-то пакостям. Может, история не такая уж пакостная была, а он только унижает ее своими подозрениями, плохо о ней думает без всякого повода. Да что там, ничего пакостного не могло быть, ведь, когда она подняла на него глаза, выглядела она совсем как та девочка из Библии с картинками, благоговейно, с трепетом взирающая на Христа, Который вещает с горы: «Ибо их есть Царствие Небесное». И еще была причина почувствовать себя счастливым. Пит был счастлив, поскольку те культуры из кишечной флоры карпа, которые они пересадили павианам, кажется, создали ожидаемый эффект.

– Я так думаю, они явно лучше себя чувствуют,– объяснял он.– Смотрите, шерсть-то как лоснится.

Радость ему это доставляло не меньшую, чем присутствие Вирджинии здесь, рядом с ним, в слепящих, скрашивающих все недостатки лучах предзакатного солнца, и он вспоминал, как ласково она с ним говорила, и чувство абсолютной ее неискушенности крепло в нем. Каким-то непонятным образом помолодевшие павианы и восхитительная прелесть Вирджинии сопрягались для него – не только с друг другом, но и с правотой защитников Испанской республики, с антифашизмом: все было чем-то единым. Такое разное и вместе с тем одно... В школе он, помнится, учил наизусть чьи-то стихи – как это там сказано:

О милая, любить тебя так сильно
Не мог бы я, другое (что именно, он забыл напрочь)
не любя.

Сам-то он другого, кроме Вирджинии, любить не в силах. Но хорошо, что его так сильно увлекает наука, а также справедливое дело, хорошо, что своим товарищам по Испании он верен непоколебимо, от этого ведь и его любовь становится еще глубже, чище, еще – вот парадокс – безраздельнее.

– Ну что, пойдете? – спросил он. Доктор Обиспо взглянул на часы.

– Совсем забыл. Надо до ужина написать несколько писем. Что поделаешь, навещу мистера Проптера в другой раз.

– Жаль, очень жаль.– Пит изо всех сил старался придать этой фразе искренность, сожаления вовсе не чувствуя. Наоборот, все устраивалось как нельзя лучше. Он преклоняется перед доктором Обиспо, это выдающийся, необыкновенный исследователь, но не тот человек, с которым следует водить компанию юному невинному существу вроде Вирджинии. Эта жесткая прямота, этот обозленный цинизм могут дурно на нее воздействовать. И кроме того, доктор отчего-то вечно ему мешает, как только дело касается его любви.– Очень жаль,– повторил он, и от радости понесся по лестнице, ведшей от вольера к шоссе, чуть не перепрыгивая через ступени, так что сердце гулко заколотилось, сбившись с ритма. Проклятый миокардит!

Доктор Обиспо сделал шаг в сторону, пропуская Вирджинию, и, подмигнув ей, похлопал себя по карману, где лежали «Сто двадцать дней Содома». Вирджиния понимающе мигнула в ответ и последовала за Питом.

Минуту спустя доктор двинулся вверх по шоссе, а остальные пошли вниз. Вернее, шли Пит и Джереми; Вирджиния, и мысли не допускавшая куда бы то ни было добираться пешком, восседала на своем мотоцикле цвета клубники со сливками и, кокетливо придерживаясь за плечо Пита, позволяла себя катить, благо дорога шла под уклон.

Шум из вольера понемногу стих, за ближайшим поворотом путникам предстала нимфа Джанболоньи, все так же неутомимо выбрасывающая воду из своей мраморной груди. Вирджиния, весело болтавшая о Кларке Гейбле, вдруг резко переменила тему и голосом, пылавшим возмущением, выпалила, словно дама из комитета нравственной цензуры: «Ума не приложу, зачем дядя Джо эту дылду тут поставил! Какая гадость!»

– Гадость? – откликнулся пораженный Джереми.

– Да, гадость! – с чувством повторила она.

– Вы находите нескромным, что она неодета? – спросил он, вспоминая две дразнящие полосочки белого шелка, которые видел на ней в бассейне.

Она досадливо поморщилась.

– Да нет, вы посмотрите, откуда вода бьет.– Лицо у нее было такое, словно она проглотила что-то очень противное.– Ужас, правда?

– Но почему? – не унимался Джереми.

– Потому что ужас.– Других объяснений у нее не находилось. Дитя своего века, который оказался, среди прочего, эпохой бутылочек-сосок и противозачаточных пилюль, она чувствовала себя оскорбленной столь чудовищной откровенностью, не шокировавшей в прежние времена. А вот она считает, что это ужас что такое, и спорить тут не о чем. Повернувшись к Питу, она снова принялась за Кларка Гейбла.

Напротив входа в грот отыскалось местечко припарковать мотоцикл. Каменщики закончили работу и ушли; у могил никого не было. Воздавая должное памяти погребенных, Вирджиния поправила косо сидящую капитанскую шапочку, потом взбежала по ступеням, остановилась осенить себя крестом и, войдя внутрь, минуту постояла на коленях перед распятием. Остальные молча ждали на дороге.

– Пресвятая Дева так обо мне заботилась, когда прошлым летом у меня был свищ,– объяснила она Джереми, вернувшись из грота.– Я потому и попросила дядю Джо устроить часовню. Сам архиепископ приезжал освятить, здорово, а? – она уже адресовалась к Питу. Тот кивнул согласно.

– И с тех пор я даже не простудилась ни разу. Потому что Она меня хранит,– ворковала Вирджиния, усаживаясь на мотоцикл. Лицо ее просто горело от восторга, ведь любое деяние Владычицы Небесной было и личной победой Вирджинии Монсипл. Вдруг к полной неожиданности для спутников Вирджиния, словно шла кинопроба и от нее потребовали изобразить, как ей, уставшей, жаль саму себя, положила руку на лоб, тяжко вздохнула, произнесла удрученно, подавленно:

– Ой, что-то совсем я вымоталась. На солнце, наверное, пересидела после ленча. Пожалуй, лучше вернусь, немного полежу.– И с нежностью, но твердо отвергнув предложение Пита проводить ее в замок, развернула мотоцикл, послала молодому своему ухажеру особенно пленительную, почти влюбленную улыбку – «всего хорошего, Пит, миленький»,– и, включив скорость, ракетой понеслась под усиливающееся чиханье и грохот вверх по круто петляющей дороге, чтобы через мгновенье исчезнуть из виду. Пять минут спустя у себя в будуаре она уже пила, нацедив из фонтанчика, банановую смесь, заедая ее шоколадом. А доктор Обиспо, расположившись в позолоченном кресле, которое было обито шелком couleur

fesse de nymphe [34] – читал ей вслух и переводил из первого тома «Ста двадцати дней».

## 8

Мистер Проптер сидел на скамеечке под самым большим своим эвкалиптом. Горы на Западе уже казались плоским силуэтом, подсвеченным вечерним солнцем, но к северу, прямо перед ним вершины склонов все еще были оживлены светотенью, играя красками – розоватой, золотистой, темносиней. Прилепившийся к ним замок окутывался романтическим одеянием, поражавшим своим великолепием. Мистер Проптер переводил взгляд с замка на холмы, потом на бледнеющее небо, которое светилось через недвижные листья эвкалипта; прикрыв веки, он беззвучно произнес ответ кардинала Берюэлля [35] на вопрос «Что есть человек?». Прошло уж тридцать лет с лишним, как он написал свою работу о кардинале, когда и был им впервые прочитан этот ответ. И уже в ту пору он поразил Проптера своей пышностью, соединенной с точностью,– истинный образец красноречия. Минуло время. накопился новый опыт, и теперь Проптер находил в этих словах больше, чем красноречие,– в них открылись богатый неявный смысл, глубокое сокровенное значение. «Что есть человек?» – неслышно прошептал он.– «Ничто, окружаемое Богом, испытывающее необходимость в Боге, способное обрести Бога и Богом наполняемое, если того захочет». А что есть Бог, обрести Которого человек способен? Мистер Проптер вспомнил определение, которым Джонатан Таулер [36] открывает «По стопам Христа» «Бог есть бытие, отчужденное от живущих, вольное могущество, чистая способность к созиданию». Стало быть, человек есть ничто, окружаемое бытием, которое отчуждено от живущих, и испытывающее необходимость в этом бытие, способное обрести вольное могущество и наполниться чистым созиданием, если того захочет. Если – мысль Проптера с неожиданной и неотступной печалью влеклась к этому «если».

---

[34] Цвета ягодиц нимфы (*фр*.)

[35] Пьер де Берюэлль (1575–1629) – кардинал, философ-янсенист и противник Ришелье; основал первый монастырь кармелиток во Франции.

[36] Джонатан Таулер (1687–1765) –английский теолог.

Ведь сколь немногие из людей хотят, а когда хотят, сколь немногие знают, чего добиваться и как этого добиться! Истинное знание, пожалуй, такая же редкость, как подлинная воля употребить это знание во благо. А среди тех немногочисленных, кто взыскует Бога, большинство по невежеству своему обретают лишь такие образы своих же собственных устремлений, как Бог войны, или Бог избранной нации, или Бог, внемлющий молитвам, или Спаситель.

Достигнув этой ступени отрицания, мистер Проптер, которому явно изменила способность держать себя в руках, предался еще менее радостным мыслям относительно всевозможных и даже очень реальных невзгод дня текущего. Ему вспомнилась утренняя беседа с Хансеном, который служил у Джо Стойта, занимаясь делами, связанными с принадлежащей Стойту землей. С мигрантами, приехавшими на сбор фруктов, Хансен обращался хуже некуда. Их было много, деньги им были нужны позарез, и он этим пользовался, чтобы свести плату до минимума. На плантациях, находившихся под его управлением, детей заставляли работать под палящим солнцем целый лень, а платили два-три цента в час. Когда к ночи они возвращались домой, их ждали кишащие паразитами сараи, которые стояли на пустыре у самой реки. За койку в таком хлеву Хансен взимал десять долларов ежемесячно. Десять долларов – столько и выкладывай за удовольствие дрожать от холода или задыхаться от спертого воздуха, ворочаясь в вонючей отсыревшей конуре, где блохи и клопы всю ночь не дают покоя, а в итоге пожалуйста: то воспаление глаз, то, еще хуже, аскаридиоз или амебная дизентерия. И ведь человек-то Хансен совсем неплохой, добрый – брось при нем камнем в собаку, он будет страшно возмущен, а защитить оскорбленную женщину, обиженного ребенка кинется не раздумывая. Как-то Проптер заметил ему, что странно, до чего он становится бесчувственным на службе,– Хансен потемнел от гнева.

– Но это совсем другое дело,– сказал он.

Проптер желал понять, отчего другое.

Оттого, что это мой долг, объяснил Хансен.

Какой долг может повелевать, чтобы с детьми обращались хуже, чем с невольниками, и обрекали их на болезни?

Долг перед хозяином плантации. Для себя Хансену ничего не нужно.

Простите, но какая разница, делаете вы зло, поскольку этого требует чей-то интерес, или по собственной охоте? Ведь и в том, и в другом случае творится зло. Жертвы одинаково страдают, исполняете ли вы, по вашим словам, свой долг или действуете в согласии со своими интересами, какими они вам видятся.

Тут уж Хансен не сдержал гнева, излившегося потоком дикой брани. Все понятно, заключил Проптер, просто разбушевался человек доброжелательный, но глупый, которого выводит из себя необходимость поневоле задуматься над вещами, для него разумеющимися само собой. Очень ему не хочется размышлять над этими материями, так как и он сознает, что, предавшись подобным мыслям, окажется вынужден либо действовать по-прежнему, однако с циничным ощущением, что поступает скверно, либо же, если цинизм непереносим, изменить всю свою жизнь с тем, чтобы явилась гармония между стремлениями к истине и реальными фактами, открывшимися, едва он взглянул на себя как бы со стороны. А ведь большей частью крутая перемена для людей нежелательнее, чем любая циничность. Единственный способ избежать самого этого выбора состоит в том, чтобы какой угодно ценой сохранить неведение, которое позволяет человеку, творя зло, утешать себя верой в то, будто этого требует его долг – перед обществом, перед пайщиками, семьей, городом, штатом, отечеством, верой. И бедняга Хансен никак не исключение; у него не так уж много власти, а стало быть, возможностей творить зло, однако поступает он точно так же, как прочие слуги общества, государственные деятели, прелаты, которые всю жизнь тем одним заняты, что преумножают людские беды и несчастья, действуя так во имя своих идеалов либо же направляемые своими категорическими императивами.

Да, с грустью заключил мистер Проптер, от мыслей о Хансене на душе не полегчает. Может, обратиться к Джо Стойту? Прежде Джо просто отказывался его слушать, крича, что плантациями не занимается, ими ведает Хансен. Очень удобное алиби; ясное дело, Джо не очень-то сдвинешь с места.

От Хансена и Стойта мысли его перенеслись на только что приехавшую семью из Канзаса, которой он предоставил один из своих домиков. Трое полуголодных детей, у которых уже гниют зубы; жена, изнуренная Бог весть сколькими болезнями, уже совсем обессилевшая, впавшая в глубокую апатию; и муж – то

заходится злобой, то скулит, как побитый пес, чередует ярость с безразличием.

Он позвал этого канзасца с собой, они вместе набрали на огороде овощей, зарезали кролика – пусть семья поужинает. Свежуя кролика, он должен был выслушивать все эти неистовые маловразумительные сетования пополам с руганью. Канзасец жаловался на невезение, ругал торговцев зерном – обязательно собьют цену, когда урожай неплох. И банки: он назанимал, а возвращать ссуды нечем. И засуху с ее палящими ветрами, это из-за нее ферма превратилась в сто шестьдесят акров выжженной, одичавшей земли. И неверную удачу, которая вечно от него отворачивается. И мерзавцев соседей, всю жизнь его травят, шагу не дадут ступить.

Какая печальная, какая знакомая история! С несущественными вариациями он ее слушал тысячи раз. Случалось, рассказывали ее издольщики с глубокого Юга – те выбились из сил, пытаясь что-то выжать из арендованного участка, а потом хозяева погнали их на все четыре стороны. А бывало, человек, вот как этот канзасец, владел собственной землей и оказывался согнанным, только не магнатами, а силами природы, которые сделал разрушительными он сам, потому что напрочь извел траву да сеял одну пшеницу. И еще попадались работники, которых выгнали с места тракторы. Все они ринулись в Калифорнию, словно в землю обетованную, Калифорния же, быстро их сделав толпой кочующих батраков, грозит затем превратить в касту неприкасаемых. Но только святые, размышлял мистер Проптер, да, только святые способны, батрача или обращаясь в партию, остаться чистыми сердцем, потому что только святые примут такой удел с благодарностью, словно бы они его выбрали по собственной охоте. Бедность и страдание возвышают лишь в тех случаях, когда они добровольны. А подневольные страдания и бедность делают человека только хуже. Скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, чем насильно обращенный в бедняка достигнет Царствия Небесного. Взять хоть этого канзасца. Как на нем, бедолаге, сказались подневольные страдания и бедность? Насколько успел заметить мистер Проптер, канзасец вымещает свои горести, скотски третируя тех, кто еще слабее, чем он сам. Господи, как он орет на детей. Знакомо, слишком знакомо и знаменательно тоже.

Освежевав и выпотрошив кролика, мистер Проптер прервал и монолог своего постояльца.

– А вам известны самые наивные слова в Библии? – вдруг спросил он.

Изумленный, явно чуть шокированный канзасец покачал головой.

– Вот они,– сказал мистер Проптер, протягивая ему тушку.– О «ненавидящих меня без вины».

Встав под эвкалиптом, он тяжело вздохнул. Какая Докука растолковывать несчастным, что – до известной степени, конечно,– они сами повинны в своих невзгодах, Доказывать, что в силу природы вещей невежество и глупость наказуемы не менее сурово, чем зло, причиняемое осознанно. Тяжко, что и говорить, и все же, он убежден, объяснять это необходимо. Ибо какой же может быть проблеск надежды, вопрошал он себя, какой хотя бы мизерный шанс остается для человека, искренне верящего, что его беспричинно ненавидят, а сам он ничуть не виноват в преследующих его бедствиях? Ясное дело, ни малейшего. Как ни грустно, но жестокая истина состоит в том, что не бывает беспричинных бедствий, равно как ненависти, и что хотя бы отчасти причины было бы по силам предотвратить тем самым людям, которые терпят бедствия и подвергаются ненависти. Прямо ли, косвенно, однако они сами какую-то ответственность за это несут. Прямо – поскольку делают глупости или поддаются озлоблению. Косвенно – оттого что отказались поступать разумно и в согласии с добром, хотя могли бы. А отказались прежде всего по той причине, что склонны бездумно принимать нормы своей среды и подчиняться утвердившемуся образу поведения. Мистер Проптер опять подумал о невезучем канзасце. Самонадеянный тип, неуживчивый – к тому же, ясное дело, плохой работник, но и это не все. Самое скверное, что мир, где он обретается, канзасец склонен считать естественно устроенным, рациональным, правильным. Подобно всем прочим, он допустил, чтобы его желаниями манипулировали составители рекламных полос, счел счастье тем же самым, что владение собственностью, а благополучие мерит суммой, которую может потратить в лавочке. Подобно всем прочим, даже не задумывается, как по-умному вести хозяйство,– ему лишь бы снять с поля побольше да продать подороже, он и сейчас так думает, хотя поле вообще ничего не приносит. Тогда, подобно всем прочим, он берет

ссуду в банке, залезает в долги. А под конец, подобно всем прочим, догадывается о том, что специалисты говорят уж десятки лет,– в полузасушливых зонах почву сохраняет живой только трава, скоси ее – наступит бесплодие. Так и произошло с его землей.

Теперь канзасец сделался батраком и парией, и эта метаморфоза только помогла усилиться всему худшему, что в нем есть.

Св. Петр Клаверский – о нем, занимаясь историей, мистер Проптер тоже написал работу. Когда в бухту Картагены прибыли невольничьи корабли, Петр Клаверский был единственным из белых, кто отважился спуститься в трюмы. Там, в невыносимой жаре и духоте, среди гноя и экскрементов он выхаживал больных, исцелял язвы, оставшиеся от наручников, раскрывал объятия свои для людей, впавших в отчаяние, и обращал к ним слова утешающей любви – но вместе с тем не забывая напомнить им про грехи. Про их грехи! Сегодняшний филантроп посмеялся бы над этим святым, если не передернулся от возмущения. А все же – к своему выводу мистер Проптер пришел после долгих размышлений, внутренне ему противясь, – все же Петр Клаверский, видимо, поступал правильно. Разумеется, не вполне правильно, ибо, даже действуя с самыми лучшими намерениями, нельзя быть до конца правым, если основываешься на ложной вере. Однако правильно, насколько это вообще возможно для чистого душой человека, исповедующего католические взгляды, еще не поколебленные Реформацией. Правильно в том смысле, что твердо знал: какие бы ни складывались обстоятельства, человек непременно найдет причину, чтобы уклониться от обязанности творить добро, и основания для противоположных действий, последствия которых необходимо нейтрализовать. Правильно и в том отношении, что считал долгом напоминать даже претерпевшим жестокое надругательство над собой об их собственных пороках.

Представления Петра Клаверского о мире имеют тот недостаток, что они неверны, однако достоинство их в простоте и цельности, какие отличают хорошую драматургию. Коль скоро Бог, дарующий отпущение, может быть обретен каждым, а Небо и Ад являются для человека абсолютными реальностями, и такое значение придается эфемерностям вроде добрых намерений или непоколебимой веры в некоторые ложные

догматы, коль скоро, наконец, признают единственную истинную церковь, почитают действенным пастырское поучение, а священному тексту сообщают магический смысл,– коль скоро дело обстоит именно так, становится очень легко убедить даже вчерашнего дикаря, обращенного в раба, что он греховен, объяснив, почему его долг состоит в том-то, а не в ином. Но когда единого сакрального текста нет, и нет единственной святой церкви, равно как представительствующего пастыря или заветной магии, когда Бог никому не раздает индульгенций, когда, пусть мы говорим только о человеческой морали, вся она оказывается исключительно сложным переплетением причин со следствиями, и ничем более,– вот тогда растолковать, каким образом можешь ты справиться со своими пороками, разумеется, намного труднее. Потому что любая личность оказывается призванной не только неустанно поддерживать в себе добрую волю, но столь же неустанно оберегать свою способность разумного суждения. И даже этого мало. Ведь признав, что личность не абсолютна и что индивидуальности суть лишь обманчивые фикции своеволия, не умеющего, как ни катастрофичны последствия такой слепоты, опознать реальность надличного сознания, которое своеволием ограничивается и отрицается,– признав это, разве не надлежит каждому человеку направить свои усилия прежде всего к тому, чтобы надличное сознание обрело свою истинную значимость? А стало быть, даже разумное суждение в соединении с доброй волей недостаточно, стало быть, должно еще существовать постижение надличного, которым разум преобразуется и преодолевается. Многие призваны, но лишь немногие избраны, поскольку лишь немногим дано понять, в чем заключено спасение. Возьмем опять же этого канзасца... Мистер Проптер печально усмехнулся. Против бедняги обернулось буквально все, включая его фундаменталистскую ортодоксальность, его болезненный, воспаленный эготизм, и психическую неустойчивость, и умственную ограниченность. Положим, с первыми тремя изъянами еще можно было бы как-то справиться. А с четвертым? Природа вещей такова, что слабость не прощается.

Или как это там у Спинозы? «Человек заслуживает оправдания за то, чем он не способен быть, однако его все равно будут подвергать различным мучениям. Лошадь нельзя винить

за то, что она не человек, и тем не менее ей предписано оставаться не человеком, а лошадью». Но при всем том что-то, безусловно, необходимо сделать для людей вроде моего канзасца, только чтобы при этом не пришлось пагубным образом искажать природу вещей. Чтобы, например, не возвращаться к россказням о том, что некто зрит с неба происходящее на земле, или к более современным легендам, будто человеческие ценности абсолютны или будто воплощением Бога может стать какая-то нация, партия, пусть даже весь людской род. Несомненно, убеждал себя мистер Проптер, несомненно, что-то нужно сделать для этих людей. Канзасец поначалу стал было возражать, «слышав о переплетении причин со следствиями, о сложной их связи,– словно ему нанесли личное оскорбление. Но затем, поняв, что самого его никто не винит и никто ему ничего не навязывает, успокоился, слушал с интересом, кажется, даже кое-что уразумел. Постепенно его, глядишь, и удастся выучить чуть более реалистическому понимаю хотя бы будничной жизни, этого внешнего мира видимостей. А если придет такое понимание, возможно, не такой уж чрезмерной трудностью окажется для него чуть более реалистично взглянуть на самого себя, осознать собственное гипертрофированное «я» как фикцию, как своего рода нелепый сон, попусту раздражаемое ничто, впрочем, способное, если с этой воспаленностью будет покончено, наполниться Богом, тем Богом, который постигается и воплощается более чем в форме личного сознания – в качестве вольного могущества, чистой способности к созиданию, бытия, отчужденного от живущих... Вернувшись к исходному пункту, мистер Проптер вдруг понял, каким длинным, прихотливым, тернистым путем добрался он до того, с чего начал. Сюда, к этой скамейке под эвкалиптами он направлялся, намереваясь собраться с мыслями, ощутить, пусть лишь на миг, существование того иного сознания, которое сокрыто за собственными его мыслями и чувствами, испытать прикосновение к свободной, истинной воле, превосходящей волевые усилия его самого. Лишь этого он и хотел, однако утратил сосредоточенность, и тут же нахлынули воспоминания, пошли разные рассуждения – словно разом взлетела стая птиц, отдыхавшая на волнах, и затмила, заставила потускнеть солнце. Тяжкое бремя – вот что такое жизнь личности, и это бремя с неистощимой изобретательностью, с упорством воистину

удивительным личность будет оберегать. Цена свободы – это неослабевающая сосредоточенность, а он ослабил внимание. И не в том причина, что дух взыскует, но тело не может, с грустью подумалось ему. Эта антитеза изначально неверна. Дух взыскует вечно, однако человек, который есть единство духовного с телесным, всегда противится велениям духа,– а ведь человек, если разобраться, существо отнюдь не слабое, напротив, сильное чрезвычайно.

Он еще раз оглядел горы, бледное небо, проступавшее сквозь листья, стволы эвкалиптов – серое с переходами к розовому, пурпурному, нежно желтоватому, – и опять смежил веки.

«Ничто, окружаемое Богом, испытывающее необходимость в Боге, способное обрести Бога и Богом наполняемое, если того захочет». А что есть Бог? «Бытие, отчужденное от живущих, вольное могущество, чистая способность к созиданию». Сосредоточенность его мало-помалу перестала достигаться мобилизацией воли, подавлявшей не относящиеся к делу мысли, желания, чувства. Постепенно все такие мысли, желания, чувства отошли, словно осев на дно, как мутный осадок в колбе, а когда с этим было покончено, сосредоточенность преобразилась в некое не требующее целенаправленных усилий видение: оно было четким, оставаясь непринужденным, соединяло в себе напряженность с покоем,– и он теперь мог осмыслить слова, с которых потянулась цепочка его рассуждений, а вместе с тем сопоставить их смысл с окружающим. Но окружающим было само его видение, ибо сосредоточенность, преобразившаяся в целенаправленное видение,– что она, как не проявление, пусть частное и произвольное, того надличного. не ведающего земных тревог сознания, куда канули произнесенные им слова, медленно в него погружаясь. А погружаясь, они обретают новое значение, потому что видение, сопутствующее им, развертывается до свои: предельных глубин, причем это значение касается не самих по себе предметов, словами обозначенных, но скорее порождено тем, что иначе стало восприниматься слово, из интеллектуального символа сделавшись чем-то интуитивным, непосредственным, и вот уже природа человека в ее различных возможностях, природа Бога в истинном Его бытие постигаются посредством неких аналогов в чувственном твоем опыте, как будто ты прямым образом со всем этим соприкоснулся.

Суетное ничто его бытия ощутило себя преображенным тем, что он почувствовал свою способность обрести душевную чистоту и покой, отринув желания и неприятия, – тем, что испытал блаженную свободу от всего личного...

Звук приближающихся шагов заставил его поднять голову. По тропе к скамейке под эвкалиптами шли Питер Бун и тот англичанин, с которым он утром ехал в машине. Мистер Проптер приветливо помахал им рукой и улыбнулся. Ему нравился этот юноша, Пит. Вот вам природный ум и природная доброта, а к тому же умение тонко чувствовать, щедрость души, необманчивое благородство побуждений и всего поведения. Замечательные, достойнейшие качества! Очень жаль, что сами по себе, не направляемые истинным знанием природы вещей, они неспособны помочь торжеству добра и явно не будут вознаграждены спасением, как это понимается всеми разумными людьми. Золото неподдельное, но пока что только руда – непромытая, необработанная. Как знать, со временем мальчик, возможно, научится с этим золотом по-настоящему обращаться. Для начала надо бы, чтобы у него явилась охота этому выучиться, а также отучиться преклонению перед многими вещами, которые он пока почитает самоочевидными и прекрасными. Трудно ему будет подобного достичь, по-своему не менее трудно, чем тому несчастному канзасцу.

– Добрый вечер, Пит,– сказал он,– присаживайтесь. Молодец, что привели мистера Пордейджа.– Он сдвинулся на середину скамьи, освобождая им место по обе стороны от себя.– Ну как, познакомились с нашим Людоедом? – спросил он у Джереми, махнув по направлению к замку.

Джереми кивнул, крепко усмехнувшись.

– Да, вы говорили, у него и такое прозвище в школе было. Как вспомню, сразу легче с ним разговаривать.

– Бедняга Джо,– сказал мистер Проптер.– Считается, что толстяки люди счастливые. А кому, скажите, понравится, чтобы тебя вечно дразнили? Знаете, они на вид часто добродушны, сами над собой подтрунивают, но это так, профилактика. Лучше самому накачать себя юмором, чтобы не слишком больно ранили насмешки других.

Джереми рассмеялся. Такие материи ему хорошо известны.

– Да, не самый плохой способ защиты,– заметил он.

Мистер Проптер кивнул.

– Только, к сожалению, Джо им не захотел пользоваться. Он был из тех толстяков, которые предпочитают переть напролом. Драться предпочитают. Запугивать врагов, поощрять клевретов. Выпендриваться, задираться. Он такой был мальчишка, чтобы про него заговорили, обязательно купит девочке мороженое, хотя для этого нужно тайком залезть бабушке в кошелек. Сколько хочешь лови его на этом, бей, запугивай адом,– он поверит, но все равно украдет снова. Бедняга Джо таким вот и остался на всю жизнь,– он опять указал на замок.– Вот, полюбуйтесь, монумент в честь нарушенного обмена веществ. Кстати, об обмене веществ,– обратился он к Питу,– как продвигаются опыты?

Пит подавленно размышлял о Вирджинии, в сотый раз себя спрашивал, отчего она их покинула, не обидел ли он ее чем, и правда ли она устала или, возможно, скрывает что-то? Когда мистер Проптер заговорил об опытах, лицо его посветлело. «Все идет отлично»,– сказал он и с горячностью, мешая жаргон и профессиональные термины, коротко рассказал о полученных ими результатах у мышей, а теперь, кажется, также и у собак, у павианов.

– Предположим, вы своего добьетесь,– спросил мистер Проптер,– что тогда станется с собаками?

– Как что? Будут дольше жить,– с энтузиазмом отозвался Пит.

– Да, конечно, понимаю. Но меня интересует другое. Собака – это ведь не до конца развившийся волк. То есть скорее волчий зародыш, чем настоящий волк, так?

Пит кивнул.

– Иначе говоря, собака существо покладистое, с нею легко обращаться по той причине, что дикой она так и не сделалась. Насколько могу судить, эволюционное учение как раз предполагает некий механизм перехода от формы к форме, правильно?

Пит опять кивнул.

– Есть определенное сочетание желез,– объяснил он.– Затем происходит мутация, и это сочетание разрушено. Возникает новое, и оно имеет свойство задерживать развитие. Организм растет, однако настолько медленно, что смерть наступает намного раньше, чем будет достигнуто состояние зародыша его прапрадеда.

– Вот именно,– сказал мистер Проптер.– Так что же произойдет, если вы продлите жизнь животного, которое эволюционирует описанным вами образом?

Пит, смеясь, пожал плечами.

– Не могу сказать, посмотрим – сказал он.

– Боюсь, получится не совсем хорошо, если эти ваши собаки, живя дольше обычного, начнут эволюционировать вспять,– сказал мистер Проптер.

Теперь Пит хохотал от души.

– Вообразите себе картину: идет по бульвару респектабельная старая дама, и вдруг на нее накидывается ее собственный пекинес.

Мистер Проптер с любопытством взглянул на него и минуту молчал, словно ожидая, что Пит продолжит свою мысль. Но продолжение не последовало.

– Что же, очень хорошо, что вы так довольны своими результатами,– сказал он. И, повернувшись к Джереми: – Однако же, поправьте меня, мистер Пордейдж, если ошибусь, однако же, став крепким, словно дуб, едва ль ты лучше станешь...

– И триста лет, как дуб, прожив, ума едва ль добавишь,– с удовольствием, какое всегда доставляла ему вовремя вспомнившаяся цитата, докончил улыбающийся Джереми.

– Любопытно, чем бы мы занялись, дожив до трехсот? – задумчиво проговорил мистер Проптер.– Как вам кажется, вы бы таким и остались – ученым, джентльменом?

Джереми кашлянул, провел ладонью по лысине.

– Ну, уж само собой, джентльменом остаться было бы невозможно,– ответил он.– Волею Всевышнего джентльмены почти перевелись уже сейчас.

– Однако ученый все так же писал бы свои исследования?

– В Британском Музее и без того книги ставить некуда.

– Так. А вы, Пит? – сказал мистер Проптер.– Вы бы в триста лет по-прежнему сидели за микроскопом?

– Естественно, почему нет? Почему не заниматься наукой, пока жив? – Пит говорил взволнованно, убежденно.

– Так-таки пока жив, целую вечность! А вам бы не надоело? Ну, еще эксперимент, еще один. И книга, и опять книга.– Проптер покосился на Джереми.– То есть не успеешь одно скачать с шеи, как уж за новое приниматься пора. Вы не боитесь, что от этого рассудок помутиться может?

– Не вижу причины,– ответил Пит.

– Стало быть, время вас не пугает. Пит помотал головой.

– Да отчего же оно должно пугать?

– Лучше объясните, отчего не должно.– Мистер Проптер смотрел на него, приветливо улыбаясь. - Время, знаете ли, обременяет заботами, да так изрядно.

– Ничего подобного, просто не надо бояться, что состаришься, умрешь.

– Все равно,– стоял на своем мистер Проптер,– даже если этого не страшишься. Время ведь в самом себе таит нечто ужасное, такова его природа, если можно так выразиться.

– Природа? – Пит смотрел на него непонимающе.– Извините, о чем вы? По своей природе время таит в себе нечто ужасное?

– Разумеется, подразумевая текущее время,– вмешался Джереми.– Если же обратиться ко времени минувшему, окаменевшему... к архиву Хоберков, например...– Фраза осталась недовершенной.

– Прекрасно, прекрасно сказано,– заметил мистер Проптер, сразу уловив, к чему ведет Джереми.– Только, видите ли, история есть нечто нереальное. С дистанции лет прошлое воспринимается как сплошное зло; а кроме того, постижение прошлого тоже происходит во времени. Вот вы фрагмент за фрагментом восстанавливаете это окаменевшее зло, и такое занятие приходится признать эрзацем переживания вечности, ничем иным.– Он с любопытством посматривал на Пита, пытаясь предугадать, как тот отнесется к сказанному. Рискованно, конечно, так вот сразу брать быка за рога, начиная с самого существа проблемы и обнажив ее сокровенный смысл,– опасность в том, что реакцией собеседника окажется только недоумение, да еще хорошо, если не насмешливое передразнивание. Пит, судя по всему, просто растерялся, однако его недоумение, похоже, сдерживается пробудившимся интересом, ему хочется понять, к чему весь этот разговор.

Джереми, однако, все больше чувствовал, что их беседа стала принимать весьма нежелательный характер.

– Простите,– сказал он, не скрывая своего недовольства,– о чем, собственно, мы с вами толкуем? О земном рае?

Мистер Проптер примиряюще улыбнулся.

– Помилуйте, я ни словом не помянул ангелов, на арфе бряцающих.

– Ну, и на том спасибо,– ответил Джереми.

– Видите ли, мне всегда докучали отвлеченные рассуждения,– сказал мистер Проптер.– Я стараюсь, чтобы слова подразумевали за собой определенные факты. Оттого меня и занимает вечность, психология ощущения вечности. Ведь она как раз факт.

– Для вас, возможно, и так,– отозвался Джереми, давая понять, что над людьми более утонченными подобные обольщения власти не имеют.

– Не для меня одного, а для каждого, кто соблюдает условия, необходимые, чтобы ощутить вечность.

– Но какая необходимость соблюдать эти условия?

– А какая необходимость ехать в Афины осматривать Парфенон? Только та, что Парфенон того стоит. Вот и с вечностью то же самое. Чтобы ощутить вечность добра, право же, стоит приложить столько усилий, сколько потребуется.

– Вечность добра! – в голове Джереми звучала язвительная ирония.– Ума не приложу, что это значит.

– Конечно, для вас может не значит ничего,– парировал мистер Проптер.– Ведь, строго говоря, много ли значит Парфенон для того, кто Парфенона не видел?

– Согласен, согласен, но я же видел снимки, читал описания.

– Описания вечного добра вы тоже читали,– заметил мистер Проптер,– Причем не один десяток. Они есть чуть не в любом труде по философии, по религии. А вы прочли множество таких трудов, и тем не менее билет в Афины не купили.

Обиженно промолчав, Джереми, однако, вынужден был в глубине души согласиться, что сказанное попало в точку. А оттого, что попало в точку, недовольство беседой у него лишь усилилось еще больше.

– Что же касается времени,– теперь мистер Проптер обращался к Питу,– так в данном контексте оно есть не что иное, как особая среда, в которой зло укореняется, посредством которой существует и вне которой умирает. Вдумайтесь, время ведь даже больше, чем элемент зла, больше, чем посредническая среда для него. Если уж анализировать до конца, выходит, что время – это и есть зло. Или одно из проявлений сущности зла.

Джереми прислушивался со все усиливающимся беспокойством и раздражением. Страхи его оправдывались, старика повлекло в теологию самого скверного свойства. Вечность, вневременное существование добра, время как

сущность зла – нет уж, увольте, подобное и в книгах-то, Бог свидетель, тошно читать, а когда то же самое без обиняков утверждает, прямо в глаза тебе выпаливает человек, как видно, всерьез все это толкующий, становится совсем не по себе. Удивительно, почему это люди не хотят вести жизнь разумную и цивилизованную? Почему не желают принять вещи такими, как они есть? Завтрак в девять, в половине второго ленч, а в пять чай. За чаем беседа о чем-нибудь приятном. Ежедневная прогулка с мистером Гладстоном, йоркширским терьером. И библиотека: сочинения Вольтера в восьмидесяти трех томах: книги Хорейса Уолпола [37] – истинное сокровище, которого никогда не исчерпать; для разнообразия погрузишься в «Божественную Комедию», а почувствовав, что слишком уж увяз в средневековье, всегда можно перейти к автобиографии Салимбена или к чосеровской истории про Мельника. Днем, случается, забредут гости – то местный настоятель, то леди Фредегонд со своей слуховой трубкой, а то мистер Вил. Тогда пойдут разговоры о политике, правда, в последнее время, после аншлюса и Мюнхена, эти темы стали неприятны и лучше их избегать. Раз в неделю поездка в Лондон, ленч в клубе «Реформа» [38], непременный обед со стариком Триппом из Британского Музея, да еще поболтаешь о том, о сем с братом, с незадачливым этим Томом из Форин-офиса (увы, и эти разговоры в последние месяцы быстро становились неприятными, так что приходилось избегать и их тоже). Ну, и конечно Лондонская библиотека, и вечерняя служба в Вестминстерском соборе, особенно когда поют Палестрину; наконец, дважды в месяц визиты на Мейда-Вейл, в квартирку, которую занимают Мэй с Дорис,– его время от пяти до половины седьмого, всего полтора часа. На его языке это называется жалким падением в убогом окружении, однако же, удовольствие невероятное! Это вот и значит принимать вещи, как они есть, бестрепетно, разумно – так отчего другие не умеют? А ведь не умеют, им бы только все разглагольствовать про вечность и прочее в том же роде. Слыша подобные речи, Джереми неизменно испытывал искус кощунства, так бы взял да

[37] Уолпол, Хорейс (1717–1797) – английский писатель, один из создателей романа тайн и ужасов.

[38] Реформа» – лондонский клуб для элиты, основан в 1832 г.

спросил напрямик: а у Бога boyau rectum [39] имеется, или, как в том анекдоте про японцев, со всем смирением попросил бы объяснить ему, непонятливому, зачем Та Птичка не по-птичьи чирикает. Увы, на сей раз перед ним тот худший из всех возможных случаев, когда такие шалости исключены, так что тут ничего не поделаешь. Что ни говори, а старикан Проптер – автор «Этюдов», и от него просто так не отмахнешься, сочтя беднягу выжившим из ума. И к тому же христианства он ни словом не коснулся, а поэтому и проезжаться насчет антропоморфизма нет причины. Вот уж воистину: слушай да помалкивай. Джереми придал себе скучающее выражение, даже принялся тихо напевать «Пчелку на сирени». Пусть видят, он выше всей этой чепухи, у него нет охоты вести пустопорожние дискуссии в таком духе.

Какой смешной человечек, думал мистер Проптер, поглядывая на него, если, конечно, не принимать во внимание, какой он жалкий.

## 9

– Время и неутолимая жажда,– сказал мистер Проптер,– время и неутолимая жажда суть разновидности одного и того же, а именно, почва, откуда произрастает зло. Так что можно убедиться, Пит,– голос его смягчился,– можно убедиться, в каком специфическом настоящем вынудите вы нас обитать, если ваши опыты приведут вас к успеху. Еще целое столетие, а то и побольше, придется нам тащить на себе груз времени и неутолимой жажды. Иначе говоря, вы нам грозите добавить еще два жизненных срока, заполненных потенциальным злом.

– Но и потенциальным добром,– возразил Пит протестующе.

– Да, и потенциальным добром,– согласился мистер Проптер.– Беда, однако, в том, что это добро осуществится лишь очень нескоро после того, как истечет срок, добавленный нам вашими стараниями.

– Но почему же, объясните?

– А потому, что потенциальное зло заключено во времени, добро же – нет. Чем дольше живешь, тем – автоматически – больше соприкасаешься со злом. Но с добром никто не соприкасается автоматически. Нельзя обрести больше добра

[39] Прямая кишка (лат.)

просто оттого, что дольше ходишь по земле. Занятно,– размышлял он вслух,– что внимание всегда сосредоточивали на проблеме зла. Полностью. Как будто природа добра самоочевидна. Но ведь это не так. Существует проблема добра, и решить ее по меньшей мере столь же сложно, как постигнуть, что такое зло.

– Так в чем же решение? – спросил Пит.

– Решение очень просто и по существу своему неприемлемо. Истинное добро находится вне времени.

– Вне времени? Но тогда каким же образом...

– Я ведь признаю, что решение неприемлемо,– сказал мистер Проптер.

– И все-таки, если оно вне времени, то значит...

– Значит, все, что во времени, не может быть истинным добром. Время есть потенциальное зло, а неутолимая жажда обращает эту потенцию в реальность. Тогда как совершенное во времени действие способно оказаться при самом лучшем исходе только потенциальным добром, более того, эта возможность осуществляется исключительно вне времени, если осуществляется вообще.

– Хорошо, пусть так, и все же, оставаясь во времени, ну, совершая обыкновенные поступки, мы ведь иногда делаем правильные вещи. Какие-то же из этих поступков служат добру, разве нет?

– Строго говоря, никакие,– ответил мистер Проптер.– Но на практике, думаю, допустимо те или иные действия называть благотворными. Я бы назвал служением добру любое действие, помогающее освобождению тех, кто в это действие вовлечен.

– Освобождение? – недоверчиво отозвался Пит. Слово это для него обладало только одним смыслом: экономическое освобождение, революция. Однако ясно было, что мистер Проптер вовсе не подразумевает необходимость покончить с капитализмом.– Освобождению от чего?

Мистер Проптер не спешил с ответом. Стоит ли продолжать? – подумалось ему. Англичанин уже надулся, а этот юноша явно ничего не смыслит, да и уйдут они скоро. Впрочем, Пита отчасти можно извинить, он хотя бы готов слушать непредвзято, а его стремление все на свете улучшить по-своему трогательно. Так что, пожалуй, надо договорить все до конца.

– От времени,– сказал он.– Освобождению от неустанной жажды, от разочарований, негодований. И от всего личного.

– Но послушайте,– встрепенулся Пит,– вы же постоянно рассуждаете о демократии. А разве демократия не означает уважения у личности?

– Само собой,– согласился мистер Проптер.– Демократия уважает личность, поскольку цель демократии – сделать так, чтобы личность сумела выйти за собственные пределы. Рабство, фанатизм – все это заставляет лишь еще более увязнуть во времени, во зле и в личностном. Оттого и важны демократические установления, равно как скептический склад ума. Чем более уважаешь личность, тем несомненнее поймешь, что она всегда обречена существовать в темнице. По сути, добром следует признать все, помогающее эту темницу разрушить. А настоящее добро лежит лишь за стенами темницы, вне времени, там, где начинается чистое, бескорыстное самосознание.

– Я не очень силен в абстракциях,– сказал Пит.– Вы бы не могли привести примеры? Вот, допустим, наука. Она чему служит, добру?

– И добру, и злу, а случается, ничему не служит, все дело в том, как ею заниматься и как пользоваться. Для ученого, во всяком случае, она способна знаменовать собой как благо, так и зло, или ничего не знаменовать, ну как для гуманитария, для художника все что угодно или ничего знаменует собой искусство. Наука служит добру, когда помогает освобождению, если же не помогает, но и не препятствует,– в этом случае она не служит ничему; однако она становится злом, когда, искушая еще больше замкнуться во всем личностном, осложняет путь к освобождению. А кроме того, самоочевидное бескорыстие ученого, как, впрочем, и художника, вовсе не обязательно означает истинную свободу от бремени личностного. Ученые, художники – это люди, посвятившие себя тому, что, за неимением более точного слова, мы называем идеалом. А идеал – это что такое? Да всего лишь возведенное в немыслимо высокую степень личностное сознание.

– Повторите, пожалуйста,– попросил Пит и даже Джереми, совсем оставив старания выглядеть скучающим интеллектуалом, которому все это давно приелось, слушал теперь со всем вниманием.

Мистер Проптер повторил сказанное, добавив:

– Таковы любые идеалы, исключая высший, а им является освобождение – от личностного, от времени, от неутолимой

жажды, освобождение во имя слияния с Богом, если мистер Пордейдж позволит мне воспользоваться этим словом. Многие бы не позволили. Слово это принадлежит к числу тех, которые особенно шокируют потомков миссис Гранди [40], населяющих наш интеллектуальный мир. Насколько могу, всегда стараюсь щадить их предвзятость. Так вот, возвращаясь к служителям идеала,– его порадовало, что Джереми не смог сдержать улыбки, как ни старался.– Если служат они какому угодно идеалу, кроме высшего, ну, скажем, идеалу красоты, пленяющему художников, или идеалу научной истины, или тому, что принято называть идеалом добра, а он особенно притягателен для гуманитариев,– во всех этих случаях они служат не Богу, но чему-то заключенному в них самих, только придав этому сверх всякой меры раздутое значение. Могут служить очень даже преданно, только и эта преданность, как присмотришься, тоже подразумевает личностное. Кажущееся несвоекорыстие поэтому и оказывается не освобождением от «я», но просто другой формой рабства. Иначе говоря, наука может стать для ученого злом, даже если им самим она воспринимается как избавление. И касается это не только вашей науки, а искусства тоже, и гуманитарных интересов, и культурологических штудий.

Джереми ностальгически вспомнил свою библиотеку в Араукариях. Старый безумец, да отчего же он не желает принимать вещи, как они есть?

– А если говорить не об ученых, просто о людях, – не унимался Пит,– им-то наука помогла стать свободными?

Мистер Проптер кивнул.

– Но поспособствовала и тому, что они сделались еще большими пленниками личностного. Я и определеннее скажу: она скорее усугубила рабство, чем высвободила из него, и в дальнейшем будет только усугублять, причем все несомненнее.

– Это почему же?

– Потому что надо помнить, как ею пользуются,– ответил мистер Проптер.– Пользуются ею прежде всего с военными целями. Самолеты, снаряды, пушки, о каких и не думали, газы – и с каждым новым таким изобретением возрастают страх, ожесточенность, всюду начинает бушевать националистическая истерика. То есть, чем изощреннее оружие, тем людям труднее

[40] Кумушка, любительница пересудов.

встать над собственным интересом, тем сложнее освободиться от этих своих ужасных личностных побуждений, которые они именуют идеалами – патриотизм, героизм, честь и все прочее. Да ведь и другие приложения науки, не столь опасные, тоже не очень-то радуют. Потому что чем все это увенчивается? Только тем, что становится больше и больше вещей, которыми можно владеть, а значит, выдумывают новые стимулы, чтобы их приобретали, и убеждают, что обилие таких вещей – это вот и есть благополучие, заставляют тебя поверить, будто все это тебе нужно, будто в этом и состоит счастье.

Но по сути-то, когда вот так непрерывно уговаривают приобретать, рабство наше укрепляется, и еще больше оно укрепляется, когда обладание вещами завладевает всеми нашими мыслями. А вы еще грозите увеличить наш жизненный срок, пусть, значит, мы лишние два-три десятка лет будем подвергаться такому стимулированию, и возжелаем, чтобы вещей у нас стало еще больше, и совсем уж ошалеем от размахивания флагами, от ненависти к врагам, от страха перед воздушными налетами, то есть так и будем поколение за поколением все глубже увязать в трясине всего личностного.– Он тряхнул головой.– Нет уж, не обессудьте, ваших восторгов перед наукой я никак не могу разделить.

Воцарилось молчание; Пит хотел и не решался спросить мистера Проптера, что он думает о любви. В конце концов счел за лучшее не касаться этой темы. Вирджиния – это святое. (Только вот почему, почему она их бросила у грота? Чем он ее обидел – не так сказал, не то сделал?) Стараясь отвлечься от этих тревожных мыслей, но также и потому, что ему хотелось услышать мнение старика Проптера насчет еще трех вещей, которые он считал исключительно важными, Пит спросил;

– Ну, а что вы думаете о социальной справедливости? Я имею в виду – да хотя бы Французскую революцию. Или русскую. И как, на ваш взгляд, обстоит дело с Испанией, ведь там действительно идет борьба против фашистской агрессии, за свободу, за демократию.– Он старался говорить совершенно бесстрастно, словно ученый, которому интересна только истина, однако голос его при последних словах стал слегка подрагивать. Хотя выражения вроде «фашистской агрессии» были теперь очень в ходу (а может, именно по этой причине), они обладали способностью волновать Пита до глубины души.

– Французская революция породила Наполеона,– сказал мистер Проптер, немного помолчав.– А Наполеон породил немецкий национализм. Из-за национализма немцев произошла война 1870 года. А война четырнадцатого года породила Гитлера. Таковы дурные последствия Французской революции. Были и хорошие: освобождение крестьян, усиление политической демократии. Взвесьте все эти последствия на двух чашках весов – сами увидите, какая перетянет. То же самое проделайте, определяя последствия революции в России. На одной чашке – уничтожение царского режима, капитализма, на другой – Сталин, тайная полиция, эпидемии голода, лишения, которые уже двадцать лет терпят полтораста миллионов людей, да добавьте еще ликвидацию интеллигентов, кулаков, старых партийцев, да не забудьте о лагерях, куда согнаны орды рабов; а еще – всеобщая воинская повинность, даже и для женщин, даже для детей и стариков; а еще – пропаганда всемирной революции, заставившая буржуазию побыстрее придумать фашизм.– Мистер Проптер печально махнул рукой.– Или возьмите битву за демократию в Испании,– продолжал он.– Совсем недавно эта битва за демократию бушевала по всей Европе. Обоснованные предсказания возможны только на основе свершившегося опыта. Так вот, припомните, чем кончилась война четырнадцатого года, и тогда судите сами, много ли шансов, чтобы после долгой войны республиканцам удалось создать либеральный режим. Впрочем, пока верх берут их противники, так что вряд ли нам надо увидеть, во что превратили бы под конец этих либералов обстоятельства, не считающиеся с их добрыми намерениями, и собственные страсти.

– Но, черт возьми,– взорвался Пит,– что же, по-вашему, должны делать люди, когда на них нападают фашисты? Дожидаться, пока им перережут горло?

– Ни в коем случае,– возразил мистер Проптер.– Они, вне всякого сомнения, должны оказать сопротивление. А мой прогноз основывается просто на вынесенном из опыта знании, как люди себя в подобных условиях проявляют. Хотя согласен: сам факт, что проявляют они себя чаще всего именно таким образом, отнюдь не говорит, что нельзя проявить себя иначе и лучше. По опыту я предполагаю, что поведут они себя, однако, так, как я сказал. И тот же опыт заставляет меня предполагать, что, если это случится, последствия будут ужасными.

– И как, по вашему мнению, следует поступать? Посиживать, сложа руки?

– Нет, не посиживать – действовать. Но только с умом.

– А что значит – «с умом»?

– При всех условиях избежать войны. Как и насильственной революции. Да и вообще, мне кажется, насколько возможно, следовало бы избегать политики.

– Допустим, и что тогда?

– Вот это нам и нужно понять. Все самое главное уж достаточно ясно. Однако в том, что относится к практике, многое еще предстоит продумывать.

Пит почти не слушал. Мысли его вернулись в Арагон, где жизнь была наполнена высшим смыслом.

– Но вспомним о тех ребятах в Испании,– опять с горячностью заговорил он.– Вы же их не знаете, мистер Проптер. Удивительные ребята, правда – удивительные. Никогда тебе гадости не сделают, а храбрые какие, и верные... да что говорить.– Он никак не мог подобрать нужных слов, страшась выставить себя в смешном свете, если сказанное прозвучит высокопарно, как у этих кичливых интеллектуалов.– Они не ради себя жили, уж поверьте, мистер Проптер.– В глазах его, устремленных на собеседника, мелькнуло что-то просительное, словно бы он умолял принять свои высказывания всерьез.– Они жили ради цели, которая была намного больше личного интереса, ну вот как вы говорили, ничего личностного не было у них, я-то знаю.

– А как насчет других ребят, которые у Гитлера? – перебил его мистер Проптер.– Которые у Муссолини. У Сталина. Вы думаете, они не такие храбрые, что ли, или не так друг другу преданы и в дело свое верят не так безоговорочно, не считают, что оно абсолютно справедливо, достойно, истинно, что сражаются они за свободу, защищают великие принципы? – Он смотрел на Пита, ожидая возражений, но тот молчал.– Когда люди выказывают прекрасные качества, из этого еще вовсе не вытекает, что их действия благородны. Можно обладать полным набором таких качеств, исключая два, которые по-настоящему важны – понимание и сострадание, да, так вот, можно обладать всеми остальными и при этом оказаться чуть ли не чудовищем. Больше скажу, истинное чудовище как раз непременно обладает большинством подобных добродетелей. Возьмите хоть Сатану у Мильтона. Он храбрый, сильный, великодушный, преданный,

рассудительный, он взвешивает каждый свой поступок, он готов пожертвовать собой. Давайте же и о диктаторах судить по справедливости: в большинстве своем они наделены почти всеми теми же добродетелями, что и Сатана. Ну хорошо, не всеми, но все-таки. Вот оттого им и удается творить так много зла.

Пит хмуро молчал, опустив локти на колени.

– И все-таки,– заговорил он наконец,– было такое особое чувство. Связывало нас. Ну знаете, товарищество, только даже больше, чем обычное товарищество. Очень необычное было чувство, что вот мы вместе, и вместе сражаемся ради общей цели, а цель эта стоит того, чтобы себя не жалеть, а опасность рядом, и дожди, и жуткий холод по ночам, хотя летом дни жаркие, страшно жаркие, пить все время хочется, но терпишь, потому что у нас все общее, и даже вши, и грязь, и все плохое, но хорошее тоже – знаешь, что завтра, возможно, твой черед, а возможно, кого другого из ребят, но уж кого-то обязательно увезут в полевой лазарет (у них там вечно с анастезией был непорядок, еще хорошо, если при ампутациях и прочем таком наркоз сделают), или даже не в лазарет, прямо на кладбище. Вот так-то, мистер Проптер, и уж меня-то вы не убеждайте, что все это было попусту.

– Нет, сами по себе ваши переживания, конечно, бессмысленными не были,– сказал мистер Проптер.

Джереми почувствовал, что можно предпринять контратаку, и ринулся на противника с жаром, мало ему свойственным.

– Но согласитесь, то же самое можно сказать насчет собственных ваших заключений о вечности и всем остальном.

– Охотно соглашаюсь,– откликнулся мистер Проптер·

– А коли так, где же объективные доказательства?

Только чувство, которое само по себе не бессмысленно, вот и все.

– Да, для себя оно не бессмысленно. Но что значит «само по себе»? Иными словами, какова природа этого чувства?

– Это уж вам лучше знать,– Джереми придал своему лицу маску комического недоумения, высоко подняв брови.– Я знать этого не могу.

Мистер Проптер улыбнулся.

– А я знаю, что вы просто не хотите знать. И не прошу, чтобы вы дали себе труд в этом разобраться. Довольно того, что факты у нас имеются. Чувство, о котором мы говорим, есть

надличностное ощущение гармонии, лежащей вне времени. То есть означает оно надличностное, гармоничное и вневременное. А теперь посмотрим, о каких переживаниях рассказывал нам Пит. Все это переживания сугубо личностные, вызванные ситуациями, привязанными ко времени, и отмеченные некоторой экзальтированностью. Стало быть, означают они всего лишь одно: обостренное ощущение своего «я», чему способствуют время и неутолимая жажда.

– Но нельзя же уравнивать самопожертвование с обостренным ощущением своего «я»! – возразил Пит.

– Можно, и вот почему,– стоял на своем мистер Проптер.– Почти без исключений это одно и то же. Самопожертвование ради чего угодно, кроме высшей Цели, есть приношение на алтарь идеалов, а значит, то же самое что проецирование собственного «я» вовне. То, что на обыденном языке зовется самопожертвованием, по сути означает принесение каких-то сторон личности в жертву другим, или же готовность поступиться одними ее чувствами и побуждениями ради Других,– хотя бы вот так: побуждение, стимулируемое жаждой богатства или эротических наслаждений, при. носится в жертву, чтобы личность удовлетворила иные свои побуждения – желание видеть саму себя причастной к чему-то высшему, потребность испытать чувство солидарности или ненависти, вызываемую так называемым патриотизмом или прочими разновидностями фанатизма – политического, религиозного.

Пит с недоумением покачал головой, улыбаясь.

– Иногда,– сказал он удрученно,– вы рассуждаете почти как доктор Обиспо. Ну, знаете, очень цинично.

Мистер Проптер расхохотался.

– Да ведь цинизм – это прекрасно,– отозвался он.– Надо только уметь остановиться вовремя. А вообще-то большинство вещей, которые нас учили почитать и боготворить, ничего иного, кроме цинизма, и не заслуживают. Вы вот на самого себя взгляните. Вас учили преклонению перед идеалами – патриотизм, социальная справедливость, наука, романтичная любовь. Вбивали вам в голову, будто такие качества, как верность принципу, упорство, мужество, благоразумие, хороши сами по себе и при любых обстоятельствах. Вам талдычили, что самопожертвование – всегда в высшей степени замечательно, что благородные чувства – это всегда самые прекрасные чувства. А все это чепуха, набор фикций, понадобившихся,

чтобы человек мог оправдаться за то, что отринул Бога и не желает вернуться к Нему, предпочитая все больше увязать в своем эгоизме. Если не научишься с непоколебимой и сознательной циничностью воспринимать всю высокопарную трескотню, которую на тебя обрушивают епископы, банкиры, профессора, политики и все прочие, дело твое кончено. Безнадежно кончено. Так тебе и суждено навеки остаться узником своего «я», всего лишь личностью в сонме других личностей, а мир личностей – он ведь и есть наш мир, где властвуют жадность, страх, ненависть, где торжествуют война, капитализм, диктаторские режимы, рабство. Да, Пит, это необходимо – способность быть циничным. И в особенности относительно поступков или чувств, которые вас приучили почитать хорошими. По большей части ничего хорошего в них нет. Это просто зло, которое – так уж вышло – почитают приемлемым. Однако приемлемое зло, увы, ничуть не лучше зла неприемлемого. Книжники и фарисеи, если разобраться, нисколько не добродетельнее откупщиков и грехе обретающихся. Да что там, порой они еще намного хуже.· По нескольким причинам. Их принято уважать, они проникаются уважением к самим себе, а ничто так не распаляет эгоизм, как подобное самолюбование. И кроме того, откупщики, греховодники – это не более чем животные во образе человеческом, так что им просто недостанет ни хитрости, ни самообладания, чтобы причинить особенный ущерб. Тогда как книжники и фарисеи обладают всеми добродетелями, за вычетом двух, по-настоящему важных, и смекалки им хватает на все, кроме понимания истинного характера нашего мира. Откупщики да грешащие – эти всего лишь развратничают, объедаются, пьют до одури. Те же, кто разжигают войны, кто обращают ближних своих в рабов, те, кто не останавливаются ни перед пыткой, ни перед убийством и сеют ложь во имя своих великих начинаний, словом, действительно скверные люди – они-то никогда не повинны ни в разврате, ни в прочих грехах. О нет, они люди исключительно достойные, в высшей степени добродетельные, и чувства у них самые утонченные, а мысли самые выдающиеся, ну, а уж идеалы – благороднее не бывает.

– Короче говоря,– заключил Пит с досадой, на грани отчаяния,– по вашей логике получается, что сделать человек не может решительно ничего. Так?

– И да, и нет,– с неизменным своим спокойствием ответил мистер Проптер.– Если вы подразумеваете все собственно человеческое, то есть относящееся ко времени и направляемое неутолимой жаждой, я полагаю, что двух мнений тут быть не может: как ни верти, ничего сделать нельзя.

– Но вы же проповедуете обреченность! – воскликнул Пит.

– При чем тут обреченность, я лишь стараюсь трезво смотреть на вещи.

– И все равно, не может так быть, чтобы сделать ничего нельзя было!

– Не вижу смысла в ваших «может быть», «не может быть».

– А что же те, кто добиваются преобразований и всего такого? Послушать вас, выходит, они попусту тратят время?

– Тут все зависит от того, как они сами воспринимают свою деятельность,– сказал мистер Проптер.– Если сознают, что их стараниями всего лишь найдены временные паллиативы от различных бедствий, если относятся к себе как к людям, которые добросовестно пытаются перекрыть существующие источники зла направив его энергию по иным, несколько измененные каналам, у них есть основания рассчитывать, что труд их будет вознагражден. А вот если полагают, что им удастся искоренить зло, сделав так, что на его месте произрастет добро, тогда – вся история не может нас в этом не убедить – они действительно понапрасну тратят силы.

– Но отчего добро не может произрасти там, где было зло?

– А отчего мы обязательно разобьемся, если выпрыгнем из окна на одиннадцатом этаже? По той причине, что такова природа вещей. И в силу той же природы вещей, оставаясь в границах сугубо человеческого, ограниченного временем и неутолимой жаждой, преумножить мы способны только зло. Вам угодно действовать в таких границах, руководясь идеалами, обычными для этого сознания и вовлекаясь в обычные для него начинания? – пожалуйста, но с вашей стороны было бы безумием ожидать, что зло претворится в добро. Да, это было бы безумием, ибо опыт должен бы вас научить, что в этих границах добро вообще невозможно. Существуют лишь разные степени и различные проявления зла.

– Так что же вы бы рекомендовали человечеству?

– Прошу вас, не надо со мной говорить так, словно это я во всем виноват,– сказал мистер Проптер.– В конце концов, не я же придумал этот мир.

– Все равно, что, по-вашему, надлежит делать?

– Видите ли, если есть потребность в еще невиданных разновидностях зла, тогда пусть все идет, как идет. А если есть стремление к добру, надо менять всю тактику. И самое замечательное,– мистер Проптер говорил теперь энергично, уверенно,– самое замечательное, что ведь она существует, тактика, способная помочь торжеству добра. Мы уже убедились, что в границах сугубо человеческого добиться этого никак нельзя, вернее, что в этих границах можно предпринимать бесконечно много усилий, только ни одно из них добром не увенчается. Однако возможно, да, возможно достичь настоящего эффекта, если выйти за эти границы – туда, где добро и обретается. Так что, Пит, вы напрасно думаете, будто я проповедую обреченность.

Я просто подхожу к проблеме как стратег. И считаю, что раз уж неизбежно сражение, лучше затевать его при таких условиях, когда имеется хотя бы какой-то шанс победить. И думаю, что, возжелав добыть золотое руно, разумнее отправляться туда, где оно хранится, а не вытаптывать пастбище для обыкновенных овец, хотя бы при этом вы совершали подвиги изумительные.

– И где же нам развернуть это сражение?

– Там, где обретается добро.

– А где оно обретается?

– Обретается оно ниже границ человеческого и выше их. В царстве физиологических начал, а также... ну, выбирайте сами, как это назвать: царство вечности или, если позволите, Божие, может быть, духовное царство, только нет в нашем лексиконе понятия более расплывчатого, чем духовность. Если искать добро ниже границ человеческого, то оно – в совершенстве функционирования организма, который строго подчиняется установленным для него законам. А если выше, то вы его найдете, проникнувшись пониманием, что в мире не должно быть ни вожделения, ни отвращения, прикоснувшись к вечному, что означает преодоление личностного, сумев претворить сознание, чтобы оно освободилось от ограниченности, навязываемой вашим «я». Пока вы поглощены сугубо человеческой деятельностью, добро вам недоступно, так как подобная деятельность не позволяет ему осуществиться – ни ниже границы человеческого, ни выше. Ведь, оставаясь в этих рамках, мы сверх всякой меры одержимы мыслями о времени, о

своей индивидуальности и о тех ее продолжениях, которые называем политикой, идеалами, религиями. А в итоге? В итоге нас, одержимых временем и самими собой, испепеляет неутолимая жажда и точит неудовлетворенность. Но разве эта жажда, эта тоска – в страхе ли она проявляется, в жадности или в тревоге,– разве не они всего губительнее для организма, отказывающегося работать нормально? Все наши физические недуги, все хвори имеют своей причиной жажду и тоску – вопрос лишь в том, сказываются они на нас впрямую или опосредованно. Мы не можем обрести покоя, мы все чего-то добиваемся, а расплачиваемся за это высоким давлением, инфарктами, туберкулезом, желудочной язвой, неврастенией, неспособностью сопротивляться инфекции, сексуальными расстройствами, шизофренией, самоубийством. Уж не поминая всего прочего.– Мистер Проптер безнадежно вздохнул. – От этой вечной неудовлетворенности мы даже видеть начинаем хуже. Вовсю стараемся все как следует разглядеть, а картинка выходит совсем неясная, чем больше усилий. И тело у нас скрюченное – все от того же: никак не отвлечемся от забот о том, что нам завтра ли сегодня предстоит сделать, и поэтому горбимся, сутулимся, а организм начинает работать все хуже и хуже вот вам и следствие. Словом, пока мы не вырвались за границы человеческого, нам не дано осуществить то физиологическое, то инстинктивное добро, которое от природы могли бы воплощать. И то же самое, mutatis mutandis [41], относится к области, лежащей выше границ человеческого. Оставаясь в этих границах, мы себя лишаем возможности осуществить то духовное, то вневременное добро, к которому способны как насельники вечности, потенциально причастные к созерцанию высшей красоты. Мы снедаемы тревогой, мы томимы нашей жаждой, а поэтому самих себя лишили даже возможности преодоления личностного, познания – сначала интеллектуального, затем непосредственного, из прямого опыта,– каков в действительности мир, где мы живем.

Какое-то время все молчали, затем мистер Проптер сказал, улыбаясь:

– По счастью, мы, как правило, не в состоянии вести себя подобающим человеку образом все время. Забываем про свою жалкую индивидуальность, про эти ее ужасные устремления к

[41] С соответствующими поправками (*лат.*)

идеальному и, забыв, отдаемся животным инстинктам, а они безвредны. Тогда у организма появляется возможность функционировать в согласии со своими законами, и стало быть, осуществлять то здоровое, что ему дано осуществить. Только поэтому мы еще сохраняем крупицы разума и пока держимся на ногах. Даже в городах четырем жителям из пяти удается окончить свои дни мирно, а не в лечебнице для психопатов. Будь каждый и впрямь законченной индивидуальностью, туда же отправились бы и четверо остальных. Но судьба хранит нас: мы не умеем быть последовательными, и животное начало, за редкими исключениями, обязательно напоминает о себе. Да и помимо этого, многих, а время от времени, наверное, даже всех посещает озарение, эти мгновенные вспышки, когда открывается картина настоящего мира, ясная, впрочем, только для тех, кто сумел покончить и с пленом времени, и со своими неземными поползновениями,– вот они-то действительно знают, какой была бы жизнь, если бы мы не предпочли, отринув Бога, отдаться во власть собственных страстей. Теряем на минуту контроль над собой, и происходит такая вспышка, однако в тот же миг жажда и тревога настигают нас снова, а вот уже луч угас, затемненный нашим личностным разумением, безумными нашими идеалами, преступными замыслами, политическими амбициями.

Опять наступило молчание. Солнце зашло. За горами на западе догорали на зеленоватом небе бледные желтые отблески, сменявшиеся густеющей синевой. Выше уже разлились краски ночи.

Пит сидел неподвижно, вглядываясь в темную, но еще мерцающую полоску над северным хребтом. Речи Проптера, поначалу такие бесстрастные, а затем одушевившиеся неукротимым пафосом, потрясли его и повергли в растерянность, в тоску: ведь камня на камне не оставалось от всего, чему он стремился служить со всею страстью, но было в услышанном и обещание чего-то куда более заслуживающего этого верного служения – только вот чего именно? Что же, думал он, придется все еще раз взвешивать и взвешивать, начав с чистой страницы,– заново размышлять о науке, и о политике, и может быть, даже о любви, о Вирджинии. Неизбежность этого страшила его, однако что-то в нем ей и радовалось; и сам старик Проптер, посеявший смуту в его душе, раздражал, но и притягивал неодолимо – не только тем, как держался, еще

больше своей восхитительной и, насколько Пит мог судить, неподражаемой уникальностью: всегда к тебе расположен, ничего не требуя взамен, и ум у него такой ясный, сильный, такой изощренный, такой смелый, причем он никому себя не навязывает, но присутствие его чувствуешь все время и даже сильнее, чем чье-нибудь еще, потому что ни от кого не исходит столько жизненной энергии.

Джереми Пордейдж также не смог остаться безучастным к услышанному, мало того, почувствовал, как и Пит, что речи этого старика его смущают, и особенно по той причине, что некоторое смущение он уже успел испытать прежде. В сущности, идеи, которые развивал Проптер, для Джереми были не внове. Ведь он, разумеется, читал все основное, что было написано в таком роде,– еще бы, он себе никогда бы не простил невежества в этих вопросах, он же не дикарь, он читал Сан-кару и Экхарта, и палийские рукописи, и Откровение Иоанна Богослова, читал Шарля де Кондрана, Бардо, Патаджали, учеников Дионисия. Все это он прочел, поразмышлял, не следует ли ему каким-то образом осмыслить подобные идеи, но именно оттого, что его к ним потянуло, он приложил максимум усилий, чтобы превратить их в смехотворный вздор,– не только, когда беседовал на такие темы с другими, но прежде всего, когда о них задумывался сам. «Билет в Афины вы не купили» – бросил ему Проптер; черт возьми, глаз у него острый! Только для чего ему нужно обременять всем этим других? Мы же ничего не хотим, только пусть оставят нас в покое, дав возможность принимать вещи, как они есть. Пусть все идет, как идет,– и останутся книги в моем шкафу, мои скромные статьи, и леди Фредегонд с ее слуховой трубкой, и Палестрина, и пудинг с мясной начинкой в «Реформе» – они еще добавляют почки,– и Мэй с Дорис. Да, кстати, сегодня как раз пятница, будь он в Англии, отправился бы под вечер на Мэйда-Вейл. Он заставил себя позабыть о мистере Проптере, предавшись воспоминаниям о пятницах дважды в месяц, о розовых абажурчиках, запахе пота и пудры, о троянках – так он их прозвал за усердие,– облеченных в кимоно из универмага «Маркс энд Спенсер», об окантованных репродукциях шедевров Пойнтера и Альмы Тадемы (как забавно! живопись, для викторианцев воплощавшая собой Искусство, всего через каких-то два десятка лет превратилась в порнографические картинки, пригодные лишь висеть над ложем блудниц), наконец, и о механическом

соитии, таком деловом, грязном, производимом с абсолютной профессиональностью, без всякой поэзии, а вот для Джереми самое замечательное и было в этой деловитости, профессиональности, он их ценил куда больше всех поэм с лунным светом и романтическими декорациями, чем всевозможные лирические излияния и Liebestods [42]. Жалкое падение в убогом окружении! Оно и есть высшая утонченность, логичный выбор, сделанный человеком, у которого хороший вкус.

## 10

Послеобеденная поездка в город, по пятницам обязательная у мистера Стойта, на сей раз – какая редкость! – обошлась без каких-либо беспокойств. За неделю не произошло ничего скверного. Он беседовал с нужными людьми, давал указания, и никто не сказал, не сделал ничего такого, из-за чего бы он сорвался. Положение, судя по представленным отчетам, недурно. Япошки купили еще сто тысяч баррелей нефти. Цена меди поднялась на два цента. Спрос на бентониты [43] явно растет. Правда, не очень пока получается с запросами на банковские кредиты, зато эпидемия гриппа на этой неделе заметно повысила средние показатели Пантеона.

Все шло так хорошо, что мистер Стойт покончил с делами на час раньше, чем предполагал. Выкроилось свободное время, и он решил на обратном пути заехать к управляющему справиться, как там и что на плантациях. Разговор занял всего несколько минут, но их хватило, чтобы мистер Стойт вышел из себя и вернулся к машине, полыхая яростью.

– К Проптеру! – приказал он, захлопывая дверцу, и вздумал бы кто ему в эту минуту возразить.

Соображает этот Билл Проптер, что делает? – кипятился он про себя. Какого черта он лезет в чужие дела! Подумаешь, какая-то там шваль, заявившаяся сюда, как апельсины созрели – еще разводить из-за нее всю эту ерунду. Бродяги оборванные, мразь, отребье! Мистер Стойт особенно не выносил орды чумазых мигрантов, в которых являлась нужда, когда начинался сбор фруктов, и это было больше, чем заурядное отвращение

[42] Любовь до гроба (*нем.*).

[43] Глины, используемые для приготовления буровых растворов.

богача к бедным. Нельзя сказать, что ему осталось неведомым сложное сочетание страха и физической неприязни, задавленной жалости и стыда, который перерастает в хроническое раздражение, оттого что его прячут. Все это он знал. Но, помимо обычной, родовой нелюбви к обездоленным, даже перекрывая такое чувство, бушевали в нем эмоции особого рода. Мистер Стойт был богатый человек, который раньше обретался среди бедняков. За шесть лет, отделявшие день, когда он сбежал от отца и бабки в Нэшвилле, от того, когда его приютил в Калифорнии дядя Том, почитавшийся в их семействе изгоем, Джо Стойт, как ему казалось, изучил, что такое бедность, лучше некуда. И эти шесть лет одарили его несокрушимой ненавистью ко всему. что сопутствует нищете, и столь же несокрушимым, презрением ко всем, кто по глупости, слабости, невезучести не умеют выкарабкаться из ада, куда угодили волею обстоятельств и в силу происхождения. Бедные казались ему монстрами, не только оттого, что составляли потенциальную угрозу его общественному положению, не только по той причине, что их горести взывали к сочувствию, которого он в себе пробудить не хотел, но еще и потому, что становились напоминанием о тяготах, им самим когда-то испытанных, да и вообще, довольно того, что они отверженные,– стало быть, их можно только презирать, сознавая собственное превосходство. А раз уж ему самому пришлось вынести все, что они теперь терпят, только справедливо, чтобы они страдали, как ему выпало пострадать. И поскольку, не умея вылезти из нищеты, они ясно доказывают свое ничтожество, только правильно, чтобы он, который теперь богат, относился к ним без всяких оговорок как к презренному отродью, каким они и являются. Такой вот логикой направлялись побуждения мистера Стойта. И вдруг Билл Проптер, не поняв, видно, этой логики, начинает убеждать управляющего, что нельзя, мол, пользоваться наплывом мигрантов, чтобы сбить оплату, а наоборот, надо, видите ли, платить им больше – больше, нет, вы подумайте, ведь и так уж эта саранча скоро весь наш штат сожрет. Мало того, строй им, понимаешь, чистенькие домики вроде того, как этот старый дурень Билл у себя построил – на две комнаты, каждый такой домик влетит долларов в шестьсот, в семьсот – а для кого стараться-то? для швали этой, для их жен, для мелюзги ихней, грязные-то, Господи, сплошь во вшах, он их даже в свой приют

не пустил бы, ну только если там от аппендицита загибаться начнут или еще что, тогда уж, понятно, не откажешь. Ладно, Билл Проптер, видать, совсем из ума выжил. Причем не первый ведь раз суется. Проезжая через апельсиновые рощи, окутанные сумраком, мистер Стойт непрерывно поглаживал сжатый кулак левой ладонью.

– Сейчас я ему все выложу,– шептал он едва слышно, – все!

Пятьдесят лет назад, в школе только Билл Проптер его не доставал, не дразнил толстяком, а ведь Проптер и старше его был, и сильнее. Встретились они годы спустя, когда Билл преподавал в Беркли, а ему кой-чем удалось разжиться на перепродаже недвижимости, и он как раз стал заниматься нефтью. Отчасти из благодарности за то, как Билл к нему относился, когда они учились в школе, отчасти и с намерением продемонстрировать, на что он теперь способен, а значит, так все переиграть, чтобы ясно стало, кто из них двух побольше весит, Джо Стойту захотелось что-нибудь сделать для скромного ассистента кафедры. Но хотя зарплата у того была маленькая, а две-три тысячи в год, доставшиеся от отца, кто же всерьез считает, Билл Проптер не захотел для себя никаких милостей. Вроде был от души благодарен, говорил с ним так ласково, очень по-дружески, однако переходить в нефтяной трест «Консоль», где ему предлагалась солидная должность, отказался, все у него есть, говорит, и больше ничего не требуется. Зря Джо старался изменить баланс, показав свое превосходство, явно зря, поскольку, отказавшись от его предложения, Билл сделал кое-что такое, что заставило Джо, хоть и обозвал он школьного товарища круглым идиотом, втайне восхищаться им еще больше. Рождавшееся против его воли, это восхищение сопровождалось неприязнью к тому, кто вызывал восторг. Джо Стойт ощутил себя уязвленным тем, что Билл так сильно его к себе располагал. Лучше бы, несмотря на все недостатки, просто чувствовать к нему симпатию, без всяких причин. Однако недостатков у Билла почти не находилось, достоинств же – с избытком, причем как раз таких, которых сам Джо был лишен: ну, не наглость ли, что Билл и к постоянно демонстрирует. Оттого и выходило, что причины, по которым Билл его привлекал, оказывались в глазах Джо резонами, чтобы не выносить этого типа. Билла он называл дурнем, не иначе, и тем не менее видел в нем ходячий упрек себе самому. Впрочем, уж такой это получался упрек, что

общество Билла ему все равно нравилось. И они встречались, тем более что Билл обосновался на своих десяти акрах как раз там в долине, где мистер Стойт облюбовал место для замка, высившегося теперь над нею. Он хотел такого соседства, хотя всякий раз выходило так, что Билл его только раздражал –. любым своим словом, любым поступком. А сегодня постоянно им испытываемое раздражение, наложившись на вечную ненависть мистера Стойта к мигрантам, привело к взрыву.

– Вот покажу я ему сейчас,– повторял он снова и снова.

Машина остановилась, и не успел шофер открыть ему дверцу, как мистер Стойт уже пулей летел по тропе, которая вела от шоссе к бунгало его старого приятеля,– не осматриваясь, решительно, непреклонно.

– Привет, Джо! – окликнул его из-под эвкалиптов знакомый голос.

Мистер Стойт обернулся, всмотрелся в сумерки под деревьями и, ни слова не говоря, устремился к скамье, на которой сидели трое. «Добрый вечер»,– послышалось при его приближении, а Пит, завидев его, вежливо поднялся, уступил место. Не обратив на приветствие ни малейшего внимания, мистер Стойт сразу набросился на Проптера.

– Какого дьявола ты пристал к моему управляющему? – он почти срывался на крик.

Мистер Проптер взглянул на него, кажется, ничуть не удивленный. Он привык к таким вспышкам, давно уже поняв, отчего они случаются у бедняги Джо, и как в таких случаях себя вести, ему тоже было известно.

– Ты о чем это, Джо? – спросил он.

– Да о твоих разговорах с Бобом Хансеном, о чем же еще. Кто тебе разрешил вести эти разговоры у меня за спиной?

– Я обращался к тебе самому,– ответил мистер Проптер,– и ты сказал, что такими делами занимается Хансен. Ну, я и пошел к Хансену.

Все было столь нестерпимо логично, что мистеру Стойту оставалось лишь взреветь от досады. И он взревел:

– Ты ему мешаешь делать все как надо. Какого черта!

– Пит уступил тебе место,– заметил мистер Проптер.– А если хочешь, позади тебя есть стул. Ты бы присел, Джо.

– Некогда мне рассиживаться,– грохотал мистер Стойт.– Ты мне все-таки ответь. Какого черта! Что тебе взбрело в башку?

– Взбрело? – переспросил мистер Проптер, сохраняя полную невозмутимость. – Видишь ли, это взбрело в башку многим, и давно уже. Я не первый.

– Ты что, отвечать не хочешь?

– Да нет, просто кое-кому взбрело в башку, что работники – это люди. А не муравьи.

– Ты про эту рвань, что ли? Мистер Проптер повернулся к Питу:

– Вы садитесь, пожалуйста, садитесь.

– Значит, про эту рвань поганую. Ну, этого я не потерплю.

– А кроме всего прочего, – сказал мистер Проптер, – я человек практичный. В отличие от тебя.

– Это я-то непрактичный? – мистер Стойт зашелся возмущением.– Я непрактичный? Да ты посмотри, в каком доме я живу. Уж не твоей халупе чета.

– Совершенно верно. И это только доказывает, что я прав. Ты неискоренимый романтик, Джо, ты так романтически на все смотришь, вот тебе и кажется, что люди в состоянии работать, когда поесть как следует не могут.

– А, так ты задумал в коммунистов их превратить.– Слово «коммунисты» снова воспалило мистера Стойта, заодно дав оправдание его ярости, из личного каприза теперь сделавшейся идейной.– Значит, за коммунистов агитируешь, вот оно что.– Голос его дрожал, точно так же, как – с грустью отметил для себя мистер Проптер – полчаса назад дрожал голос Пита, рассуждавшего про «фашистскую агрессию». Любопытно, заметил ли это совпадение сам Пит, может, как-то ему об этом сказать?

– Агитатор паршивый,– кричал мистер Стойт с пафосом прокурора.

– Мы, кажется, говорили о том, как ты их кормишь,– сказал мистер Проптер.

– Знаешь, я тебя много лет терпел,– ответил мистер Стойт.– Ради старой дружбы. А теперь кончено. Надоел ты мне до чертиков. Еще эту рвань коммунизму обучать собрался! Приличным людям тут скоро вообще Жить нельзя станет.

– Приличным людям? – откликнулся мистер Проптер, чуть не засмеявшись, но сразу же овладев собой. Если этого безумца высмеять на глазах Пита и Пордейджа, он потом такое, глядишь, учинит, и поправить не удастся.

– Из этой долины я тебя выживу, не сомневайся,– орал мистер Стойт. – Уж будь спокоен, сил не пожалею... – Не докончив фразы, он секунду-другую лихорадочно подыскивал нужные слова; глаза его горели. Что-то зашумело в ушах, лицо прямо пылает – что же это я, а давление, а доктор Обиспо, этак и помрешь еще. Вспомнилась та надпись у него в спальне, сделанная огненными буквами: Страшнее нет, как в длани Господа живого очутиться. Не Того, о Ком Пруденс толковала, а другого, настоящего. Того, Кого чтили и отец, и бабка.

Глубоко вздохнув, мистер Стойт обтер платком лицо и шею, повернулся и, не сказав больше ни слова, двинулся прочь.

Мистер Проптер тут же побежал за ним и, несмотря на сердитые протесты мистера Стойта, взяв его за руку, пошел рядом.

– Хочу тебе кое-что показать, Джо, – сказал он.– Тебе, думаю, интересно будет.

– Ничего не буду смотреть, – процедил мистер Стойт сквозь вставные зубы.

Пропустив его слова мимо ушей, мистер Проптер повел его вокруг дома.

– Вот та штука, над которой долго бился Эббот из Смитсоновского института, – говорил он. – Ну знаешь, чтобы накапливать солнечную энергию.– Он на миг прервался, подзывая остальных, потом, опять повернувшись к мистеру Стойту, стал рассказывать дальше. – Видишь, намного компактнее, чем все прежние такие штуки. И работает, я тебе скажу, куда лучше.

Он описал систему подковообразных рефлекторов, нефтяных труб, нагреваемых до четырехсот, пятисот градусов по Фаренгейту, котел, где можно развести пар, если хочешь запустить двигатель под низким давлением, плиту, водонагреватель – можно и просто по дому использовать.

– Жаль, солнце уже зашло,– сказал он, когда осмотр был закончен.– Я бы тебе показал, как двигатель запускать. Всего неделя, как я его собрал, и он у меня на две лошади свободно крутит, по восемь часов каждый день. Неплохо, а? ведь сейчас январь. Летом от зари до зари не остановится.

Мистер Стойт старался хранить молчание – пусть Билл не думает, будто прощен, злость в нем не утихла; но уж очень любопытное было устройство, а главное, разве удержишься, когда Билл опять какое-то идиотство выдумал.

– Да на кой черт тебе эти две лошадки? и всего по восемь часов в день! – проворчал он.

– К генератору подключу.

– А генератор на кой тебе сдался? Тебе что, не хватает тока, какой из города дают?

– Конечно, не хватает. И вообще хочу понять, так ли уж я от города завишу.

– Зависишь – не зависишь, не все ли равно? Мистер Проптер усмехнулся.

– Не совсем. Потому что я верю в демократию по Джефферсону.

– Да при чем тут, скажи на милость, демократия по Джефферсону,– сказал мистер Стойт, с трудом сдерживая опять поднявшееся раздражение.– Что, нельзя Джефферсона уважать и чтобы из города ток подавали?

– Да в общем-то нельзя,– ответил мистер Проптер.– Почти нельзя.

– Это как же?

– Да вот так,– мягко подытожил он.

– Послушай, я ведь тоже за демократию,– сказано это было не без вызова.

– Знаю. Но при этом ты считаешь, что в своих делах ты полный хозяин, так что перечить никто не вздумай.

– Еще бы!

– Полных хозяев называют по-другому,– сказал мистер Проптер.– Диктаторами их называют.

– Это ты к чему?

– Да нет, просто констатирую факт. Ты за демократию и ты же глава дела, которое надо вести по-диктаторски. А подчиненным надлежит принять твою диктатуру, потому что ты им даешь работу, и значит, кормишь. В России дает работу и кормит правительство, так что зависят от него. Вы, наверное, считаете, что это шаг вперед, – он повернулся к Питу.

Тот кивнул.

– Я сторонник общественного владения средствами производства, – пояснил он.

Впервые о своих взглядах Пит говорил в присутствии нанимателя; он испытывал подъем, оттого что решился выступить пророком Даниилом.

– Общественное владение средствами производства, – повторил мистер Проптер. – Худо то, что правительства имеют

привычку рассматривать индивидуальных производителей тоже как средство производства. Сказать по правде, в качестве босса я предпочту Джо Стойта, а не Джо Сталина. Наш Джо, – он положил руку на плечо мистера Стойта, – наш Джо хотя бы к стенке не поставит и в тундру не сошлет, а кому он не нравится, тот может перейти к другому боссу, Джо мешать не станет. А вот тот другой Джо... – он покачал головой. – Впрочем, я не так уж добиваюсь, чтобы и наш Джо стал моим боссом.

– Да я бы тебя через день выгнал, – откликнулся мистер Стойт.

– Я вообще не хочу никаких боссов, – продолжал мистер Проптер. – Чем больше боссов, тем меньше демократии. Но когда люди не в силах прожить самостоятельно, приходится идти к боссу, чтобы он дал им заработать. Стало быть, демократии тем меньше, чем меньше самостоятельности. Во времена Джефферсона было много американцев, умевших самостоятельно заработать на жизнь. Экономически они были независимыми, и от правительства, и от большого бизнеса. Вот потому-то появилась наша конституция.

– Она у нас и сейчас есть,- заметил мистер Стойт.

– Безусловно, – согласился мистер Проптер. – А если бы пришлось сегодня писать конституцию наново, она какой бы получилась? Да уж такой, чтобы не отделись биржевики в Нью-Йорке, Чикаго, Детройте, и чтобы «Юнайтед Стейтс стил» довольна осталась а также «Корпоративные общественные услуги», и «Дженерал моторз», и «Объединение промышленных фирм», и все эти министерства. Так какая, если подумать, конституция бы вышла? - повторил он. – Мы свою старую конституцию уважаем, чтим, но живем-то по новой. А если хотим жить по старой, придется все восстановить так, чтобы условия были те же самые, при которых она писалась. Вот отчего машинка эта мне пригодится. – Он похлопал по крышке цилиндра. – Поможет, глядишь, чуть независимее себя почувствовать тем, кто независимостью дорожит. И добавил как бы в скобках.– Только не больно-то ею и дорожат. Уж очень искушают призывы, доказывающие, что зависимым быть спокойнее. И люди уже свыклись, что счастья им не видать, если они – целиком и полностью – не доверятся правительству или централизованному бизнесу. Но для тех, кто демократией действительно дорожит, действительно хочет остаться свободным, как это Джефферсону виделось, штука эта очень

даже сгодится может. Сами будут отапливаться, свет будет свой, а это уже немало.

Мистер Стойт насторожился.

– Ты что, думаешь, твоя машина на такое впрямь способна?

– А почему нет? – сказал мистер Проптер.– В наших краях солнца много, а никто этим не пользуется.

Перед глазами мистера Стойта возник его кабинет президента компании «Консоль».

– Ну, в нефтяном деле проку от нее не будет,– сказал он.

– Конечно, не будет, этого еще не хватало,– охотно согласился мистер Проптер.

– А в угольном, как думаешь? – У него были акции многих шахт в Западной Виргинии.– На железной дороге? – Пруденс в свое время купила целый пакет облигаций Южнотихоокеанской.– Там ведь без рельс никак нельзя. И без стали, значит,– добавил он равнодушно, так как вложения в стальной концерн «Вифлеем» были совсем небольшие.– А с другой стороны, ты вот придумаешь, чтобы без рельс можно было ездить, без вагонов грузы возить, так куда сталь-то девать? Ты против прогресса идешь,– взорвался он, вновь закипев гневом праведника.– Хочешь стрелки часов назад повернуть.

– Напрасно разволновался, Джо,– возразил мистер Проптер.– Твои доходы не пострадают от этой штуковины еще очень долго. Хватит тебе времени к новым условиям приладиться.

Мистер Стойт сдержался, демонстрируя завидное умение владеть собой.

– Ты, видно, считаешь, что мне, кроме денег, на все плевать,– сказал он внушительно.– Ну, так вот, к твоему сведению, я решил дать доктору Малджу еще тридцать тысяч на его художественную школу. (Решение было принято сию минуту и единственно с целью выиграть очко в нескончаемой баталии с Биллом Проптером).– А если ты убежден,– добавил он после паузы,– если убежден, что мне все без разницы, что меня не касается, так прочти специальный выпуск «Нью-Йорк таймс» про Всемирную выставку. Нет, ты прочти, – повторил он требовательно, словно фундаменталист, настаивающий, чтобы не игнорировали «Откровение».– Прочти и поймешь, что все у нас, кто вперед заглядывать умеет, таких же, как я, держатся взглядов.– Речь его приобрела неожиданную и так ему несвойственную обходительность, словно бы он рассуждал за послеобеденной сигарой в компании солидных людей.–

Прогресс достижим только при условии, что организация дела будет безупречной, и тогда производство заработает на полную мощность, а значит, потребитель получит больше товаров! – И без всякого перехода: – Ты присмотрись, что хозяйки в магазинах берут – хлопья там всякие и остальное прочее, что на каждом углу рекламируют. Вот тебе пример, что такое прогресс. А не идиотские твои выдумки вроде этой хреновины или другого чего, что ты тут нафантазируешь.– Мистер Стойт говорил теперь в своем самом обычном стиле.– Смолоду дурень ты был, так, видно, дурнем до могилы останешься. А что я сказал про разговорчики твои с Бобом Хансеном, ты, Билл, как следует запомни. Не потерплю я такого.– Насупившись, он повернулся и зашагал по дорожке, но задержался и бросил через плечо: – Зашел бы как-нибудь, пообедаем вместе, если хочешь.

– Спасибо,– ответил мистер Проптер,– зайду.

Мистер Стойт стремительно направился к машине. Он позабыл про давление, про Господа живого, он вдруг – необъяснимо, без малейшего повода – ощутил, что счастлив. Не в том дело, что на этот раз битва с Биллом Проптером принесла ему явный успех. Ничего он и сегодня в ней не добился, мало того, уступив, еще по-глупому выставил себя, причем сам об этом смутно догадывался. Счастливым он себя чувствовал из-за другого. Хотя никогда в этом не признается, счастлив он из-за того, что Биллу, несмотря ни на что, симпатичен.

В машине по пути к замку он тихо насвистывал.

Распахнув дверь (и, как всегда, не сняв шляпы, потому что даже столько лет спустя он все еще сохранил детскую радость из-за того, что, хоть и жил в собственном дворце, мог себе позволить пролетарские манеры, прочем, аффектированные), мистер Стойт пересек необъятную прихожую, вошел в лифт, а из лифта проследовал в будуар Вирджинии.

Когда он появился в ее покоях, эти двое сидели метрах в десяти друг от друга, не меньше. Вирджиния расположилась у фонтанчика, задумчиво помешивая ложечкой свое мороженое – банановое с шоколадной глазурью; с изяществом расположившись в кресле с красной шелковой обивкой, доктор раскуривал сигарету.

Приступы ревнивой подозрительности были для мистера Стойта вроде ударов, угодивших в солнечное сплетение,– он испытывал самую настоящую физическую боль, и как раз где-то поблизости от диафрагмы. Лицо его исказилось, точно

сведенное судорогой. Но ведь ничего такого он не заметил, не было явных поводов для ревности, ничто не склоняло к подозрению – в том, как они друг с другом держались, чем были заняты, что можно было прочесть у них на лицах. Доктор Обиспо был сама непринужденность и естественность, а Малышка одарила его улыбкой изумления и восторга, такой неподдельной, будто это ангел ему улыбнулся.

– Дядя Джо! – Подбежав, она обвила его шею руками.– Дядя Джо!

Нежный ее голосок, тающий поцелуй ее губ растопили сердце мистера Стойта. Расчувствовавшись до всех доступных ему пределов, так что нельзя было тронуть его больше ни в переносном смысле, ни в прямом, он пробормотал: «Малышка моя!» Его сжигал стыд за то, что хоть на миг мог он что-то нехорошее подумать об этом невинном пленительном ребенке, таком бесконечно доверчивом, ласковом необычайно. А тут еще доктор Обиспо заставил его совсем устыдиться, мягко упрекая за неразумное поведение.

– Я, знаете, немного беспокоюсь,– сказал он, поднимаясь,– вы что-то сильно кашляли после ленча. Потому-то я и сюда пришел, хотел вам об этом сказать, как только появитесь.– Он засунул руку в карман, наполовину извлек, но тут же спрятал маленькую книжку в кожаном переплете вроде молитвенника, а затем достал стетоскоп.– Пропедевтика всегда лучше лечения. Гриппом я вам не дам заболеть, уж будьте уверены.

Вспомнив, какая деловая из-за эпидемии гриппа выдалась неделька для Пантеона «Биверли», мистер Стойт забеспокоился.

– Да я же себя неплохо чувствую,– сказал он.–. Кашель тот был так, пустяки. Вы же знаете, у мен» застарелый бронхит, только и всего.

– Может, бронхит, а может, и что другое. Послушать вас, во всяком случае, я обязан.– С бесстрастностью профессионала доктор водрузил стетоскоп на шею.

– Он прав, дядя Джо,– сказала Малышка.

Умиленный такой заботой и чуть напуганный предположением, уж не подцепил ли он грипп, мистер Стойт снял пиджак, жилет и принялся развязывать галстук. Минуту спустя, обнаженный по пояс, он стоял под лучами лампы. Вирджиния скромно удалилась к фонтанчику. Доктор Обиспо вставил никелерованные наконечники в уши.

– Вздохните поглубже,– сказал он, упираясь рожком в грудь мистера Стойта.– Еще. А теперь покашляйте.– Словно бы смотря сквозь эту толщу волосатой плоти, он ясно представлял себе на стене за нею обитателей грустного парадиза, которых Ватто изобразил ставящими парус, чтобы отправиться в другой парадиз, несомненно, еще более печальный.

– Скажите: девяносто девять,– приказал доктор Обиспо, вернувшись от созерцания приготовлений к отплытию на Цитеру и занявшись грудной клеткой и животом мистера Стойта.

– Девяносто девять. Девяносто девять. Девяносто девять.

С профессиональной точностью доктор перемещал рожок по выпуклостям стоявшей перед ним живой бочки. Все с ним, разумеется, в порядке, с козлом этим старым. Обычные небольшие хрипы, они у него уже давно. Пожалуй, ради совсем уж полной ясности стоит потребовать, чтобы он со мною поднялся в кабинет, и посмотреть рентгеном. А ладно, обойдется. Хватит и этого фарса.

– Еще покашляйте,– сказал он, уткнувшись рожком в седую щетину, окружавшую левый сосок мистера Стойта. Помимо всего прочего, думал он, выслушивая старательные покашливания, помимо всего прочего, от этих старых навозников еще ведь и запах отвратительный. Как только терпит такие запахи девчонка, пусть даже за деньги. А сколько их, этих девчонок, тысячи, и не просто терпят, им даже нравится. Ну, может, «нравится» – это уж чересчур. Потому что, подразумевая точный, физиологический смысл, ни о каком «нравится», верней всего, нет и речи. Тут сплошной рассудок, не тело. Они своих старых козлов рассудком любят, потому любят, что восхищаются ими, а восхищаются оттого, что козлы кой-чего в жизни добились, все на свете изведали, всему обществу известны. И в постель они ложатся не с мужчиной, а с его репутацией, и в постели просто выполняют функцию. А к тому же многие такие девчонки мечтают впоследствии увидеть себя на фотоплакатах к Дню матери, для которых будут позировать; есть еще другие – воображают себя чем-то наподобие Флоренс Найтингейл [44], лишь бы новая Крымская война случилась. Что для тех, что для других уродства этих

[44] Английская сестра милосердия, прославившаяся самоотверженным уходом за ранеными в Крымскую кампанию.

козлов даже привлекательны, пусть по-особому. Отправляются в постель, гордясь, что спать им придется не просто с репутацией, ну там со светочем ума, с федеральным судьей, с председателем торговой палаты, но, кроме того,– верней, одновременно – с ратником, контуженным на поле брани, или с шалуном, который в такие-то годы остался прямо как подросток, или с неразумным дитятей: все еще писает в кроватку. Даже и эта вот шлюшка (доктор Обиспо исподтишка кинул взгляд в сторону фонтанчика), даже она чем-то схожа не то с Флоренс Найтингейл, не то с Мамашей, которой вручили золотую медаль. (Вовсе при том не важно, что она до ужаса боится физического материнства, просто природы своей не знает.) А Джо Стойт для нее как ребенок или там пациент, а вместе с тем, это уж само собой, он для нее Авраам Линкольн, принадлежащий ей лично. Ну, и кстати – еще и тот, у кого в кармане чековая книжка. Что, разумеется, немаловажно. Но, если бы все сводилось к чековой книжке, Вирджиния не светилась бы таким счастьем, а ведь светится. Сама чековая книжка привлекательнее, когда она в руках полубога, нуждающегося, чтобы рядом с ним была нянюшка, стирающая его пеленки.

– Повернитесь, пожалуйста.

Мистер Стойт повиновался. Сзади, размышлял доктор Обиспо, он не такой отвратительный. Может, оттого что лица не видно.

– Сделайте глубокий вдох,– сказал он, решив, что комедию надо доиграть до конца. – Еще.

Мистер Стойт работал легкими, словно кит.

– И еще,– потребовал доктор.– Прошу, снова, – пока старик пыхтел, как паровоз, доктор прикидывал: шанс в том, что ей же надо чего-то свеженького, новенького чего-то после этого козла. Так что она ему отдастся, причем не просто, а чтобы условия диктовал он сам. Никаких там ромео и джульетт, никакой любви с прописной буквы, пусть другие пленяются всей этой мурой, как в песенках: ах, любимый мой, я всегда с тобой вместе под луной. Чувственность, и ничего, помимо чувственности. Настоящее, главное, реальное – только это, он не потерпит никаких увиливаний, и не больше этого, хотя вот тут, несомненно, могут возникнуть сложности, ведь потаскухам непременно хочется, чтобы с ними носились, как с ангелочками, ставили на пьедестал, разговаривали о высоком, о духовном. А

он ничего такого не допустит, и прежде всего из пиетета перед научной истиной. В научную истину он верит. Факты есть факты, их надлежит принимать как таковые. Вот, к примеру, несомненный факт, что девчонок, находящихся на содержании у богатых стариков, легко соблазнить. И еще факт: богатых стариков, какие бы они ни были замечательные бизнесмены, умный человек, захоти он того, без труда обведет вокруг пальца, потому что все они ужасно пугливы, невежественны и глупы.

– Еще раз скажите: девяносто девять.

– Девяносто девять. Девяносто девять. Девяносто девять шансов из ста, что никто ни о чем не узнает. Вот вам тоже факт, имеющий отношение к психологии стариков. А что касается любви, факт тот, что она, по сути, сводится к возбуждению и удовлетворению. Так какого лешего приукрашивать эту истину цветистыми выдумками? Почему не смотреть на вещи реалистически? не подойти ко всему этому научно?

– Девяносто девять,– повторил мистер Стойт.– Девяносто девять.

И кроме того, размышлял доктор Обиспо, без малейшего интереса фиксируя шумы и подрагивания перегревшейся, скверно пахнущей бочки, которая перед ним стояла, кроме того, существуют еще сугубо личные причины, чтобы предпочесть любовь в ее химически чистом виде, без примеси красивостей. Разумеется, личные причины – тоже факт, и надо с ним считаться. Разве не факт, что лично он находит особенное наслаждение, навязывая выбранной им партнерше свою волю? Но чтобы пришло наслаждение, волю надо навязывать, а партнерша должна противиться, не проявляя чрезмерной покорности. Таково правило истинного профессионала. Партнерша же – она из дилетанток, и, как все дилетанты, непоколебимо убеждена, будто возбуждение и удовлетворение непременно должны зваться Любовью, Страстью, Общением Душ – все слова, само собой, с прописных букв. Навязывая свою волю, он ее заставляет принять противоположный взгляд, а именно: возбуждение и удовлетворение суть возбуждение и удовлетворение, ничто иное. Он ведь ничего и не добивается, только чтобы партнерша согласилась испытать его доктрину на практике – пусть без особого на то желания, пусть только в порядке эксперимента, всего один раз: это ему все равно. Но опыт, хотя бы единственный, должен быть поставлен. Дальше он решит сам. Если ее не удастся обратить в эту веру, сделав

пламенной сторонницей такого подхода, по крайней мере, в отношениях с ним,– значит, допущена ошибка.

– Девяносто девять. Девяносто девять,– бубнил мистер Стойт с ангельским терпением.

– Пока достаточно. Благодарю вас,– сказал доктор Обиспо.

Итак, опыт будет поставлен, и по сути, нет причин сомневаться в успехе. В конце концов, что это, как не физиология в практическом приложении, а уж тут он специалист, эксперт. Настоящий Клод Бернар в этой области. И нечего особенно рассуждать про навязывание своей воли! Начнем с того, что заставим ее принять доктрину, прямо противоположную всем понятиям, с которыми она сжилась, ничего общего не имеющую с «мечтой свершившейся моей» и прочими глупостями из популярных песенок. Будет маленькая, но такая приятная победа. А уж действительно блестящие победы начнутся, когда перейдем в область практических приложений физиологии. Стало быть, объект эксперимента – плоско рациональное существо из породы людей, стандартная американка с прочными корнями, не лишенная обаяния, занимающая в обществе некоторое положение, приверженная определенным условностям, определенного рода взглядам – этическим и религиозным (в данном случае – католичка, отметил для себя доктор Обиспо); задача в том, чтобы эта особа, чьи права полностью обеспечены статьями конституции, была подвергнута опыту (возможно, она и сама поспешит ему подвергнуться, воспользовавшись принадлежащим покровителю лимузином последней модели или же явившись с банкета, где произносились речи, ну скажем, в честь доктора Николаса Мюррея Батлера или уходящего от дел архиепископа Индианаполиса), да, вот именно, опыту, имеющему целью посредством систематического использования научной методологии подавить личность испытуемой, превратив ее в содрогающееся, как при эпилептическом припадке, тело, которое стонами и выкриками будет сигнализировать о безмерном наслаждении, доставленном ей экспериментатором, этим Клодом Бернаром данной дисциплины, а он, экспериментатор, останется наблюдателем и, с удовольствием выполняя свою функцию, сохранит, однако же, отстраненный, ироничный взгляд на происходящее.

– Еще несколько глубоких вдохов, прошу вас. Мистер Стойт с шумом втянул в себя воздух и, похрипывая, выпустил его из легких.

## 11

После ухода мистера Стойта наступило молчание. Долгое молчание; каждый из них трех думал о своем. Первым заговорил Пит:

– Как таких вот сцен насмотришься,– мрачно сказал он, – всякий раз начинаешь думать: может, аморально, что я живу на деньги, которые он мне платит. Вы бы как на моем месте поступили, мистер Проптер?

– Я бы как поступил? – Мистер Проптер на миг задумался. – По-прежнему занимался бы в его лаборатории. Мне только нужно было бы совершенно точно знать, что мои занятия не принесут вреда больше, чем пользы. В таких делах приходится быть утилитарным. Ну, конечно, не вполне утилитаристом, – поспешил уточнить он.– Скорее Бентамом пополам с Экхартом или там с Нагараджуной [45].

– Бедный Бентам! – воскликнул Джереми, ужаснувшись тому, кем сделался бы его тезка при подобной трансформации.

Мистер Проптер улыбнулся.

– И впрямь бедный. Такой обходительный, симпатичный был человек, умница, а такую чепуху нес. Почти на сто процентов во всем заблуждался абсолютно. Обманывал себя иллюзией, будто максимума счастья для максимального количества людей можно достичь, оставаясь в пределах сугубо человеческого, то есть раболепствуя перед временем и злом, не ведая Бога. Бедный Бентам! – повторил он. – До чего был бы выдающийся мыслитель, сумей он только постигнуть, что добра бессмысленно добиваться там, где оно отсутствует.

– А этот ваш утилитаризм,– вмешался Проптер.– Не думал как-то, затрудняюсь сказать. Да ведь и нет у нас достаточного количества эмпирических наблюдений, чтобы придти к

[45] Бентам, Иеремия (Джереми) – английский философ (1748 – 1832) основоположник утилитаризма; Экхарт, Иоганн (ок. 1260–1328), Майстер Экхарт, крупнейший философ-мистик позднего Средневековья; Нагараджуна (2 в. н. э.) – индийский философ, один из учителей махаяны – «среднего пути» в буддизме.

обоснованным выводам. Единственное, что знаю твердо: лично я, доведись мне с подобными вещами дело иметь, был бы очень осторожен. Бесконечно осторожен,– повторил он с убежденностью.

– Ну, а насчет моей зарплаты как? – не унимался Пит.– Я же вижу, чьи это деньги и откуда берутся, так, возможно, мне их не следует принимать?

– Любые деньги с грязью,– сказал мистер Проптер.– Не уверен, что капиталы бедняги Джо грязнее всех прочих. Вы, может быть, и считаете так, но лишь оттого, что впервые увидели, из каких источников берутся большие деньги, из каких человеческих источников. Вы вроде тех городских детей, которые всегда пили молоко из стерилизованных бутылок, развозимых в специальных фургонах. Потом они попадают в деревню, видят, что для этого надо доить большую, толстую, воняющую корову, и у них пробуждается отвращение. Вот и с деньгами то же самое. Вы привыкли, что вам их платят в банке, где всюду такой красивый мрамор и литые бронзовые решетки. А теперь попали в деревню и живете в хлеву рядом с теми, из кого эти деньги выдавливают. И вам, конечно, видеть это неприятно, потому что тут какая Уж гигиена. Хотя так всегда оно и было, вы просто не отдавали себе в этом отчета. Ну, допустим, вы бы не у Джо Стойта работали, в каком-нибудь университете, в колледже. А университеты-то откуда деньги берут? У богатых, вот откуда. То есть у людей вроде Джо Стойта. А значит, та же грязь в стерилизованных контейнерах только получаете вы ее там из рук джентльмена в мантии и шапочке.

– Стало быть, вы находите, что мне можно все оставить, как есть? – спросил Пит.

– Можно,– сказал мистер Проптер,– в том смысле, что лучше особенно нигде и не будет.– Он вдруг улыбнулся. – А хорошо, что доктор Малдж свою художественную школу получит,– продолжал он повеселевшим голосом.– Причем сразу после нового учебного корпуса. Ведь на все это прорва денег нужна. Впрочем, ради престижа – патрон науки, и так далее,– как видно, не поскупишься. К тому же на богатых со всех сторон давят, чтобы они сделались патронами науки. Во-первых, стыдно ими не быть, а кроме того богатым хочется верить, что они оказывают благодеяния человечеству. Что же, доктор Малдж для них человек подходящий, тут за свои дары им

беспокоиться нечего. Главное, сколько в Тарзании художественных школ ни открывай, status quo не изменится ничуть. А вот вздумай я попросить у Джо тысяч пятьдесят на разработку практического применения принципов демократии, тут же от ворот поворот получу. Знаете почему? А потому, что он понимает, как такие занятия опасны. Вот поговорить о демократии – это он любитель. (Кстати, доктор Малдж уж так замечательно на такие темы рассуждает, заслушаешься.) Но грубые материалисты, которые все прикидывают, как бы от идеалов к делу перейти,– они ему не по вкусу. Видели, как он из себя вышел, на машинку мою несчастную взглянув? Почуял, что даже она создает какую-то крохотную угрозу большому бизнесу, откуда все его деньги. И с другими моими изобретениями – я их ему иногда показываю – всегда то же самое. Посмотреть, кстати, не хотите ли, если не скучно?

Он повел их в дом. Там оказалась маленькая электрическая мельница размером едва больше кофеварки – можно муку смолоть, когда понадобится. Еще был станок, на котором он сам выучился ткать и теперь учил других. Потом проследовали в сарай, где увидели разные электрические приспособления – всего на три, на четыре сотни долларов, но с их помощью можно сделать любую плотницкую работу и даже кое-что нетрудное с металлом. За сараем стояли недостроенные парники – огорода недостаточно, слишком много у него живет мигрантов. Вон там он их поселил, сказал мистер Проптер, указывая на зажигавшиеся огоньки домиков, вытянутых по линейке. Всех принять он, разумеется, не может, остальным приходится жить у пересохшей реки – свалка, да и только, да еще надо Джо Стойту ренту платить. Условия, что уж там, не из лучших. Но в их отчаянном положении выбирать не приходится. Ну как, скажите, оставить их без помощи? Мало таких, кого эта жизнь не сломила, и еще меньше тех, кто понимает, что нужно делать, к чему стремиться. У него сейчас нашлась работа для двух-трех и нашлись деньги, чтобы еще двух-трех поселить на земле у Санта Сюзанны. Пустяки, разумеется, он этому значения не придает. Ведь ясно же, даже экспериментировать по-настоящему не начнешь, пока не появится тут у нас поселок, где люди будут жить не в такой беспросветности. А чтобы такой поселок появился, денег нужно много. Очень много. На богачей, однако, рассчитывать нечего, им предпочтительнее открывать художественные школы в

Тарзании. А у тех, кто этой идее сочувствует, средств нет, оттого, среди прочего, они ей и сочувствуют. Брать ссуды при нынешних процентах дело рискованное. Разве что очень уж повезет, не то просто запродашь себя в рабство банку.

– Нелегко все это,– говорил Проптер, пока шли назад к дому.– Но главное-то в том, что легко ли, нелегко, а делать надо, и не откладывая. Как видите, Пит, кое-что делать действительно надо.

На минуту он заглянул в бунгало, выключил свет и вернулся к ним. Вместе они двинулись по тропе, спускающейся к шоссе. Замок высился перед ними огромной темной массой, кое-где подсвеченной огнями.

– Да, кое-что сделать все-таки можно,– сказал мистер Проптер,– но только при условии, что ясно понимаешь, в каком мире выпало тебе жить. Если осознал, что сугубо человеческое есть зло, не станешь тратить силы, пытаясь это зло обратить в добро. Потому что добро лежит в иных сферах, там, где физиология, и там, где вечность. И зная это, постараешься в сфере человеческого ограничиться превентивными мерами, потому что они самые лучшие. Я же вам говорил: сугубо человеческие действия не так чтобы чересчур мешают проявиться добру в иных сферах. Ну, и на том спасибо. Однако политики не представляют себе реальности. А если бы представляли так не были бы политиками. Реакционными, революционными – не суть важно, главное, что все они замкнулись сферой человеческого, и все они романтики. Живут в мире иллюзии, в том, который является просто отблеском их собственной личности. И действует методами, которые были бы вполне хороши, если бы действительно существовал мир, ими выдуманный. Увы, существует он только в их воображении. А поэтому, что бы они ни выдумывали, для реального мира это не годится. И все их действия оказываются такими, что предпринимать их могут одни безумцы, а история потом доказывает, что все они имели катастрофические последствия – лишь более очевидные или менее. Вот так обстоит дело с романтиками. Реалисты же, то есть люди, постигшие, каков этот мир, знают, что подходить к жизни с чисто человеческими мерками всегда фатально, а значит, деяния человеческие должны стать не более, чем способом приближения к добру – тому, животному, или же духовному. Иначе говоря, они знают, что дело человека – добиться, чтобы обитаемый нами мир стал

безопасен для животных, равно как для духа. Или, может быть,– прибавил он, глядя на Джереми,– как англичанин вы бы предпочли сформулировать ту же мысль словами не Вильсона, а Ллойд Джорджа: «Построим дом, где было бы хорошо героям», так, кажется? Ну вот, давайте построим дом, где будет хорошо животным и духу, физиологии и объективному сознанию. Теперешний дом, боюсь, для них совсем неудобен. Тот мир, который мы себе создали,– это ведь обиталище больных тел и безумных, если не преступных личностей. Так каким образом его превратить в мир, где нам будет хорошо как животным, как носителям духа? Если удастся найти ответ на вот этот вопрос, мы постигнем, что должны делать.

Мистер Проптер остановился у сооружения, которое можно было принять за гробницу, открыл, вытащив из кармана ключик, стальную дверцу и по оказавшемуся внутри телефону известил об их приходе невидимого стража по ту сторону рва. Пошли дальше.

– А из-за чего в мире пока нехорошо и животным, и духу? – спросил он, сам же ответив: – Ясное дело, из-за жадности и страха, из-за стремления к власти, из-за ненависти, нетерпимости...

В этот момент их ослепила яркая вспышка прямо перед глазами, тут же погасшая.

– Господи, это что еще? – начал было Джереми.

– Не беспокойтесь,– поспешил Пит.– Просто им надо удостовериться, что это мы, а не бандиты какие-нибудь. Посветили вот прожектором.

– Совершенно верно, это наш приятель Джо выказывает свою натуру,– добавил мистер Проптер, беря Джереми под руку.– То есть возвещает миру, что ему страшно, поскольку человек он ненасытный и властный. А ненасытный и властный он оттого, помимо прочего, что наша нынешняя система такие качества стимулирует. Значит, надо найти такую систему, при которой у слабых людей вроде Джо Стойта осталось бы как можно меньше возможностей давать своим слабостям волю.

Подошли ко рву; опустили мост, и планки уже подрагивали под их шагами.

– Вы сторонник социализма, Пит,– говорил мистер Проптер.– Однако социализм, по всему судя, никогда не отступит от убийственной своей приверженности к централизации, дошедшей до последних пределов, и к

фабричному стандартному производству на самом массовом уровне. Да к тому же он, по-моему, создает сколько угодно возможностей строить на страхе – желающие командовать будут командовать, а кто не очень ловок, должен это терпеть, оставаясь рабом.

Решетка поднялась и, пропуская их, ворота начали разъезжаться.

– Если хотите, чтобы в мире стало хорошо животным и духу, нужна система, сводящая до самого минимума страх, жадность, ненависть, тиранию. Иначе говоря, нужна новая экономика, чтобы пробудить должное чувство ответственности, не позволяя ей опускаться на дно. Чтобы у каждого был такой достаток, когда богатым станет сложно чинить произвол, но не чрезмерный, не то произвол начнут чинить уже бедные. И то же самое относится к политическим нравам и власти: прав должно хватать, чтобы большинство ощущало себя защищенным, а власть нужно ограничить, исключив возможность диктатуры меньшинства.

– Что-то похожее на апологию крестьянской утопии,– сказал Пит с сомнением.

– Да, я за то, чтобы процветало крестьянство, только у него должны быть кое-какие машины и немного власти. А тогда это уже будет не крестьянство, если не придавать чрезмерного значения тому, что эти люди почти полностью обеспечивают собственные потребности.

– А машины кто будет делать? Тоже крестьяне?

– Нет, те же люди, которые их делают сегодня. Если какую-то вещь нельзя хорошо изготовить, обходясь без индустрии, без массового производства, ясное дело, нужна эта индустрия. Она должна покрывать примерно треть всего, что производится самодельно или в маленьких мастерских. Самая непосредственная практическая задача сейчас – это придумать, как такое производство могло бы быть налажено. Но нас это не заботит, нам бы все расширять массовое производство, все силы на него брошены.

В гроте перед Девой горели поставленные рядком двадцать пять электрических свечей – символ непрерывного поклонения. Выше, на корте, помощник мажордома, две горничные и главный электрик играли микст при свете дуговых ламп.

– Так вы полагаете, люди начнут покидать города и устремятся на маленькие фермы, чтобы жить, как вами описано?

– Ах, если бы так, Пит! – с энтузиазмом сказал мистер Проптер.– Признаться, я вовсе не надеюсь, что они начнут покидать города, как не надеюсь, что прекратятся войны, революции. А надеюсь я только вот на что: если мне удастся довести мою работу до конца и результат получится привлекательный, найдется еще несколько людей, готовых за мной последовать. Только на это!

– Но если их будет всего несколько, какой смысл? Разве не разумнее что-нибудь серьезное затеять в городах, на фабриках, раз уж большинство там так и останется? Разве не практичнее?

– Тут все зависит от того, как понимать практичность,– возразил мистер Проптер.– Вот вы, допустим, считаете практичным склонять людей к тому, чтобы они поддержали политическую линию, бесперспективность которой очевидна, тогда как склонить хотя бы немногих к поддержке линии разумной и обнадеживающей, по-вашему, непрактично. Мне с вами трудно согласиться.

– Все равно, как же быть с большинством? Не бросить же его на произвол судьбы.

– Не бросить,– повторил мистер Проптер.– Хотя бывают, знаете ли, обстоятельства, когда ничего другого сделать нельзя. Ну что вы поделаете с человеком, неспособным или не желающим последовать за вами в разумном начинании? Допустим, вы считаете себя обязанным помочь людям, на которых обрушилась эпидемия малярии. Но помочь им нельзя, если они отказываются затягивать окна марлей и разгуливают в сумерки по болотам. В политике то же самое. Вы обязаны помогать людям, когда бушует война, или разразится бедствие, или их обращают в рабов, когда им грозит нежданная революция или медленное вырождение. Да, помогать вы обязаны. Но ведь дело в том, что помочь невозможно, если они упорствуют в заблуждениях, из-за которых все их беды. Ну как вы убережете людей от ужасов войны, если они склонны к обольщениям национализма? И от нищеты вы их не защитите, от депрессий, пока все считают только на деньги и поклоняются деньгам как высшему счастью. Революций и порабощения не предотвратить, пока прогрессом будут полагать лишь усиление централизации, а благоденствием – только рост массового

производства. Не сможете вы уберечь людей от коллективного безумия и паранойи, если все так же божеские почести будут воздаваться идеалам, представляющим собой только отблески их же собственных вожделений, то есть все так же поклоняться люди будут не Богу, а самим себе. Впрочем, довольно толковать об общих вещах. Возьмите то, что происходит сегодня. А происходит, отбрасывая несущественное, примерно вот что: все цивилизованные страны находятся под угрозой, все страстно желают избежать близящейся беды, и при этом громадное большинство отказывается хоть на йоту отступить от привычного круга мыслей, чувств, действий, которые являются самой непосредственной причиной нынешней опасной ситуации. Ну как можно помочь всем этим людям, которые в шею погонят любого, кто им предложит разумный и реалистический выход? И как этому любому поступать при таких-то условиях?

– Как-то поступать нужно,– сказал Пит.

– Даже если своими поступками он только ускорит крах? – Мистер Проптер печально улыбнулся.– Действие во имя действия. Нет уж, я скорее соглашусь с Оскаром Уайльдом. Даже плохое искусство не причинит столько вреда, сколько необдуманная политическая акция. Подразумевая нечто большее, чем бытовые поступки, большинство людей просто не обладают достаточно сильным умом, чтобы творить добро. Большинству надо довольствоваться тем, что они хоть зла не причиняют: это проще, и уж во всяком случае столько дров тут не наломаешь, как если пытаться творить добро на ложных путях. Чаще всего куда разумнее коптить небо, демонстрируя отменное воспитание, чем ко всем и каждому приставать с благими порывами, что-то там делая во имя добра.

Нимфа Джанболоньи, освещенная яркими лучами, выхватывающими ее из бархатной тьмы, все так же неутомимо выпускала струю за струей. Электричество и ваяние – как им было не встретиться, подумал, разглядывая скульптуру, Джереми. Дали бы старику Бернини пять-шесть прожекторов, он бы такое сотворил! Изумительные подсветки, сочленения, поражающие богатством фантазии! Женские фигуры в мистическом предощущении оргазма, ангелы, светящиеся таинственными шарами, скелеты, реющие над мавзолеями вроде ракет, святые в плещущихся одеяниях, их развеваемые ветром мраморные локоны, как будто у тебя на глазах начался ураган!

Сколько выдумки! Какое великолепие! Какая выразительность – самоутверждение пополам с автопародией! Какая ошарашивающая красота! Какой парад дурного вкуса! И какая досада, что старику приходилось ограничиваться естественным освещением да сальными свечами!

– Нет,– отвечал мистер Проптер на какое-то возражение Пита,– нет, уж конечно, не просто созерцание. По-моему, лучше бы снова и снова повторять истины, которые людям бесконечно внушают вот уже три тысячи лет. А в промежутках я бы занялся активным совершенствованием системы да посоветовал бы деятельно присоединиться к тем немногим, кто понимает, какой эта система должна стать, кто готов заплатить, сколько потребуется, за то, чтобы она утвердилась. Цена, по человеческим мерками, исключительно высокая, кстати. Хотя, конечно, она намного ниже той, которую приходится выплачивать упорствующим в человеческих привычках,– приходится, потому что такой уж порядок вещей. Намного ниже, например, чем то, во что обходится война, особенно при современном вооружении. Намного ниже, чем цена экономической депрессии и политического рабства.

– А что произойдет,– вкрадчиво спросил Джереми, – что произойдет, если война все-таки начнется? Эти немногие, о которых вы говорите, переживут ее легче, чем большинство?

– Как ни странно, у них такой шанс есть,– ответил мистер Проптер.– Сейчас объясню. Когда научишься обеспечивать себя сам, легче уцелеть во времена анархии, ужасные для людей, которые впрямь зависят от крайне централизованной и специализированной системы. Нельзя трудиться на благо добра, если одновременно не готовишься к самому худшему.

Он замолчал, и теперь тишину нарушали только мелодии, доносившиеся откуда-то сверху из двух радиоприемников, настроенных на разные волны. А павианы уже спали.

## 12

В часовне Святой Девы с ее вешалками для шляп, полотном Маньяско, скульптурой Бранкузи и этрусским саркофагом, куда ставили зонтики, Джереми Пордейдж нежданно почувствовал себя свободнее и легче.

– Все равно что проникнуться воображением лунатика,– заметил он, безмятежно улыбаясь, и, сняв шляпу, последовал за

остальными в зал.– Да нет, не лунатика, просто помешанного,– уточнил он.– Лунатик, кажется, тот, у кого все мысли в одну сторону направлены. А тут...– он обвел рукой стены,– тут вообще направления не отыщешь. Потому что все устремлено в бесконечность. Как у помешанных да еще у гениев. И тем, и другим подавай ведь только самое лучшее, что выдумать сумели.– Последняя фраза выговорилась с той чопорностью, которая делала ее особенно нелепой, словно бы его устами принялась вещать какая-нибудь старая дева.– Вот, полюбуйтесь: и Греция вам, и Мексика, сарай-сараем, но в нем непременно распятие, а под ним машины всевозможные, и турецкие бани имеются, и мебель времен Георга IV, и Амида [46], и все по науке или, может, по Христианской науке, словом, все, что вашей душеньке угодно. Причем как нарочно ничто ни с чем не согласуется.– Подмигивая из-под очков, Джереми потер руки.– Поначалу ошеломляет. Но поверите ли? Мне это начинает нравиться. Право же, прелестно пожить вот так, погрузившись в фантазии сумасброда.

– Несомненно,– сказал мистер Проптер, ничуть не пораженный этой речью.– Впрочем, довольно обычная обстановка.

Джереми смутился.

– Ну, уж вот такое обычным вряд ли назовешь, – возразил он, указывая на полотно Эль Греко.

– Да, разумеется,– согласно кивнул мистер Проптер.– Но чтобы воплотить фантазии сумасброда, хочешь не хочешь приходится тратить на железобетон да на живопись, которая его украсит.

В молчании они шли к лифту.

– Жить можно среди фантазий просвещенного идиота,– снова заговорил мистер Проптер.– Среди как попало склеенных слов, несовместимых осколков культуры. Вот если запросы у вас неприхотливые, тогда сможете обитать и в безумном мире homme moyen sensuel [47] – там такая же дикая смесь, только состоит она из бейсбола, газет, секса, неудовлетворенности, рекламных объявлений, денежных забот, желудочных

[46] Японская деревянная скульптура – будда, обычно в окружении сподвижников.

[47] Среднего неинтеллектуального человека (фр.) ** Религиозная школа 20-х годов; ее лозунгом было «моральное перевооружение».

расстройств и стараний ни в чем не отстать от Джонсов, которые живут напротив. Есть разные градации идиотизма. Вам, как и мне, больше других подходит, разумеется, самая претенциозная.

Кабина остановилась. Пит открыл дверь, и они пошли по чисто выбеленному коридору самого нижнего подземного этажа.

– Но в случае, если вас притягивает жизнь, где не будет тревоги и вечных забот, никакими сумасбродными фантазиями она вас не обременит. Надо только научиться бестрепетно наблюдать за помешательством других,– пояснил мистер Проптер.– Многие этого не могут. Существование, которое ни к чему не устремлено, со временем начинает их томить. Им непременно нужно на чем-то сосредоточиться, чего-то добиваться. Нужно, чтобы их жизнь приобрела некое содержание. И по этой причине они становятся коммунистами, или превращаются в ревностных папистов, или делаются неистовыми сторонниками «Оксфордской группы» **. Это все равно, лишь бы придать своей жизни какое-то ясное направление. Само собой, направление почти всегда оказывается выбранным неправильно. По-другому и быть не может. Ведь ложных направлений миллион, а верное одно – Бог, состояние блаженства, все это уникально, тогда как идеалов, то бишь отблесков собственной твоей личности, несметное множество. И получается, что в большинстве своем люди просто меняют ни к нему не устремленное помешательство на целенаправленный лунатизм, который, как правило, содержит в себе нечто криминальное. Не спорю, после этой операции им легче жить, но, рассуждая прагматически, помешательство все-таки лучше, чем подобное кружение умов. Так что мой вам совет: становитесь лунатиком, раз решили обойтись без того единственного на земле, чем стоит дорожить. Так, значит, здесь вы трудитесь? – перебил он сам себя, вступив вслед за Джереми под своды своего кабинета.– А это, надо понимать, архив Хоберков? Большой, однако. Их титул более не существует, если не ошибаюсь? Джереми кивнул.

– Да, и вообще от этой семьи ничего не осталось, почти ничего. Только две старые девы, которые живут в доме, где полно привидений, а денег совсем не водится.– Он моргнул, прокашлялся, как всегда перед тем, как высказаться по существу, и, проведя ладонью по лысине, отчеканил с

чрезмерной патетичностью: – Две загнивающие аристократки.– Великолепная формула! Он сам ею не налюбуется.– И, сказать откровенно, гниение идет полным ходом. Не то бы они не продали архив. Много раз предлагали, они все отказывались.

– Да, упаси Бог принадлежать к старинному роду,– заметил мистер Проптер.– Только представить себе, что от рождения связан обязательствами перед всякими там камнями с черепками, перед могильными плитами, истлевшими бумажками, потрескавшимися холстами! – Он покачал головой. – Идолопоклонство по принуждению, хуже не придумать.

Джереми, подойдя к ящику у противоположной стены, извлек из него связку документов и передал их мистеру Проптеру.

– Взгляните.

– Письма Молиноса! – Проптер был изумлен.

Я не сомневался, уж для вас-то они прямо мед, – сказал Джереми, находя изысканное наслаждение в том, что о мистических предметах высказывается столь неподобающим стилем.

Мистер Проптер улыбнулся.

– Конечно, конечно,– согласился он.– только мед этот не самый для меня сладкий. Бедняга Молинос, что-то в нем сидело порочное. Ну, как бы это сказать, какая-то негативная чувственность, что ли. Ему нравилось страдать. Духовные муки, мрак беспросветный – для него лучше ничего на свете не существовало. Не спорю, он несчастный, искренне верил, будто сокрушает своеволие, только сам не сознавал, как из такого сокрушения новое возвеличивание получается. А жаль, что так выходило.– Мистер Проптер поднес листки к свету, всматриваясь в каждую строчку.– Ведь понимание реальности у него вправду было безупречное, из первых рук. Что свидетельствует только об одном: никогда не знаешь, достиг ли ты желаемого пункта, даже если подошел к нему совсем близко, простым глазом видно все. Ах, как это верно сказано! – заметил он, словно мимоходом, цитируя: «Ame a Dios como es en si y no como lo dice y forma su imaginacion», Джереми чуть не рассмеялся. Ему доставило особенную радость, что мистер Проптер случайно задержался на том же письме, которое нынче утром привлекло внимание доктора Обиспо.

– Жаль, не судьба ему была немного почитать Канта,– сказал он.– Dios en sí – да это та же Ding an sich [48]. Непознаваемое для человеческого ума.

– Непознаваемое для ума тех, кто скован индивидуальным,– уточнил мистер Проптер.– Потому что индивидуальное – это своеволие, а своеволие есть отрицание реальности, отказ от Бога. Подразумевая обыкновенную человеческую индивидуальность, Кант абсолютно прав, когда утверждает, что нельзя познать вещь в себе. Dios en si не может быть понят сознанием, в котором доминирует собственное «я». Но предположим, можно каким-то образом его от этого «я» освободить. Если только это действительно возможно, сознание подойдет к реальности вплотную, и тогда появляется шанс познать Dios en sí. И ведь самое главное, сделать это, скажу напрямик, можно, уже делалось, и не раз. Кантовская непознаваемость – тупик, откуда не умеют выбраться только люди, которые предпочли остаться в границах сугубо человеческого. А если бы они предпочли разрушить эти границы, пробиваясь к вечному, никакого тупика не было бы.

Наступило молчание. Мистер Проптер листал письма, всматриваясь в изысканный почерк, чтобы разобрать не поддающиеся чтению места. «Tres maneras hay de silencio,– опять процитировал он.– El primero es de palabras, el segundo de deseos y el tercero de pensamientos». [49] А неплохо пишет, а? Наверно, оттого и пользовался таким успехом. Ужасно, когда человек замечательным блеском выражает неверные мысли! Вы не задумывались,– спросил он, с улыбкой взглянув на Джереми,– отчего прекрасные стилисты крайне редко говорят что-нибудь путное? Вот вам пороки гуманитарного образования. Для него используется все самое лучшее: мысли, слова. Прекрасно. Но в каком смысле лучшее? Увы, лишь лучшее по форме. А смысл чаще всего плачевно убог.– Он вернулся к письмам. Еще один отрывок остановил его взгляд,– «Oira y leera el hombre a comprenderlas: Animalis homo non percipit ca quae sunt racional estas esrituales materias, pero no

[48] Вещь в себе (*нем.*)

[49] Тремя способами проявляет себя неспособность к речи. Первый – пустословие, второй – бессмысленные порывы, третий – глубина мысли (*исп.*)

Uegera, dice San Pablo spiritus» [50]. Да не только animalis homo,– прокомментировал мистер Проптер.– И humanus homo тоже. Он-то даже более всего. Можно бы так и сказать: humanus homo non percipit ea quae sunt animalais» [51]. До тех пор, пока мы мыслим в рамках сугубо человеческой своей природы, нам не надо понять ни того, что ниже нас, ни того, что над нами. И мало того. Допустим, мы перестанем мыслить только в пределах, поставленных человеческой природой, допустим, что научились непосредственно интуитивным путем постигать внечеловеческие реальности, в которых мы, скажем так, укоренены. Превосходно! Однако, каким образом сумеем мы передать приобретенное нами знание? Да никаким. Потому что располагаем лексиконом, который предназначен доносить лишь сугубо человеческие мысли, пробужденные сугубо человеческими же заботами. А ведь нам нужно будет выразить реальности внечеловеческие, которые и открылись нам внечеловеческими способами постижения. Вот отчего решительно непригодными оказываются все формулы касательно нашего естества, да что там – и относящиеся к Богу, к духу, к вечности.

Раздалось покашливание Джереми.

– Прошу заметить, существуют весьма точные дефиниции,– он запнулся, затем, сияя, провел ладонью по лысине,– весьма точные характеристики самых сокровенных особенностей нашей физиологической натуры,– закончил он, всем своим видом подчеркивая значительность сказанного. Лицо его вдруг насупилось, он вспомнил о своем маленьком сокровище, нагло похищенном доктором Обиспо.

– А каким образом вы докажете их точность? – возразил мистер Проптер.– Ведь тут все дело не в искусстве пишущего о подобных вещах, но в реакции читающих. Непосредственные, физиологические постижения словами передать нельзя, потому что слова всего лишь доносят то, что запомнилось вам от сходных случаев. Notus calor – вот как выразился Вергилий, описывая чувства, которые Вулкан испытывает в объятиях

[50] Услышит и прочтет рациональный человек о материях духовных, однако понять не сможет, сказал Св. Павел. Человеку животному не постичь, что есть дух (*исп.*)

[51] Человеку человечному не постичь, что есть начало животное (*исп.*)

Венеры. Знакомое тепло. И никаких попыток описать это или подвергнуть анализу, ни малейшего усилия, чтобы отыскалось какое-то словесное обозначение случившегося. О том, что произошло, нас просто ставят в известность. Но этого достаточно, и во всей латинской поэзии едва-едва найдется несколько столь блистательных стихов. Виргилий все предоставляет читателю – пусть вообразит сам. Эротические авторы, если обратили внимание, так чаще всего и поступают. А тем немногим, кто предпочитали описывать, да еще с подробностями, приходилось выдумывать метафоры, сравнения, аналогии – какая скука! Ну, знаете, все эти огни желаний, вихри страсти, нацеленные стрелы, небесные блаженства...

– «В долине лилий есть альковы наслажденья...» – процитировал Джереми.

– Вот-вот,– подхватил мистер Проптер.– А также «дух царственный в греха чащобах заблудился» и прочие красивости. Их сколько угодно, причем всегда одно и то же: слова, слова, а о том, что этими словами надлежало бы выразить, не сказано ровным счетом ничего.

– Говорится одно, но подразумевается нечто иное, – подвел итог Джереми.– Но позвольте, разве это не одно из допустимых определений изящной словесности?

– Может быть,– отозвался мистер Проптер.– Меня, однако, занимает сейчас не это, а причины, в силу которых нашим непосредственным физиологическим откровениям всегда находятся лишь очень обобщенные и неточные формулы. Мы говорим: «красное облако» или там «редкостное наслаждение»,– и считаем, что все этим сказано, но и цвет, и чувство имеют ведь разные градации, так отчего же мы и не пытаемся выразить эти градации в слове?

– Наверное, оттого что тут особенно и говорить не о чем,– вмешался Пит.– Красное оно красное и есть, а наслаждение – это наслаждение, ну, просто факт, кто же этого не знает?

– Да-да,– откликнулся Джереми.– Помните историю про жирафа? Одному логику-рационалисту показали картинку с жирафом, и он сказал: «Такого животного нет». И тут же ему приводят настоящего жирафа – шея немыслимой длины и все остальное.

– Не спорю,– сказал мистер Проптер.– Жираф это жираф, говорить тут нечего. Нравится вам, не нравится, так оно и есть. Но мало ведь констатировать, что это жираф, нужно еще

изучить его, описать. И то же самое я скажу о красном облаке, о наслаждении, о notus (calor). Все эти понятия поддаются объяснению, а когда мы их осмыслим, должны быть найдены слова, точно передающие то, что нами постигнуто. Однако вся история свидетельство, что таких слов никогда не ищут.

Пит внимательно смотрел на него.

– А почему, как вы думаете?

– Я вам отвечу,– сказал мистер Проптер.– Потому что людей всегда больше занимали собственные поступки, собственные чувства, а понять им не так уж и хотелось. Они всегда были слишком заняты другим – совершали добрые дела, испытывали острые ощущения, стремились «исполнить необходимое», поклонялись своим маленьким божкам, в общем, предавались всему этому с таким упоением, что ни сил, ни желания не оставалось, чтобы верно запечатлеть свой же опыт. Вы приглядитесь, какой нам достался в наследство язык,– для того, чтобы пробудить чувства неистовые и гибельные, он хорош дальше некуда, для желающих поуютнее устроиться в этом мире тоже сгодится, но только не для тех, кто добивается объективного постижения вещей; этим людям он бесполезен, хуже, чем бесполезен. Вот отчего, если даже не выходить за рамки сугубо человеческого, явилась нужда в особом безличном языке – ну, в математическом, что ли или в специальном научном словаре, который есть у каждой дисциплины. Как только у человека возникало желание что-то понять, он тут же отказывался от обычного языка, заменяя его каким-нибудь специальным, более точным, а самое главное, не настолько зависящим от личных интересов. Вот вам очень существенный факт. Изящная словесность по преимуществу воссоздает повседневную жизнь людей, а повседневная жизнь в большей степени заполнена непосредственным физиологическим опытом. Но, несмотря на это, творцы изящной словесности так и не создали безличного, очищенного языка, который выражал бы такого рода непосредственный опыт. Им вполне достаточно тех пустых и неосмысленных обозначений, которые способны всего лишь вызывать одинаковые ассоциации у читателей, как и у них самих. Всякое прямое постижение – это notus calor, когда словесные коннотации оставлены открытыми, чтобы каждый читатель мог воспользоваться собственным прошлым опытом, так сказать, заполняя смыслом эти лакуны. Это способ простой, хотя, правда, ненаучный. Но ведь литературу читают не с целью

познания, читают ее для того, чтобы снова испытать чувства и ощущения, волновавшие в прошлом. О том, что такое искусство, можно сказать многое и разное, однако в реальной жизни оно по большей части нечто наподобие духовного эквивалента рюмке вина или шпанским мушкам.

Он снова принялся за письма Молиноса с их тесными строчками. «Oira y leera el hombre racional estas espiritales materias. Pero non llegara a comprenderlas»,– прочел он вслух.– Услышит об этом и прочтет, но понять не сможет. А не сможет понять,– он закрыл альбом, возвращая письма Джереми,– в силу вот такого примечательного обстоятельства, даже двух. Либо он в жизни не видал вашего жирафа и, будучи hombre racional, твердо убежден что такого животного нет. Либо же нечто напоминающее жирафа видеть ему случалось, пусть даже не случалось, но есть у него какие-то основания допустить, что жирафы существуют, однако ему непонятны разъяснения специалистов, изучавших этот вид, а непонятны они оттого, что язык, которым принято описывать фауну духовного мира, никогда не бывает точен. Иначе говоря, либо у него не было непосредственного опыта общения с вечным, а оттого нет и веры в то, что вечное не выдумка, либо же в существование вечного он как раз верит, однако полной невнятицей остаются для него слова, при помощи которых вечное пытаются описать те, кто с этим вечным соприкасался. Хуже того, когда сам он заговорит о вечном – а такое желание у него возникнет, чтобы поделиться своим опытом, с другими, или затем, чтобы самому лучше их понять, подразумевая человеческие мерки,– так вот, когда он сам об этом заговорит, дилемма возникнет перед ним тотчас же. Ибо он неотвратимо ощутит, что существующий язык никуда не годен и тогда останется, логично рассуждая, одно из двух: хранить молчание или же изобрести собственный специальный, усовершенствованный словарь, некое, если позволено будет так выразиться, дифференциальное исчисление вечного, некую особую алгебру духовного опыта,– но беда в том, что, даже если он ее изобретет, для непосвященных останется абсолютно невнятным этот предмет. Это с одной стороны. А с другой, надо же принять во внимание, как много таких, кто не чувствуют несовершенства бытующего языка или же, чувствуя, исполнены иррациональной веры, будто инструмент, который, они сами это знают, неисправен, все-таки сработает. Эти вот люди упорно пользуются бытующим языком,

а выраженное ими – это ведь ясно – обречено оставаться более или менее непонятным для остальных. А как оно станет понятным, если используемые слова не соответствуют тому, что должны обозначать? Почти все это слова, почерпнутые из обихода будничной жизни... Но ведь язык обыденной жизни обозначает почти исключительно явления, относящиеся к области сугубо человеческого. И что же происходит, когда словами, позаимствованными из этого языка, пытаются выразить явления из сферы духовной жизни, из сферы опыта, который вне рамок времени? Ну, это уж всякому должно быть ясно: сказанное никто не понимает, говорящий выразит то, чего выражать не намеревался.

– Вы бы пример привели,– прервал его Пит.

– Пожалуйста,– откликнулся мистер Проптер.– Возьмем слово, чаще всего употребляемое во всех возвышенных писаниях: любовь. Что такое любовь, если оставаться в пределах человеческого? Да что хотите: от материнской любви до маркиза де Сада.

Джереми опять с горечью подумал об участи «Ста двадцати дней». Неслыханно! какая наглость...

– Мы ведь даже неспособны выразить самые простые разграничения, как у греков: erao – не то же самое, что philo, eros не есть agape. Для нас все это любовь, и только, неважно, какая она – жертвенная или порабощающая, чего в ней больше – дружеского расположения, страсти, самоубийственного безумия. Просто любовь,– повторил он.– Идиотское слово! Даже ограничиваясь сферой человеческого, сколько в этом слове двусмысленного! А уж если его отнести к явлениям из сферы вечного, так хоть караул кричи. «Любовь к Богу», «Бог, возлюбивший нас». «Святая любовь к ближнему». Мы о чем, собственно, ведем тут речь? И разве такая любовь имеет что-то общее с чувством матери, которая дает грудь младенцу? с переживаниями Ромео, который крадется в комнату Джульетты? с тем, что испытывает Отелло, душащий Дездемону? с обольщениями ученого, поклоняющегося своей науке? с пафосом патриота, готового жизнь отдать за свою страну, да, отдать жизнь, но и отнять ее – опять же ради своей страны – и мародерствовать, и лгать, и жулить, и мукам обречь многих, все ради нее одной? Что, действительно все это можно назвать одним и тем же словом и его же использовать когда, допустим, вспомнится, как Будда любит все живое? Ведь ясно, что ни

малейшей связи тут нет. В сфере человеческого любовью именуют чрезвычайно несродные духовные состояния и поступки. Они во всех отношениях друг от друга отличаются, кроме одного: всегда им сопутствует эмоциональная возбужденность и вечно есть элемент неутоленной страсти. А меж тем самое замечательное в опыте человека, приобщенного к истине,– это бесстрастность и незамутненный взгляд. Другими словами, никакой возбужденности, никакого томления.

«Никакой возбужденности, никакого томления»,– повторил про себя Пит, и перед ним неотступно возникла Вирджиния в ее капитанской шапочке – вот она мчится на мотоцикле, вот, не переодевшись, в шортиках опускается на колени перед Святой Девой.

– Когда что-то с чем-то не совпадает, нужно уметь выразить это словами,– говорил мистер Проптер.– А если выразить это не удается, какое уж там общение. Но нам дела до того нет, мы знай себе долдоним все одно и то же слово, подразумевая вещи самые разные. «Бог есть любовь» – кто этого не слышал? «Любовь» – все равно, что к женщине любовь, или к детям, или та любовь к отечеству, от которой голову теряют. Слово все то же самое, а оттого нам кажется, что и любовь та же самая. И мы со всем благоговением дурачим себя же, воображая, будто Бог – это страсть, только принявшая невероятные размеры.– Мистер Проптер пожал плечами.– То есть сотворяем Бога по нашему подобию. Это нам льстит, а самообольщение, разумеется, притягательнее, чем познание. Оттого-то и вся неразбериха с языком. Если бы вправду захотели понять, что значит это вот слово – «любовь», если бы вдумались по-настоящему, так поняли бы, что оно относится к нашим чувствам, а о Боге сказали бы: тут любовь в какой-то N-ной степени. И хорошо бы сделали: по крайней мере, люди, никогда не прикасавшиеся к вечному, может быть, постигли бы, пусть только логически, что вечное и человеческое – отнюдь не то же самое, с какой стороны ни подойти. Уж это станет понятным каждому, если любовь – наша и та, в N-ной степени – разными словами обозначаться будут. А тогда не так-то просто сделается полагать, как нынче полагают, что Бог – то же, что и мы, только респектабельности побольше, а всего низменного, наоборот, убавлено. Так-то вот насчет «любви» да и насчет всех прочих слов, взятых из будничного обихода, но обязанных выразить жизнь духа. Любых слов – «понимание», допустим, или

«мудрость», «власть», «сознание», «мир», «радость», «свобода», «добро». Все они подразумевают нечто знакомое нам по нашему человеческому опыту. А ведь хотят, чтобы они передавали понятия из области вечного, хотя тут совсем другое. И оттого, пользуясь такими словами, мы просто лишаем понятия смысла. Кончается тем, что никто не в силах уразуметь, о чем вообще ведется речь. Да к тому же не забывайте, что путаница не только из-за этих обидных слов возникает. Ведь, описывая вечное, нередко пускают в ход еще и разные социальные термины, которые отыскались у философов.

– Но вы разве не говорили, что это алгебра духовной жизни? – возразил Пит.– Как раз такой вот специальный, научный язык для этой алгебры и нужен, верно?

– Не алгебра, а только попытка ее создать,– парировал мистер Проптер.– И, к сожалению, очень неудачная попытка. А неудачная оттого, что всю алгебру взяли напрокат из языка метафизики, причем скверной метафизики. Приверженные ей волей-неволей начинают не просто описывать факты, а еще и объяснять их. Объясняют нечто реальное с помощью метафизических сущностей, реальность которых часто гипотетична и недоказуема. То есть факты описывают посредством фикций, созданных воображением; известное стараются объяснить, обращаясь к неведомому. Хотите примеров? Пожалуйста, вот хотя бы – «экстаз». На специальном языке слово это означает способность души отделяться от тела, но при этом, конечно же, подразумевается, что нам известно, какая она – душа, и в каких она отношениях с телом, со всем мирозданием. Или другой пример – возьмем термин, важный для католических мистиков, «внушенное созерцание». Тут приходится допустить, что вне нас существует некто, и этот некто обогащает наше сознание известного рода психологическим опытом. А кроме того, второе допущение: этот некто нам вполне известен. Хотите еще? Прошу вас – ну, хотя бы «единение с Богом». Смысл этого понятия зависит от того, на чем воспитан каждый, кто им пользуется. Для одного оно означает единение с Иеговой из Ветхого Завета. А для другого – единение с тем индивидуально постигаемым божеством, которое признается ортодоксальным христианством. Но возможны и еще разные значения, скажем, как у Экхарта – «единение с безличным Божественным, по отношению к которому Бог ортодоксальных религий есть одно из проявлений

и вместе с тем – явленное ограничение». А если перед нами индуист, он будет подразумевать единение с Ишварой или единение с Брахмой. Но в любом случае имеется в виду какое-то готовое знание относительно природы вещей, которые либо полностью познаваемы, либо – в лучшем случае – постигаются из того опыта, каковой, надлежит думать, и воссоздается этим понятием. Ну вот, теперь мы видим всю дилемму,– заключил мистер Проптер,– и можем удостовериться, что люди, пытающиеся с помощью принятой религиозной терминологии сказать о своем опыте приобщения к вечному, неизменно попадают впросак.

– И как же эту дилемму разрешить? – поинтересовался Джереми.– Может быть, обратиться к профессиональным психологам, которые занимались мистиками и мистицизмом? У них для подобных случаев есть достаточно ясные термины. Вы их почему-то избегали.

– Избегал по той причине,– мистер Проптер повернулся к нему,– по какой не следует, толкуя о красоте, пользоваться словарем профессиональных эстетиков, ни разу в жизни не посетивших картинную галерею.

– Значит, по-вашему, они не ведают, о чем говорят? Мистер Проптер усмехнулся.

– Я бы выразился иначе,– сказал он.– Они говорят лишь о том, что ведают. Но то, что им ведомо, не стоит и разговора. Потому ведома им лишь мистическая литература, но не сам мистический опыт.

– Стало быть, дилемма из неразрешимых,– объявил Джереми. Глаза за стеклами очков моргнули; он улыбался с блаженством ребенка, наслаждающегося маленькой шалостью, увенчанной каким-то злым триумфом.– А как бы замечательно было все-таки разрешить ее тем ли, иным способом! – продолжал он.– Тогда весь мир делается таким славным, таким, знаете ли, уютным местечком, когда все пути заблокированы; спасающим человечество некуда больше спешить, и стало быть, надо свернуть полковое знамя, а медные щиты отправить на переплавку. Приготовиться к атаке, воинство Христово! Легкая кавалерия, выдвинуться на фланг! Вперед! Но какое там вперед, вы, оказывается, просто без толку топчетесь на месте, круг за кругом, этакий хоровод слепцов или там гусениц Фабра [52], что

[52] Фабр, Жан Анри (1823–1915) – французский энтомолог.

ли. Блистательное зрелище, восторг да и только за ним понаблюдать.

Тут мистер Проптер расхохотался, уже не сдерживаясь.

– Жаль, что настроил вас так мирно,– сказал он.– Но, на радость ли, на горе, дилемма тем не менее может быть решена. Причем практически. Каждому дано в этом убедиться на самом что ни есть практическом опыте. Ну, вроде как всем нам дано убедиться, что наверху висит «Распятие Святого Петра» работы Эль Греко,– вызывайте лифт и поднимитесь в зал, только и всего. Боюсь, правда, что в разрешимости этой дилеммы убеждаться придется, обойдясь без лифта. На собственные ноги расчитывая, ни на что больше. А уж лестница, будьте уверены,– добавил он, взглянув на Пита,– крутая, ступенек в ней не перечесть.

Доктор Обиспо потянулся, вынул из ушей концы стетоскопа и засунул инструмент в карман, где лежали «Сто двадцать дней Содома».

– Что, неважные дела? – с беспокойством спросил мистер Стойт.

Доктор мотнул головой, посылая пациенту одобряющую улыбку.

– Ну, гриппа, во всяком случае, нет, – сказал он. – Всего лишь небольшое усиление процесса в легких. Попрошу вас кое-что принять сегодня на ночь.

Лицо мистера Стойта прояснилось.

– Ложная тревога, стало быть? Хорошо, коли так,– он двинулся к софе, где под картиной Ватто была свалена его одежда.

С козетки у фонтанчика раздался радостный щебет Вирджинии.

– Чудно, просто чудно! – И, слегка посерьезнев: – Ой, дядя Джо, он так меня напугал разговорами про этот ваш кашель. С ума сойти можно.

Дядя Джо расплылся и с видом триумфатора хлопнул себя по груди так сильно, что почти женские, волосатые бугорки затрепыхали, как студень.

– Полно тебе. Со мною все в порядке, ты не думай,– самодовольно сказал он.

Потягивая из стаканчика, Вирджиния наблюдала как он влезает в рубашку, затягивает галстук. На ее невинном юном личике была написана безмятежность. Однако мысль, никак не

отражавшаяся в чарующем ее взгляде, работала лихорадочно. «Похоже, звоночек прозвенел? – вертелось у нее в голове.– Выходит, так, да и близко совсем». Ей вспомнилось, как переполошил ее внезапный звук подъехавшего лифта, неистовый надвигающийся топот по коридору, и в груди опять кольнуло от страха пополам с весельем – все-таки успела, одурачила его, как маленького. Такое чувство бывало у нее в детстве, когда затевали прятки под вечер. Звоночек прозвенел, совсем близко. А Зиг молодчина! Ни на секунду не растерялся! Тут же стетоскоп из кармана вытащил – соображает, нечего сказать. Потому все и обошлось. Не догадайся Зиг эту трубочку свою достать, дядя Джо уж точно закатил бы сцену, ревнивый он, ужас прямо. А в общем-то какое он право имеет ревновать, рассуждала Вирджиния, все сильнее ощущая себя обиженной, никакого у него права нет. Подумаешь, ну почитали кое-что вместе, всего-то. И кто это сказал, что девушкам такие книжки читать не положено! Тем более и книжка-то французская. А сам он, дядя Джо то есть, он кто такой, чтобы про нравственность талдычить? Накидывается на всякого, кто анекдотик расскажет, всего только анекдотик, а сам он вон чего вытворяет да еще от других требует, чтобы они как в детских сказочках выражались, выдумал тоже, что я в обморок свалюсь, если кто при мне словечко соленое обронит! Да еще запретил, строго-настрого запретил, чтобы я говорила, кто я на самом деле такая. Куколку, понимаете, из меня делает, а мне, может, и не хочется совсем. Это что же выходит, я, значит вроде как Дейзи Мей из того комикса, а он тогда Крошка Эбнер и спасает меня, когда я почти погибла. Вообще-то было со мной такое, спорить не стану, он как раз тогда и появился, а если бы не тогда, так зачем бы он мне и нужен был, я бы в жизни себе такого не простила. Да, было, чего уж там, только вышло-то все не по моей охоте, ну знаете, случается, можно сказать, он меня просто изнасиловал, тот тип, ладно, не изнасиловал, но попользовался, что я совсем глупа была, ни о чем таком понятия не имела, а в клубе «Конго» купальничек на меня надели совсем крохотусенький и ничего больше, один крем да пудра. Ой, как мне все это противно было, глаза выплакала, а тут дядя Джо и возникни, и сразу все по-другому сделалось. Вдруг Вирджинию осенило: хорошо, пусть он меня за таковскую держит, тогда зачем ни с того ни с сего в четверть восьмого заявился, он же предупреждал, что раньше восьми не вернется? Ишь, шпионить за мной начал, старый

хрыч! Он что, поймать ее на чем нехорошем надеется? Ну, этого она не допустит, напрасно дожидается; так ему и надо, что Зиг сегодня про всякие штучки ей читал. Сам напросился, нечего тут инспекции устраивать да принюхиваться, меня за руку не схватишь, не надейся. А если он и дальше так будет, сегодня же велю Зигу, чтобы он каждый день заявлялся и по главе из книжки этой переводил. Надо же, и вот так целых сто двадцать дней, с ума сойти можно, это кто же такое вынесет, разве один только француз этот, который книжку написал. Да тут же за первую неделю столько всякого понакрутили, а она еще воображала, будто про эти дела ей все на свете известно. Правильно сказано: век живи – век учись. Хотя, уж если по-честному, не всему такому ей и научиться хотелось бы. Там, в книжке этой про такое написано, что случается, тошнить начинает. Ужас прямо! Все равно, что в родах корчиться! (Она содрогнулась от отвращения.) Хотя есть и смешные места, очень смешные. Одно особенно она даже Зига перечитать заставила, так ей понравилось И еще была забавная страничка, ну вот когда девочку...

– Малышка! – окликнул ее мистер Стойт, застегивая последнюю пуговицу на жилете.– Ты что-то неразговорчивая нынче. О чем задумалась, а?

Вирджиния, улыбаясь, скривила по-детски припухшую верхнюю губку, и сердце его переполнилось нежностью, страстью.

– О вас, дядя Джо, о ком же еще!

## 13

Пусть мысль высокая меня не посетила –
От этого, душа, утрат не понесешь.
Ведь Авраама длань весь день меня хранила,
И благодать того лишь осенила,
В ком Бог всегда, хоть сам не сознаешь.

– Может, не такая уж и высокая, зато тонкая, вот это вне сомнений,– вслух сказал Джереми. Всего бы точнее определить так: прозрачная. Смысл и недоступен, и отчетлив – словно видишь насекомое, застывшее в янтаре. Впрочем, какое еще там насекомое, просто янтарь, и вот он-то – истинный смысл.– Джереми взглянул на часы. Без трех минут полночь. Он

захлопнул Вордсворта – какая досада, ах ты, Господи, ну какая же право досада, вот бы сейчас полистать «Фелицию»! – положил книгу на столик в изголовье, снял очки. Глаза, лишившиеся шести с половиной нужных диоптрий, сразу же наполнились отчаянием: чисто физическое ощущение. Стекла стали для этих глаз необходимостью; без очков они были вроде пары медуз, которых выбросили на берег. Тут погас свет – словно кто-то из жалости перенес этих медуз в аквариум.

Джереми вытянулся под одеялом, зевнул. Слава Тебе, Господи, наконец-то до постели добрался. Благословенье и на него снизошло-таки со златых небес. Подумать только, простыни не шелковые, обычный хлопок – никогда бы не предположил, в таком-то дворце! Куда ни ткнись, то Рубенс, то Эль Греко, а белье самое обыкновенное. Это «Распятие Святого Петра» – поразительная вещь. Уж никак не хуже «Успения», которое в Толедо. От него, может, теперь одна копоть осталась. Вот оно чем кончается, когда к идеям начинают относиться уж слишком всерьез. Ладно, что поделаешь, а старикан Проптер все-таки занятный тип, хоть и помешался на своей философии, подумалось вдруг ему,– этакий мистер Объективистер. (Уже было решено, что в письмах матери он его так и станет называть – мистер Объективистер.) Похоже, есть в нем что-то от Старого Морехода [53]. Этакий гость на свадьбе, который ни с того, ни с сего принимается рвать на себе волосы среди общего веселья; кстати, ему бы это делать почаще, раз уж он положил себе за правило намеренно глумиться над приличиями, а заодно и неприличиями, над обыкновенными слабостями людскими /вроде пристрастия к «Фелиции» или визитов на Мейда-Вейл дважды в месяц по пятницам/. Надо признать, надругается он, черт бы его побрал, не без блеска. Не только насквозь тебя видит моряцкими глазами, а к тому же он еще тот самый фагот, которому так хочется внимать. Слушаешь его, слушаешь, и даже спорить не тянет, хотя, само собой, никто ему не позволит сокрушать приличия и неприличия, с которыми каждый на свой лад сжился. Еще не хватало, чтобы религия, нет, нет вы подумайте, не что иное – религия посягнула на святая святых твоей частной жизни! Дом англичанина – его крепость, а оказывается, для некоторых англичан крепостью может стать и

[53] Герой баллады английского романтика С. Т. Колриджа (1772–1834).

американский дом, он это сразу понял, как только справился с первоначальным шоком. Да, это его духовная обитель. Потому что дворец этот воплощает собой ни к чему не стремящееся мирочувствование безумца. Никаких тебе сложностей и забот, ничто никуда не устремлено, все дилеммы только усугубляются и усугубляются, не разрешась ничем, а ты знай себе совершаешь круг за кругом и приходишь к тому же, с чего начал, совсем как эти фабровские гусеницы в своей замкнутой и такой уютной вселенной,– вот и ты так же ползаешь среди архивных бумаг, и маршрут известен: Святой Петр – безделка Буше – Джанболонья – позолоченные будды – павианы – маркиз де Сад – Св. Франциск из Саля – Фелиция – и тем же порядком назад, пока не доберешься до Святого Петра. По кругу, по кругу, все та же гусеница, внедрившаяся в сознание безумца, по кругу, по петелькам уютных бесцельных идей, и чувств, и поступков, вглубь герметически закупоренного сосуда где хранится искусство, и знание, и культура во имя самой культуры, и всеми принятые приличия, равно как неприличия, и безвыходные дилеммы, и проблемы морали из вполне разрешимых, только не надо разрушать по окружности построенную стену, за которой укрылось безмыслие.

По кругу, по кругу – кровоточащие ступни Святого Петра, пухленькая попочка на картинке Буше, краснозадые павианы, чудные спирали, в которые с изяществом китайских рисунков завивается одеяние будд, песенки пересмешника в небесной выси, и снова ступни Святого Петра с торчащими в них гвоздями... Дремота уступила место сну.

На том же этаже главной башни Пит Бун даже и не пробовал заснуть, напрягаясь в попытках осмыслить происходившее днем. Все смешивалось – речи мистера Проптера, роль науки, и социальная справедливость, и вечное, и Вирджиния, и антифашизм. Голова шла кругом. Ведь если мистер Проптер прав, придется по-новому оценивать почти все. «Беспристрастное искание истины»,– вот как отвечал он на вопросы, зачем посвятил себя биологии (если уж приходилось, когда пристанут с ножом к горлу,– он всегда смущался такими разговорами). А его социалистические взгляды – они затем, что надо «защитить человечество», испытав «счастье единения с большинством», помогая «прогрессу»,– само собой, биология таким взглядам способствовала, ведь к счастью, к прогрессу ведет наука вкупе с социализмом. А пока не наступило

всеобщее счастье, да и прогресс подзадержался, остается верность выбранному тобой Делу. Ему вспомнилось, что о верности своему Делу писал Джосайя Ройс,– на первом курсе их заставляли читать этого автора. Что-то в таком духе: людей, не изменяющих своему Делу, ждет вознаграждение, им открывается нечто наподобие религиозной истины, их посещает самое настоящее озарение. Тогда мысль эта его просто потрясла. Как раз в ту пору он покончил с легендами про Кровь Агнца, на которых его воспитывали, нуждался в какой-то новой истине, и вот она пришла, дав ему чувство, что. собственно говоря, он тоже обладает верой, хотя давно уже не переступал порог храма,– а верой для него стала преданность Делу. И друзьям, этому же Делу посвятившим себя. Верующим он неизменно ощущал себя и там, в Испании. Свое чувство к Вирджинии он тоже воспринял как чувство верующего. А теперь получается, что, допустив правоту мистера Проптера, надо признать все эти ройсовские славословия верности полной чепухой. Потому что религиозным откровением верность одарить не может. Наоборот, способна помешать такому откровению, да что там способна, обязательно помешает, если она обращена на что угодно, кроме высшего из всех человеческих устремлений, а это высшее устремление, если согласиться с мистером Проптером, так гнетуще, так ужасающе далеко от всех человеческих тревог. Просто страх берет, и все равно, чем больше он думает о высшем устремлении, тем сомнительнее начинает ему казаться все иное. Но наверно, выше его и вправду ничего нет. Но в таком случае и социализм, значит, недостаточен? А недостаточен оттого, что недостаточно все относящееся только к человеческому. Выходит так, что истинное счастье вовсе не там, где его надеются обрести, и достичь его невозможно, посвятив себя тому, что избирает большинство, ну, скажем, социальным реформам. Тут в лучшем случае можно достичь только одного – облегчить путь туда, где обретается истинное счастье. И все это, понятно, касается не только социализма, но и биологии, вообще науки, понимая ее как средство прогресса. Ведь, если согласиться с мистером Проптером, то, что именуют прогрессом, на самом деле никакой не прогресс. Верней, прогрессом быть не может, если не помогает людям в их движении к тому, что есть истинное счастье. Так что лучше хранить верность высшему, что существует на земле. А раз так, дважды подумай, прежде чем

славить науку за то, что она движет прогрессом. Ну хорошо, но ведь есть же беспристрастное искание истины? Однако опять-таки, если согласиться с мистером Проптером, то биология и все прочее оказываются беспристрастным исканием не всей истины, только малой ее части. А частичная истина – та же ложь, и ложью она останется, сколько ни доказывай себе и другим, что это вся истина и есть. И значит, подобное оправдание тоже не годится, или нет, годится, но только в том случае, когда со всей беспристрастностью ищешь и другую правду, такую, которая откроется, если служить высшему, что существует на земле. Хорошо, но как же тогда его любовь, с тревогой спрашивал он себя, его Вирджиния? По логике мистера Проптера получается, что и любовь эта недостаточна. Мало того, она может даже помешать в служении высшему Подумать только! – ангельская ее кротость, и эти глаза и чудесная эта улыбка, все, оказывается, только помеха для таких стремлений, и даже само его чувство к ней и вообще любовь, пусть такая, чище которой не бывает (а другая ему ненавистна – какая мерзость был тот бордель в Барселоне да и тут, дома не сказать, чтобы лучше, вспомни-ка, как тискают женщин после трех-четырех коктейлей, чем занимаются, припарковав машину к обочине),– да, и самая чистая любовь способна стать помехой, даже хуже, чем та другая, наспех. «Не смог бы, милая, любить тебя всем сердцем, иным заботам сердца не отдав». Пока что иными заботами для него были биология, социализм. И вот оказывается, что он не то выбрал, а поскольку отдавался выбранному без остатка, ошибка стала почти непоправимой. Никакая верность Делу сама по себе не благо, и религиозным откровением она не вознаградит – вознаграждает лишь преданность высшему устремлению. «Не смог бы, милая, любить тебя всем сердцем, стремленьям высшим сердце не отдав». И тем не менее, вот – самый мучительный из вопросов,– можно ли отдать сердце высшему устремлению и при этом любить Вирджинию, как он ее любит? Земная любовь – она, конечно, несопоставима с этой любовью к высшему. Да, это так, ведь земная любовь означает лишь физиологическую страсть, а разве не говорил мистер Проптер, что преданность высшему требует позабыть про все, что волнует лишь тебя самого? А все-таки не может быть такого, чтобы любовь к высшему совсем уж ничего общего не имела с земной любовью. Ладно, пусть эта любовь означает одну только физиологическую страсть. Ужасно, но признать это приходится;

однако же, ведь и любовь к высшему на той же физиологии держится, только – в том-то суть – не на ней одной, потому, что пробуждает в душе все самое лучшее, эту вечную неудовлетворенность и тоску, эту бесконечную нежность, и восторг, и чувство счастья, и боль, и ощущение своего одиночества, и жажду познать себя, быть верным себе. Вот именно, познание себя и, тем самым, верность себе, а это познание, эта верность – они и есть истинная, высшая любовь, то, что называют романтикой и чем дорожат больше всего на свете. Познание себя и верность себе, но ведь нельзя быть верным и себе, и в то же время высшему, что существует на земле. Понятно, какой отсюда вывод. Но выводов Питу ужасно не хотелось. Ах, эти ее прозрачные бездонные глаза, пленительная детская улыбка! Боже, какая она прелесть, а уж понимает все на свете – просто чудо какое-то! Вспомнился их разговор перед обедом. Он спросил, прошла ли у нее головная боль. «Тихо, пожалуйста, тихо,– прошептала она,– а то еще дядя Джо услышит, расстроится. А тут еще из-за меня ему волноваться. Ну, побаливает голова, что с того?» Какая деликатность, сколько естественности, и о себе вовсе не думает, только о других, девочка моя ненаглядная! Весь вечер так мило со мною болтала, про работу мою спрашивала и о себе рассказала, о своем доме в Орегоне, я тоже вспомнил Эль Пасо, рассказал ей кое-что про своих. Потом пришел мистер Стойт, уселся рядом – вид мрачнее тучи и все молчит, как воды в рот набрал. Пит тогда взглянул на нее, поймал ответный взгляд – «Уходите, прошу вас»,– а когда он прощался, она опять подняла на него глаза, и такое в них было виноватое выражение, такая благодарность, понимание такое, нет, она просто изумительна, столько нежности в ней, столько чувства, вспомнил вот сейчас, и слез не удержать. Он лежал в темноте, рыдая от счастья. Та ниша между окнами в спальне Вирджинии предназначалась, конечно, для книжных полок. Но книги ее не особенно интересовали, и нишу переделали, превратив в маленький алтарь. Только отдерни коротенькие занавески из белого бархата /спальня вся была в белом/, и вот она – Пресвятая Дева с букетиком искусственных цветов в руках: задрапирована в настоящий шелк, на голове чудненькая такая корона из золота, ожерелье – шесть рядов мелкого жемчуга – на шее, а свет так устроен, что видна каждая складочка. Облачившись в пижаму из белого шелка, Вирджиния босиком подбежала к этому

кукольному святилищу и вознесла, опустившись на колени, свою вечернюю молитву. Сегодня – так ей показалось – Дева взирала на нее особенно ласково, любовно. Выговаривая давно затверженные покаяния и мольбы, Вирджиния думала: завтра прямо с утра схожу в мастерскую, попрошу, чтобы сделали Деве новый наряд, пусть то голубое платье перешьют, которое на прошлой неделе она в Глендейле купила, чудненькая парча, и стоило-то всего ничего. Голубая парча, а спереди золотая застежка, нет, не застежка, лучше пусть золотой шнурочек продернут, чтобы можно было бантиком завязывать а концы опускать до самых ступней Девы. Чудно, просто чудно все получится! Прямо с утра этим займусь, обязательно.

Отзвучала последняя молитва, Вирджиния, перекрестившись, поднялась с колен. Господи, вот ужас-то! – случайно она заметила, что на двух пальцах левой ноги чуть облупился лак цикламенового цвета. Тут же усевшись на пол у постели и вытянув ногу, Вирджиния начала приводить ногти в порядок. Открыла бутылочку с лаком, вооружилась кисточкой; кошмарный запах ацетона – прямо как фабричная труба задымила! – перебил аромат духов «Потрясение», которыми она была пропитана насквозь. Кисточка нанесла первые мазки – Вирджиния нагнулась совсем низко, и две пряди каштановых волос выбились из-под заколок, упав ей на лоб. Она нахмурилась, взгляд больших голубых глаз приобрел сосредоченность. От напряжения высунулся кончик розового язычка, прикушенный зубками. «А черт!» – вдруг вырвалось у нее: мазок получился слишком длинным. И тут же зубки опять сомкнулись.

Первый слой лака был положен – она отставила кисточку, давая ему подсохнуть, и принялась внимательно изучать собственную левую лодыжку. Опять появились, волоски, ну как назло, значит, снова надо будет мазаться воском. Задумчиво поглаживая лодыжку, она вспомнила ушедший день. Этот вот звоночек, прозвеневший для дяди Джо,– так близко, страх подумать! А Зигу хоть бы что, тычет туда-сюда стетоскопом да кривит губы, словно ему Бог весть как смешно. Вообще-то правильно она сделала, что разрешила ему почитать из той книжки, дядя Джо сам виноват. Только Зиг очень уж наглый, дочитает главу и давай к ней приставать, ну и ладно, пусть дядя Джо не шпионит, вот ему за это. А на Зига она жуть как обозлилась. Вообще-то он ничего такого особенного не делал, а

дядя Джо так и надо (хотя вообще-то она только потом поняла, что он сам во всем виноват), и ей, если уж честно, эти приставания вообще-то нравятся, он ведь жутко красивый, Зиг, а дядя Джо – да уж какое там, лучше бы он и не старался, для него же самого лучше, он, если честно, вообще-то жуть какой противный, кого другого ни возьми, любой его забьет, а если собой недурен, так прямо красавец становится, когда дядя Джо рядом. А все равно на Зига жуть как обозлилась, хотя вообще-то ничего он такого не сделал. Просто вел себя противно. Все над ней смеется, все подшучивает. Вообще-то почему не пошутить, когда ее касается. Но раз ухаживаешь за девушкой, шуточки свои оставь, пожалуйста, я тебе не дешевка какая-нибудь, каких на Главной улице подбирают. Ни тебе поухаживать как следует, ничего, ржет как конь да всякие гадости рассказывает. Может, у них, умников этих, так принято, не знаю, только со мной так не пройдет. И он что, совсем дурак, не понимает, что ли, как дела эти делаются? Читаешь девушке книжку вот такую душистую, ну ясно ведь, ей романтики хочется, а когда красивый мужчина читает, ну вот Зиг хотя бы, так особенно. И чтобы настоящая романтика была, как в кино, луна там, музыка, свинг или еще что, может, даже песенка какая про несчастную любовь /очень приятно про разбитое сердце послушать, когда у самой все хорошо/, и чтобы тебе нашептывали всякие красивые слова, и целоваться, целоваться, а уже потом, потом, но только чтобы этого вроде как совсем не заметить, чтобы все непонятно как вышло и чтобы Дева на тебя не сердилась, потому как ты и не виновата ни в чем... Вирджиния глубоко вздохнула, закрыла глаза; вид у нее был безмятежный – не лицо, а лик серафима. Еще один вздох, она встряхнула головой, нахмурилась. А Зиг тоже мне хорош, сердито подумала она, ни о чем таком и не побеспокоился, испортил все своими шуточками гнусными да приставаниями, прет напролом, дурак. Никакой тебе романтики, вот теперь злюсь на него, и больше нечего. А зачем? – с горечью думала она.– Мне, что ли, злость эта нужна, а уж ему тем более другое надо.

Лак, похоже, высох. Нагнувшись, она подула на ногти и стала наносить второй слой. Вдруг она почувствовала, как за спиной у нее открылась и тут же бесшумно затворилась дверь.

– Дядя Джо? – спросила она, не отрываясь от ногтей, и в голосе ее послышалось легкое удивление.

Ответа не последовало, лишь слышались приближающиеся шаги.

– Дядя Джо? – тут она отложила кисточку и обернулась. Рядом, буквально вплотную к ней высилась фигура доктора Обиспо.

– Ах, это вы, Зиг! – голос ее стал совсем тихим.– Вам-то что тут понадобилось?

Доктор одарил ее улыбкой, в которой смешались восхищение, ирония, благожелательность и похоть.

– Решил, надо нам продолжить французский урок.

– С ума вы сошли! – Она взглядом указала на дверь.– Он же вон там, сразу через прихожую. Вот войдет сейчас...

Улыбка доктора стала нескрываемо насмешливой.

– Ну, о дяде Джо волноваться нечего,– сказал он.

– Да он вас своими руками задушит, если сюда придет.

– Не придет,– ответил доктор.– Я ему ампулу нембутала перед сном впрыснул. Он и Страшный Суд теперь проспит.

– Жуткий вы тип! – сердито сказала Вирджиния, но не смогла сдержать смеха, вообразив, как дядя Джо похрапывает по соседству, а Зиг сейчас еще ей почитает ту книжку.

Из кармана был извлечен молитвенник.

– Прошу вас, не отвлекайтесь от трудов своих,– доктор откровенно дразнил ее нарочитой обходительностью.– Ах, дамские заботы, нет им конца. Продолжайте, прошу вас, незачем обращать на меня внимание. Я просто посижу рядом, почитаю,– и, перелистывая книжку, он присел на краешек кровати в стиле рококо.

Вирджиния собралась было запротестовать, выгнать его немедленно, однако не нашлось нужных слов, нужда более неотложная заставила ее с новой энергией заняться ногтями на левой ноге. Лак лег неровно, тут же надо поправить, ведь ужас просто, если так застынет. Лихорадочно макая кисточку в пахнущий ацетоном флакон, она трудилась с неистовым рвением Ван Эйка, выписывающего мельчайшие штрихи «Поклонения Агнцу».

Доктор Обиспо оторвался от книги.

– Наблюдал сегодня, как вы держитесь с Питом, и просто восхищен,– сообщил он.– За столом так замечательно глазки ему строили, старик чуть не закипел от ревности. Хвалю, вы истинный мэтр. Или лучше сказать – мэтресса?

Вирджиния разжала зубки, чтобы выговорить со значением:

– Пит просто замечательный.

– Но глупенький,– уточнил доктор, изящно и с потрясающе наглой безмятежностью человека, чувствующего себя вполне дома, вытягиваясь на постели. – Не оттого, что так сильно влюбился.– Короткий смешок.– Олух несчастный, вбил себе в голову, что вы самый настоящий ангел, слетевший с небес, порхаете на крылышках, и арфа имеется, и жемчужина на месте, настоящая, восемнадцать каратов, швейцарское производство. Ну не идиот, сами посудите.

– Дождетесь вы у меня,– сказала Вирджиния, грозно, однако не подняла головы,– наступил решающий миг, когда родится ее шедевр.

Доктор пропустил угрозу мимо ушей.

– Похоже, я недооценивал важность гуманитарного образования,– заметил он, помолчав.– Но теперь оценю его по-настоящему.– И, придав голосу торжественное звучание, словно он был Уиттьер [54], декламирующий собственные строфы, доктор принялся вещать: – Откровения великой литературы! Истины, кои вековечны! Нетленная мудрость пламенных слов!

– Ой, помолчали бы вы! – взмолилась Вирджиния.

– Сколь многим, бесконечно многим обязан я гению Данте, прозорливости Гёте! – продолжал доктор патетически.– Вот снова перед взором моим Паоло, читающий Франческе. И, позволю себе напомнить, этим кое-чего достигающий. Ну, как же, как же: «Noi leggevamo un giorno, per diletto, di Lancilotto, come amor lo strinse. Soli aravamo e senz' alcun sospetto».

«Senz' alcun sospetto» [55], – с чувством повторил он, всматриваясь при этом в гравюру из «Ста двадцати дней».– Заметьте, оба и не предполагают, что последует дальше.

– Да ну вас к дьяволу,– воскликнула Вирджиния, опять положив слишком густой мазок.

– И близость дьявола ими тоже не предполагалась,– гнул свое доктор Обиспо.– А ведь, собственно говоря, напрасно они такую беспечность проявили. Подумали бы, скажем, хоть о том, что могут внезапно умереть, а Дьявол тут как тут. Души их к

---

[54] Уиттьер, Джон Гринлиф (1807–1892), американский поэт.

[55] В досужий час читали мы однажды
О Ланчелоте сладостный рассказ;
Одни мы были, был беспечен каждый.
Данте, «Ад», песнь V, *пер. М. Лозинского*

себе и утащит. Всего-то две-три простые предосторожности, и все бы с ними было в порядке – что в этом мире, что в лучшем. Могли бы друг другом наслаждаться, пока братец где-то там околачивался, а уж затем покаялись бы померли в святости. Правда, им, беднягам, «Фауста прочесть не судьба была, вот жалость. А то бы научились снотворным порошком избавляться от родичей, когда те некстати оказываются. Хотя и то сказать, а где бы порошок взяли, нембутала-то в те времена не было в аптеках. Из чего следует, что гуманитарного образования все же недостаточно, надо и наукам учиться. Данте и Гёте наставляют нас на истинный путь. А уж какому-то там профессору фармакологии остается только объяснить, как успокаивают таблеткой-другой веронала старого брехуна – пусть немножко в коме поваляется. Ногти были закончены. Все так же вытягивая по струнке левую ногу, чтобы ни к чему не прикоснуться, пока лак не подсох, Вирджиния повернулась лицом к своему гостю.

– Я вам запрещаю называть его старым брехуном,– решительно объявила она.

– Не буду, не буду. Тогда, может, старый пердун?

– Да он в тысячу раз лучше, чем вы, вам таким никогда не сделаться! – выпалила Вирджиния, и в словах ее чувствовалась искренность.– Он чудесный, вот вам!

– Чудесный так чудесный,– откликнулся доктор Обиспо.– А вот мы минут через пятнадцать займемся известно чем.– Хохоча, он нагнулся и подхватил ее за руки, чуть ниже плеч. Вирджиния вскрикнула, попробовала вырваться, но тут же раздалось предупредительное:

– Ноготочки!

Из страха мигом испортить свой шедевр она замерла. Пользуясь ее замешательством, доктор склонился над нею еще ниже, преодолел ударивший в ноздри запах ацетона и упивался теперь восхитительной линией ее шеи, ароматом «Потрясения», этой теплой плотью, твердевшей под его губами, этими шелковыми волосами, закрывшими щеки. Осыпая его неслышными проклятиями, Вирджиния яростно мотала головой, пыталась уклониться. Но вместе с негодованием поднималась в ней и усиливалась нота покорности, овладевая всем ее существом.

Доктор поцеловал ее за ушком. «Рассказать,– шептал он,– как у нас сейчас все будет?» «Грязная обезьяна»,– прошипела

она в ответ. Не обращая внимания, он принялся рассказывать – в подробностях, во всех деталях.

Пятнадцать минут еще не истекли, когда, открыв глаза, Вирджиния увидела прямо перед собой Деву, кротко улыбающуюся среди цветов в своем кукольном домике, который сиял единственным ярким пятном в комнате. С горестным воплем она вскочила, голышом подбежала к алтарю и задернула занавеску. Свет отключился автоматически. Вытянув руки, Вирджиния в кромешной тьме ощупью вернулась к постели.

# Часть II

## 1

«Какие у меня новости? Самые разные,– писал Джереми матери три недели спустя.– Полно новостей, и все такие стародавние. Прошу, вот тебе новенькое, ну хоть о втором графе. Он, оказывается, был поэт; проиграет сражение и тут же за стихи, пока Карл I не пошлет его проигрывать следующее. Стихи, разумеется, никудышние (сама знаешь, на тысячи виршеплетов хорошо, если один настоящий поэт отыщется), но вдруг попадаются недурные строки, хотя с чего бы – ума не приложу. Вчера отыскал я у него такое четверостишие:

Свет догорающей свечи
Пускай угаснет поскорей.
Любовных ласк взыскуй в ночи –
В кромешной тьме они нежней.

Как мило, а? Жаль только, что пока это единственный перл, который мне удалось выловить, разгребая кучи шлака. Ах, если бы ему был дан талант молчания. Увы, поэтам вечно его недостает – и скверным, и талантливым. Не умеют они вовремя заткнуть фонтан, как выражаются у нас здесь, в Западном полушарии. А как было бы замечательно, если бы талантом молчания не обделила природа Вордсворта, и Колриджа, и Шелли!

Пятый граф меня тоже удивил, когда отыскалась вчера тетрадка, заполненная разными его записями. Я ее полистал и пока отложил (сначала разборку и опись закончу, а там уж можно будет посидеть над документами), но сразу видно, что записи презанятные. Вот, пожалуйста, на первой же странице: «Лорд Честерфилд пишет Сыну, что Джентльмен никогда не разговаривает с собственным лакеем или даже с уличным нищим d'un ton brusque [56], но «холодно поправляет первого, а второму отказывает со всей сострадательностью». Его светлости следовало бы пояснить, что существует Искусство, посредством коего подобная холодность способна ᵣзвить столь же

[56] Резким тоном (*франц.*)

болезненно, сколь Гнев, равно как Сострадательность обращается им в Оскорбление.

Сим Искусством, замечу далее, возможно пользоваться не только противу лакеев и нищих. Зачерствелость чувств причиной тому, что его светлость не упомянул, сколь приложимо оно в делах Эроса, ибо там в особенности потребно Искусство с бестрепетностью выводить из душевного равновесия преданную тебе Даму и унижать ее Достоинство, сохраняя ту bienséance [57], коя подобает истинно безукоризненному Джентльмену».

Неплохо сказано! Буду для тебя выписывать все любопытное, что в этой тетрадочке обнаружится.

Что до новостей текущих, они достаточно разнородны, странны и не совсем приятны. Начать с того, что все последнее время дядя Джо пребывает в раздражении и мрачности. Боюсь, причиной этому зеленоглазое чудище, так как синеглазое (разумею мисс Монсипл, Малышку) с некоторых пор чарует своими взорами юного Пита. Пошло ли у них дальше взоров, не знаю, но похоже, что пошло, поскольку на лице синеглазого чудища постоянно читается рассеянность, некая отрешенность от всего и поглощенность собой одной, какая обычно свойственна деве, изможденной чрезмерными любовными утехами. Этакая в ней, знаешь, изысканная одухотворенность, как на картинах прерафаэлитов. Посмотришь – и ни тени сомнения не останется: Бог, безусловно, существует. Только вот костюмы ее портят все впечатление. Уж коли ты прерафаэлитская Мадонна, так наряжайся соответствующе: пусть будут ниспадающие рукава, квадратная кокетка, длинный такой шлейф из бархата фирмы «Либерти». А когда Мадонна щеголяет вот хоть как сегодня, в белых шортах, блузке в горошек и ковбойской шляпе, сама понимаешь, чепуха какая-то выходит. В оправдание Малышке – не хочу порочить ее честь – должен подчеркнуть, что все сказанное лишь мои догадки, гипотеза, и не более. Выражение духовной просветленности, какого я прежде никогда у нее не наблюдал, очень может быть, вовсе не оттого, что ее утомили любовные труды. Хотя все говорит против подобных предположений, но вдруг Малышку вдохновили откровения мистера Объективистера и она теперь

[57] Благопристойность (*франц.*)

погрузилась в вечное самадхи [58]. Хотя я ведь сам видел, как она перемигивается с Питом. А самое главное, дядя Джо относится к ним двоим с явным недоверием, на нас же остальных чуть не рычит. Я, само собой не составляю исключения. Со мной он держится, пожалуй, даже особенно резко, поскольку, что поделаешь я прочел больше книг, чем все прочие, а оттого сделался олицетворением Культуры. Культура же, незачем объяснять, у него вызывает ненависть прямо-таки татарскую. От татар он отличается только тем, что памятники Культуры предпочитает скупить вместо того, чтобы предать огню. Обладать, а не разрушать – вот так у него проявляется презрение к просвещенности, к одаренности; просвещенных и одаренных он предпочитает, оплачивая их услуги, оскорблять, не рубя голов. (Впрочем, скорей всего рубил бы, когда бы мог – как татары.) Пишу я все это вот к чему: за вычетом тех часов, которые отданы сну или сидению над бумагами Хоберков у себя в подвале, я вынужден непрерывно выслушивать вздор да еще делать вид, будто мне очень весело, и, стараясь отвлечься от скверных манер дяди Джо, утешать себя размышлениями о всякой ерунде да о собственной зарплате. Тоска зеленая, но, по счастью, все же переносимая, да и Хоберки всегда меня утешат, за все вознаградят.

Вот так идет у нас жизнь эротическая, а также культурная. Что касается научной жизни, тут тоже есть кое-то новенькое, а именно: существенно возросли шансы, что мы теперь будем жить долго, как крокодилы. Пока я для себя еще не решил окончательно, хочу ли уподобиться крокодилу. (Написав это слово второй раз, Джереми вдруг почувствовал укор совести. Матери исполнится в августе семьдесят семь. Под ее светскостью и лощеностью, под искусством непринужденности в легкой, изящной беседе таилось неуемное желание продлить свои дни. О неотвратимости собственного скорого исчезновения она упоминала с достаточным самообладанием, случалось, даже подшучивала над предстоящей кончиной и ритуалом похорон. Но Джереми-то знал, что за этими шуточками и беспечными разговорами скрывалась твердая решимость держаться до последней возможности, сохранять, пока останутся хоть какие-то силы, свой обычный порядок жизни, отвергая старость, не признавая, что конец уже совсем невдалеке. Его иронические

[58] У буддистов – состояние высшей собранности и гармонии.

замечания про крокодилов ей, наверное, будет больно читать, решит еще, чего доброго, что он над нею глумится, делясь своими сомнениями, стоит ли продлевать назначенный человеку срок. Джереми взял новый листок, решив переписать весь этот пассаж.)

Вот так идет у нас жизнь эротическая, а также культурная, писал он. Что касается научной жизни, rien de nouveau за вычетом того, что Обиспо наглеет день ото дня, хотя какая же тут новость, он наглец прирожденный. Что и говорить, пренеприятный для меня тип, хотя, признаюсь, он не лишен достоинств в моменты, когда приходит охота позубоскалить. Долголетие, судя по всему, становится у нас первой темой в любом разговоре. Старик Парр и графиня Десмонд – они наши главные герои.

Спросишь: а как жизнь религиозная? Да неплохо, тем более что мистер Объективистер оставил попытки обращать в свою веру остальных – меня, во всяком случае. Хвала Всевышнему! ибо Объективистер, вообще говоря, человек замечательный, но только когда слезает со своего конька. Странностей у него, правда, более чем достаточно, причем он эти странности сознательно одну с другой сочетает, словно опытная кухарка, пекущая яблочный пирог. Его умению вести интеллектуальные разговоры можно бы позавидовать: утешаешься, однако, тем, что, переняв такое умение, сам окажешься безликим и никому не интересным. Человеку, выучившемуся стоять на голове, нечего завидовать бегунам, которым по силам марафон. Уж лучше какая-нибудь маленькая литературная диковинка в руках, чем три «Критики чистого разума» в поднебесье.

Наконец, два слова о жизни домашней, и коснутся они твоего последнего письма из Граса. Какое чудесное письмо! Про мадам де Виллемболь ты рассказываешь с наблюдательностью, достойной Пруста. А уж описание поездки на мыс д'Эль и дня, который ты провела в обществе Княгини (верней, того, что от Княгини осталось) и се pauvre Huniadi [59] – об этом скажу одно: не уступает Мурасаки, целая трагедия, а воссоздана так, словно в фарфоровую чашечку величиной с цветок магнолии плеснули две-три ложки янтарного чая,– и ничего более не требуется. Чудо литературного вкуса и какой урок для меня! Я-то – счастье еще, что только в письмах, –

[59] Этого бедного Униади (*франц.*)

имею склонность чрезмерно носиться с собой. А ты в литературе истинная весталка, и убеждаясь в этом, я стыжусь себя.

Ну вот, кажется, все сказал – помнишь, в моих письмах из школы всегда были эти слова, причем крупными буквами, чтобы заполнить полстраницы, не меньше. Все сказал, само собой, кроме несказанного, – сказать о нем не пытаюсь, ты и так знаешь».

Джереми запечатал свое послание, написал адрес – Араукарии, мать уже вернется из Граса, пока письмо пересечет океан,– и сунул конверт в карман. Бумаги Хоберков, разложенные вокруг, требовали его внимания, но он решил еще немножко побездельничать. Опираясь локтями о стол, точно бы в готовности произнести молитву, он задумчиво почесывался обеими ладонями,– у корней еще остававшихся волос были сухие наросты вроде маленьких пятен, и Джереми доставляло утонченное наслаждение расковыривать их ногтями, а потом осторожно отдирать. Он думал о матери, о том, до чего странно выходит, вот он столько читал про Эдипов комплекс, читал все эти романы, и «Сыновей и любовников» [60], и еще какие-то, где тоже описывалось, как тягостно оказывается неумеренное сыновнее чувство, как угнетает несдержанная материнская любовь,– да, много такого он прочел, и все понимает, и тем не менее остается тем, что есть,– жертвой своей властной, нетерпимой матушки. А может, еще более странно, что и властная матушка прочла немало тех же самых книг, что и она прекрасно сознает, кто она такая, как у нее все получается с собственным сыном. А все равно тоже остается тем, что есть, и держит себя с ним, как всегда держала,– опять-таки все понимая не хуже его самого. (Ага! нарост под правой ладонью поддался. Джереми отколупнул его, вытянул из густой пряди волос над ухом и, когда разглядывал ссохшуюся сыпучую кожицу, вдруг вспомнились павианы. А вообще что тут неожиданного? Истинно беспримесные, чистые наслаждения доставляет все самое простое, ничтожное, рудиментарное, как у животных,– плюхнуться, например, в горячую ванну, или свернуться клубочком на чистой простыне, когда уже вот-вот проснешься, а какое удовольствие отправлять естественные потребности, или

[60] Роман (1913) английского писателя Д.Г.Лоренса (1985– 1930), увлекавшегося фрейдизмом.

лежать на массажном столе, когда тобой занимается настоящий мастер, какое, наконец, удовольствие почесаться всласть, если зудит. Чего тут стыдиться? Стряхнув крошево с ладони в мусорную корзинку, он принялся еще сильнее давить пальцами левой.)

Самопознание недопустимо, размышлял Джереми. Если знаешь, отчего сделал какой-нибудь ляп, глупость какую-нибудь сморозил, значит, уже есть повод за них оправдаться. Вот психоанализ – им оправдывают все, как в былые времена оправдывали верой. Человек постиг отдаленные причины, объясняющие, отчего он стал садистом или скрягой, трепещет перед волей матери или жаждет с нею покончить, как каннибал; стало быть, все в порядке, пусть он так и остается каннибалом или скрягой, тряпкой или садистом. Удивляться ли, что целые поколения молятся на Фрейда, как на идола! У него с матерью все устраивалось вот как: «Кровавый матриархат!» – возвещала, подразумевая себя, миссис Пордейдж, да еще в присутствии директора его школы. Или же свои самооправдательные речи произносила в слуховую трубку леди Фредегонд. «Не судите строго состарившуюся Иокасту, у которой уже и сын в годах»,– кричала она ей. А Джереми подыгрывал в этой комедии, со всех ног несся, чтобы не опоздать со своими обязательными для таких бесед шуточками в том роде, что счастлив исполнять собственное назначение преданной сиделки, этакой пожилой девы, которая предпочитает книжки вышиванью,– им любая ерунда сгодится, лишь бы его реплика не замедлила. И старая карга тут же разражалась хохотом заматерелого гангстера да трясла головой, пока, словно кисти катафалка, присланного французским похоронным бюро из дорогих, не начинали мотаться туда, сюда чаечьи перья, искусственные петуньи или еще какие сооружения на ее потрясающе безвкусных шляпах. Да, странно это, думал он, хотя в общем-то разумно, ведь обоим им, и матери, и ему, другого не нужно, лишь бы все оставалось как есть. Почему ей хотелось так вот и разыгрывать матриархат, понятно: королевой быть – не в тягость да и льстит, когда тебе покоряются, выказывают преданность. А зачем он сам старается поддерживать такой status quo, понять труднее, по крайней мере, непосвященным. Хотя, если вдуматься, все логично. Ну прежде всего он к матери глубоко привязан, и пусть отзывается о ней чуть иронично, не совсем серьезно, однако любит-то по-настоящему. Да еще привычка, такая давняя, что мать сделалась

как бы частью его организма, без которой не обойтись,– вроде, что ли, поджелудочной железы или печени. Он даже испытывал к ней чувство благодарности именно за то, что в свое время выглядело, на его взгляд, жестокостью, за которую ей никогда не оправдаться. Ему было лет тридцать, когда он влюбился, думал о женитьбе. Не устраивая никаких сцен, держась исключительно мило что с ним, что с малюткой Эйлин, миссис Пордейдж сделала все, чтобы заставить их расстаться, и это у нее в конце концов получилось – их любовь как-то сама собой истоньшилась и рухнула, словно домик, сгубленный древоточцем. Он тогда ужасно страдал, что-то в нем проникло ненавистью к матери за то, что она сотворила. Но шли годы, и вспоминал он об этой истории все спокойнее, а теперь чувствовал, что он ей искренне признателен за избавление от кошмарного сознания ответственности, которую бы на него накладывала роль главы семейства, от необходимости тянуть лямку ради денег, от постоянного присутствия жены, а та, глядишь, превратилась бы в пышнотелую громогласную матрону, ему же таких женщин переносить всего труднее: с пафосом говорят пошлости, горды собственной недалекостью, и все-то у них безупречно налажено, прямо как в муравейнике, а их доброжелательность пострашней любой нетерпимости. Чудовища, короче говоря. Не поведи себя мать так умно, и сделался бы он теперь мистером Уэлкином, мужем Эйлин и папашей не то трех, не то четырех маленьких Уэлкинов, которые уже в младенчестве, не говорю – отрочестве,– сущие монстры, вроде самой Эйлин, достигшей теперь солидных лет. Что там лукавить, матушка-то правду сказала, в шутку рекомендуясь стареющей Иокастой, поборницей кровавого матриархата; впрочем, Том, его брат, тоже прав был, называя Джереми Питером Пэном и презрительно поминая слюнявчик. А все равно, у него зато осталась возможность читать, что хочет, и писать свои миниатюрные эссе, а всю практическую сторону жизни мать взвалила на свои плечи, так неужели слишком трудно отплатить ей за это преданностью, тем более что она ему не мешает дважды в месяц по пятницам совершать ужасное падение в жалком окружении на Мэйда-Вейл. У Тома-то самого до чего скверно все сложилось, если рассудить. Второй секретарь в Токио, потом первый в Осло и советник в Ла-Пасе; вернулся домой, как видно, навсегда и медленно осиливал иерархические ступени у себя в Форин-офис, занимая

посты все более ответственные, означающие неизбежность все глубже увязать во всяких низостях. Жалованье росло, а моральная безупречность его трудов соответствующе понижалась, и бедняга страдал от этого ужасно, и дошло до того (как раз случился кризис в Абиссинии), что выдержать больше не смог. Предстояло подать рапорт об отставке или пережить нервную депрессию, и тут он совсем неожиданно обратился в католичество. Теперь можно было сложить с себя ношу своей ответственности за всеобщее паскудство, перевязать эту ношу и в упаковке отнести на Фарм-стрит, к отцам-иезуитам. Замечательно устроился! Прямо-таки стал другим человеком! Четырнадцать лет обходился без потомства, и вдруг выясняется, что жена ждет ребенка,– Джереми подсчитал, что зачат младенец был в ту самую ночь, когда испанцы начали Гражданскую войну. В точности так, через два дня после резни в Нанкине Том выпустил книжку юмористических стихов. (Любопытно, очень многих английских католиков тянет сочинять подобные вирши.) Кроме того, он страшно быстро толстел, прибавил одиннадцать фунтов за те месяцы, что прошли между аншлюсом и Мюнхеном. Покрутится еще годик-полтора на Фарм-стрит, и пожалуй, за сотню килограммов потянет да к тому же успеет сочинить либретто для какой-нибудь музыкальной комедии. Нет! – с твердостью сказал Джереми. Решительно – нет! такие вещи просто недопустимы. Уж лучше быть Питером Пэном и всю жизнь не снимать слюнявчик, и предаваться позорному падению в той крохотной квартирке. В тысячу раз лучше. Хотя бы только в эстетическом отношении, ведь какая жуткая безвкусица вот так вот ожиреть из-за своих политических страданий да пописывать дурацкие стишки на обороте церковных обращений с распятием на лицевой стороне в верхнем углу. Впрочем, не в одном лишь эстетическом отношении лучше, но и в этическом тоже, ведь старикан Объективистер прав, несомненно: не уверен, что помогаешь добру, так хотя бы не твори зло. А несчастный Том трудится, как бобер, рук не покладая, и, став папистом, сделался беспечен, словно жаворонок, хотя в его положении как раз вот и причинишь страшнейший вред великому множеству людей.

(Еще один нарост расшатался. Джереми вздохнул, откидываясь на кресле.)

Да, почесываешься себе, как павиан, заключил он· живешь, опекаемый мамочкой, хоть тебе уж пятьдесят четыре; с

эротикой у тебя все, как у подростка, и так же нечисто; работу твою даже величайшими усилиями воображения не изобразить как необходимую, как полезную. Но достаточно сравнить с другими, с тем же Томом, а если угодно – и с самыми выдающимися, с самыми могучими людьми, с министрами, например, или стальными магнатами, епископами, знаменитыми писателями,– и получится, что не так уж у тебя все скверно. Если исходить из негативных критериев безвредности, получается, что ты на зависть благополучен. И, взяв все это в соображение, приходишь к выводу, что беспокоиться-то особенно не о чем и незачем. Джереми сделал этот вывод и вернулся к Хоберкам.

## 2

В то утро Вирджиния спала почти до десяти, а затем, приняв ванну, позавтракав, повалялась еще часок,– с закрытыми глазами, замершая на горкой сбившихся подушках, выглядела она прелестной юной пациенткой, которую медики только что извлекли из долины теней.

Из долины теней, долины смерти, где тлену обречено все – великое, эфемерное. Смерть есть преображение. Жаждущий спастись да расстанется с жизнью своей. И к этому люди стремятся день за днем – расстаться с жизнью, плоской, бессмысленной, бесчувственной жизнью, которой поглощены, оставаясь заурядными людьми. Тысячами способов добиваются они избавления от такой жизни. Существует для этого азарт игры или евангелистские радения, существует мания скопидомства и честолюбия и патологическая страсть; когда все не подходит, существуют – взамен – кабак, и запойное чтение, и морфий, и грезы наяву; или иллюзорный мир, даруемый кокаином, кинематографом, ритуальным действом; или эпилептическая одурь политики, эротики, сексуальных наслаждений; или ступор, добываемый вероналом и усталостью на пределе. Бежать от себя, забыть свое прежнее, надоевшее «я», сделаться кем-то другим, а еще лучше, не кем-то, о чем-то – просто неким телом с необычным устройством, с повышенной чувствительностью, или же неким безличным состоянием, своего рода сознанием, лишившимся всего индивидуального. О, какое это счастье, какое высвобождение и блаженство! Даже для тех, кто прежде и не догадывался, что в их ситуации то ли,

иное высвобождение необходимо. Вирджиния тоже была из таких, жила в скудных своих пределах и оставалась счастливой, не умея достаточно себя понять, чтобы открылись ей ущербность и неполноценность собственной ее личности или коренная порочность самого состояния, в котором обретается человек. Но когда доктор Обиспо, безошибочно все просчитав, устроил ей бегство в эпилептическое забытье эротики, исступленной и сожигающей, какой она никогда прежде не знала, даже вообразить не могла,– когда это случилось, Вирджинии, наконец, стало понятно, что и в ее жизни было нечто, жаждущее высвобождения, а оно, высвобождение, как раз и требовало такого вот безоглядного акта: через посвященность во властное, мощное, совсем ей чужое сознание в темную пропасть беспамятства.

Но, как всякий наркотик, будь то морфий или книги, могущество или овации толпы, пыл наслаждения имеет свойство лишь усугублять то самое состояние, от которого на миг избавляет. Наркомана влечет в долину теней, где предстанет ему собственная мимолетная смерть, и влечет неутомимо, отчаянно влечет в жажде отыскать иное, что не будет им самим, но будет совсем на него не похожим и лучшим, чем убогая жизнь, которая уготована ему, пока он заурядная личность, обитающая в ничтожном мире людском. Влечет вниз, а там – насилием ли, пленившей ли его инерцией – он умирает и преображается, но мимолетно это умирание и преображение эфемерно. За мимолетной смертью приходит мимолетное воскресение – он очнется от сна сознания опомнится от горячки, уничтожившей его личность, и тут возвращается скорбное чувство одиночества своего слабости и ненужности, возвращается, только усилившись, понимание отделенности ото всех, а понимание истинной своей природы становится еще непереносимее. И чем оно непереносимее, это понимание своей природы, своей отдаленности ото всех, тем настоятельнее потребность в новом опыте того же рода,– мимолетная смерть, эфемерное преображение. Наркотик высвобождает, но только острее делается боль, которая к освобождению взывала.

Откинувшись на подушки, Вирджиния мучилась воскресением, которое со светом дня настало для нее после ночного странствия по долине теней, где смерть столько у нее отняла. Познав эпилептическое состояние, когда была чем-то иным, теперь она совсем становилась собой, и оживала прежняя

Вирджиния, да, конечно, потрепанная, конечно, отупевшая от усталости, преследуемая воспоминаниями о приключившемся и ощущениями, захлестнувшими ее с головой, но все равно прежняя, которая восхищалась дядей Джо, радуясь его удачам, и полна была благодарности ему за свою чудесную, чудесную жизнь, которая всегда смеялась, и ни о чем не тревожилась, и считала весь мир замечательным, та Вирджиния, которая заставила дядю Джо соорудить грот, а Деву свято почитала с самого детства. И вот теперь она предает бедного своего, милого дядю Джо, не просто соврала ему раз-другой по мелочам, такого с кем не случается, нет, она его совсем по-настоящему предает, и бедного Пита тоже. То и дело затевает с Питом всякие разговоры, строит глазки (ну, уж как получается, не очень-то хорошо теперь это у нее выходит), а особенно кокетничает с ним в присутствии дяди Джо, чтобы Зиг вне подозрения остался. Хотя, если бы дядя Джо его заподозрил, она не то чтобы горевала. Да чего там, радовалась бы только, если бы дядя Джо заехал ему по челюсти да выставил вон. Еще как радовалась бы! Но вот ведь какая штука, она пока все делает, чтобы Зига покрывать, а Пит, дурачок несчастный, совсем уж уверился, что она по нему с ума сходит. Предательство, и больше ничего. Предательство. От этой мысли она места себе не находит, даже разучилась смеяться надо всем, хотя всегда умела, и что теперь ни сделает, сразу начинаются сомнения, чувства всякие, уговариваешь себя, что больше никогда в жизни, а все равно опять то же самое делаешь, хотя, с другой стороны, она же не по своей воле, ее Зиг заставляет, ах, какой он противный, особенно с разговорами своими жуткими, циничный – ужас просто, мало того, что заставляет, так еще непременно ему надо объяснить, да напрямик, как это он ее опять заставил и почему она сопротивляться не смогла. А она все это опять и опять делает потому еще, что так легче не думать, отчего с самого начала его не выгнала. Но потом каждый раз ей плохо бывает. Так плохо, что силы нет Деве в лицо посмотреть. Вот уж больше недели не раздвигались белые бархатные занавесочки, закрывавшие кукольное святилище. Ну, не может она их раздвинуть, не смеет, потому как знает наверняка: если занавесочки отдернуть и на колени перед Девой стать, сколько ни клянись, все одно – клятвы не сдержит. Только Зиг, чудовище это, к ней явится, и она уж голову теряет – ноги как ватные, бессилие полное, и мигнуть не успеешь,

снова та же история. А если бы она Деве поклялась, что не допустит такого, еще ужаснее было бы. Уж лучше никаких клятв не давать – пока, во всяком случае, надо в себя придти, вот тогда, может, она клятвы свои сдержать сумеет. Не вечно же все так останется, не допустит она, чтобы у нее каждый раз ноги подгибались. Настанет день и, собравшись с силами, пошлет она Зига ко всем чертям. Вот тогда Деве она свои обеты даст. Только тогда, а сейчас не стоит.

Вирджиния, приоткрыв глаза, с тоской взглянула на нишу между окон, на занавески, скрывающие ее самое дорогое,– чудную эту маленькую корону, жемчужные инкрустации, накидку из голубого шелка, кроткий лик, прелестные крохотные руки. Она издала тяжелый вздох и в изнеможении снова смежила веки, пытаясь уговорить себя, что засыпает и возвращается к ней счастливое забвение, от которого против ее воли заставили пробудиться утренние лучи.

## 3

Мистер Стойт провел это утро в Пантеоне «Биверли». Ехать туда ему не хотелось, он испытывал ужас перед кладбищами, включая принадлежащее ему самому.

Но все касающееся денег священно, и бизнес – это долг, когда надо пожертвовать любыми личными побуждениями. А это разве не бизнес? Пантеон «Биверли» являлся одним из самых дорогих земельных участков по всей стране. Землю покупали в годы Большой войны по пятьсот долларов за акр, а теперь благодаря усовершенствованиям (дороги, маленькие тадж-махалы, колумбарии, скульптуры) цена акра поднялась до десяти тысяч, продавали же ее по сто шестьдесят тысяч – столько и набиралось, когда акр заполнялся могилами, а заполнялось кладбище с такой быстротой, что затраты по Пантеону уже полностью окупились и теперь шла чистая прибыль. Причем возрастать эта прибыль будет пропорционально росту населения Лос-Анджелеса. А оно растет, да еще как,– процентов на десять ежегодно, самое же главное, что растет оно преимущественно за счет удалившихся от дел стариков, которые сюда переселяются из других штатов, то есть именно тех, кому предстоит обеспечить Пантеону самые близкие денежные поступления. Оттого, когда Чарли Хабакук позвонил с просьбой срочно приехать, чтобы обсудить

безотлагательные дела по расширению и обустройству территории, мистер Стойт счел, что отказ был бы морально недопустим. Подавив неприязнь к таким поездкам, свой долг он исполнил. Все утро они, покуривая сигары, просидели в кабинете Чарли на самом верху Башни Воскресения, и Чарли, взмахивая коротенькими ручками, выпуская из ноздрей клубы дыма, все говорил, говорил – о Господи, ну и манеры же у него! В точности как у тех в красных фесках, которые пристают к тебе с уговорами купить восточный ковер, мрачно размышлял мистер Стойт, да Чарли и на вид вроде этих продавцов, разве что питается лучше, ишь, жирок накопил.

– Ладно, хватит про всякие там сделки,– громко проворчал он, теряя терпение.– Позабыл, что ли, кто тут решает?

Чарли взглянул на него с недоумением и обидой. Сделки? Но он ведь совсем не про сделки. Он про дело, самое серьезное дело в его жизни. Ведь Пантеон его детище, он, собственно, и придумал всю эту затею. И маленький Тадж-Махал придумал, и Часовенку Поэта; партию статуй из Генуи приобрел – со скидкой – тоже он, и он же первым ясно сформулировал, что необходимо добиться, чтобы погребальный ритуал приобрел эротическую притягательность, а всем попыткам внедрить на кладбище символы старости и горя сопротивлялся решительно,– никаких чтоб не было напоминаний о бренности, никаких мук Христовых. Ему за свою идею побороться пришлось, критиковали его да как, но ведь теперь доказано, что прав-то он был. Пусть сколько угодно сетуют на то, что нигде в Пантеоне не сыскать распятия, лучше бы в бухгалтерские книги заглянули, мы цифры ни от кого не прячем. А мистер Стойт бурчит про какие-то сделки. Ну, а как иначе-то, коли спрос на участки в Пантеоне огромный, так что вскорости придется все тут менять и расширять. Чтобы просторно стало, прикупить земли и надо строить, всякие новые штуки вводить. Мы растем и совершенствуемся, мы знаменуем прогресс, у нас обслуживание безупречное. В Башне Воскресения, на самом ее верху Чарли Хабакук развертывал свои проекты. Новая территория пойдет под Уголок литераторов, открытый для всех истинных писателей, правда, составителям рекламных объявлений придется отказать, а жаль, люди они в основном денежные, с них можно было бы и побольше попросить за привилегию покоиться поближе к сочиняющим для кино. С другой стороны, сценаристы бы обиделись: как же так, Уголок

литераторов называется, а хоронят всяких рекламщиков. А надо учесть, что в кино загребают всего больше, намного больше других... так что ввести ограничения будет разумно, заключил Чарли, вполне разумно. Само собой, в Уголке литераторов должна быть точная копия соответствующего участка Вестминстерского аббатства. Малый Вестминстер – недурно звучит, очень даже. Поскольку все равно требуется построить два-три новых крематория, их лучше всего соорудить тут же, у Домика настоятеля. В крипте будет автоматический проигрыватель со специально подобранными мелодиями, нам давно пора разнообразить свой музыкальный репертуар. Этот наш «Вурлицер» не то чтобы людям поднадоел, о нет, им нравится. Но все-таки замечают некоторую монотонность. Вот ему и подумалось, не стоит ли записать какой-нибудь хор, который исполняет гимны и все такое, а между номерами там-сям давать записи проповедника, читающего всякие возвышенные тексты, ну, скажем, сидит человек в Саду созерцания, слушает несколько минут «вурлицер», а потом вступает хор и поет «В минуту трудную меня он не оставил», а вслед за тем приятный какой-нибудь голос, Бэрримора или еще чей, прочтет, допустим, гиттисбергскую речь Линкольна, или стихи: «Улыбкой день встречай, и день улыбкой отзовется» – или, не знаю, наставления миссис Эдди, Ральфа Уолда Трайна, все равно что, лишь бы звучало вдохновенно Да, а теперь вот надо продумать его идею насчет катакомб. До такой блестящей идеи он, честное слово никогда еще не додумывался. Подведя мистера Стойта к окну, смотревшему на юго-восток, Чарли указал на зубчатые вершины хребта, взмывавшего вверх за долиной где между правильными рядами кипарисов тянулись ряды могильных памятников, изваянных под античные образцы. Вот здесь, с горящим взором говорил он, в этой вот горе посередине мы прорoем туннель. Сотни ярдов в длину, не меньше. Закрепим бетоном, чтобы никаких землетрясений не бояться. Получатся уникальные катакомбы, лучшие в мире. И в них маленькие часовенки вроде римских. А по стенам фрески, только обязательно, чтобы с виду были как старинные. Они недорого обойдутся, если пригласить этих штукарей из государственных художественных мастерских. В живописи они, понятно, ни черта не смыслят, но это неважно, нам искусства не требуется, просто чтоб выглядело под старину. К тому же в катакомбах будут пользоваться только свечами и фонариками,

электрического освещения вообще не будет, исключительно на входе и на выходе, а остальное пусть остается в темноте – петляющие коридоры, лестницы, а также что-то наподобие большой подземной церкви, где надо поставить статую обнаженной, только покрупнее, на выставке в Сан-Франциско такие были, и они с радостью продадут за тысячу, меньше даже, как только выставка закроется,– этакие девахи в современном стиле, мускулы везде выпирают,– ну вот, посередке нужно будет такую девку водрузить, а вокруг нее фонтанчики, фонтанчики, причем с розовой подсветкой, тогда статуя совсем как живая получится. Да люди со всей Америки поедут на этакое посмотреть. Ведь пещеры – для туристов они самый сладкий мед. Вспомнить хоть Карлсбад с его гротами или все эти лабиринты в Виргинии. Хотя там ни фресок нет, ничего, просто щель в горе да кустики вокруг. А у нас настоящие катакомбы будут, вот именно, сэр, катакомбы, в таких христианские мученики скрывались,– да, кстати, хорошо, что вспомнил! Давай-те Часовню мучеников оборудуем, и там поставим группу – девушки нагие, лев, который их сейчас растерзает. Распятие – оно никому не нужно, а вот на такую штуку еще как клюнут!

Мистер Стойт слушал его нахмурившись и с явным неудовольствием. Пантеон и все с ним связанное внушало ему отвращение. «Вурлицер», статуи – чепуха все это, как ни верти, а тут об одних горестях думаешь да о смерти, о тлене, о Страшном Суде; его ведь тоже тут похоронят, в Пантеоне, рядом с роденовским «Поцелуем». (Помощник управляющего, хотя никто его об этом не просил, однажды показал приготовленное для хозяина местечко, за что был немедленно уволен; все равно, подобное разве из головы выкинешь!) Страстные рассуждения Чарли о катакомбах и Малом Вестминстере не встретили сочувственного отклика; мистер Стойт лишь похмыкивал да время от времени выдавливал из себя: «Ладно»,– пока дело не дошло до Часовни мучеников. Нет, мысль сама по себе недурна, и публику, уж точно, заманивать не придется. Но он эту идею отверг – из принципа: пусть Чарли Хабакук не воображает, что и впрямь гений какой-то.

– Значит, так: давайте, работайте, планы там, сметы,– сказал он таким жестким тоном, как будто сделал выговор.– Только никаких мучеников. Мученики мне не требуются.

Чуть не плача, Чарли умолял оставить хотя бы льва и всего одну христианскую деву, у которой руки связаны за спиной, ведь веревки, наручники, все такое людей ужасно трогает. Конечно, куда бы лучше, чтобы было две девы, даже три, но уж хоть одну-то обязательно надо.

– Только одну,– приставал он к мистеру Стойту, всплескивая своими коротышками.– Одну, прошу вас.

Упрямо не поддаваясь уговорам, мистер Стойт помотал головой.

– Мучеников тут не будет,– заявил он.– Решено и хватит.– Словно желая подчеркнуть, что решено окончательно, он отшвырнул окурок сигары и поднялся.

Минут через пять после его ухода Чарли Хабакук отвел душу с секретаршей. До чего неблагодарный тип! А глуп-то, поверить трудно! Вот бросит он все это дело к чертям собачьим, наплачется тогда старый кретин! Он ведь без меня шагу ступить не может. Кто, спрашивается, Пантеон этот в замечательное кладбище превратил, которое на весь мир известно? Нет других таких, а кто все сделал? (Чарли хлопнул себя по груди.) А денежки кому капают, не знаете? Да Джо Стойту кому ж еще. Он что, хоть пальцем пошевелил, чтоб дело на ноги поставить? Да бросьте, он тут вообще не при чем. При таком раскладе того гляди в коммунисты подашься. Хоть бы спасибо сказал, черт потасканный, хоть бы словечка доброго от него дождаться. Орет на тебя, как будто ты бродяга какой бездомный. Одно утешение, что-то не больно хорошо он нынче выглядел, старикан наш ветхий. Как знать, мы, может, самого его тут скоро закопаем, вот бы поглядеть! Там вон могилка его будет, в вестибюле колумбария, а я уж распоряжусь, чтоб глубину футов восемь сделали, не меньше. Пусть потяжелей землица придавит, так ему и надо!

Он не только выглядел неважно; откинувшись на сиденье машины, которая везла его через Биверли-Хиллз к Клэнси, он думал: чувствую себя погано, вот уж две недели подряд, а то и три. Погано себя чувствую, с самого утра – тяжесть какая-то, вялость, мозги еле ворочаются. Обиспо говорит, что это вялотекущий грипп, и все заставляет принимать на ночь таблетки, да что-то не очень они помогают. Все равно погано ему. Да еще с Вирджинией одно расстройство. Малышка странная какая-то сделалась, как будто в облаках витает: молчит часы напролет, ничего не замечая, скажешь ей о чем –

вздрагивает, переспрашивает, как не слышала. Держится со всеми так, что тут же вспомнишь рекламные щиты эти: «Не спится? Принимайте экстракт печеночника!» или там: «Инжирный сироп: Аромат Калифорнии»; да он бы ее завалил экстрактами этими, сиропами, но вот толк вряд ли будет, не сиропы тут нужны, а чтобы она Питера Буна, умника этого, к чертям послала. Так нет же, за столом с ним одним болтает, вы бы, мол, ко мне почаще заглядывали, давайте поплаваем вместе, а в микроскоп когда поглядеть позволите? – как же, микроскоп ей, видите, понадобился, откуда любознательность такая, хотел бы я понять. Прямо на шею ему вешается, то-то и оно, И тон у нее такой, каждое словечко как будто сиропом поливает (совсем как на тех квакерских собраниях разговаривали, куда Пруденс таскала его, пока в Христианскую науку не ударилась) – в общем, все к одному ведет. Похоже, втрескалась она в него. Вот с чего бы только, да еще так внезапно? Раньше-то ничего подобного не замечал за нею. К Питу она вроде как к псу своему относилась, крупному такому,– видно, что привязана, но не всерьез же: по голове потреплет, тот и давай хвостом вилять, ну, тогда еще приласкает. Нет, ерунда выходит, ничего не разобрать. Вроде как в него втюрилась, а вообще-то он для нее и не поймешь что – кавалер, что ли, или собака, которая у ног разлеглась. Она и сейчас с ним так держится. Внимание уделяет все время, возится с ним, так с пуделем тоже возятся, он славный такой, мохнатый. Оттого-то он и запутался вконец. Ладно бы она по-серьезному в Пита влюбилась, он бы ей тут такое устроил, наорал бы на них, а мальчишку тут же за дверь выставил. Но из-за пса-то орать не станешь, правда? И чего девочке сцену закатывать, если ей вздумалось с пуделем в микроскоп поглядеть? Даже захоти он, ничего не выйдет, только сам идиотом выставишься. И ничего ему не остается, кроме как мучиться, биться над этим день и ночь, да все без толку. Одно лишь ясно, Малышка очень ему дорога, он и думать не думал, что настолько, вообще не думал, что для него кто-то так много значить может. А началось-то все с того, что он просто почувствовал желание – желание к ней прикасаться, обнимать ее, поглаживать, смотреть, как она ест, и желание усиливалось, потому что такая она была теплая, так хорошо от нее пахло, и молодая она, а он уж стареет, и наивна, сущий младенец, зато он давно всем пресыщен, только наивность и способна что-то в нем пробудить. Да, вот с этого все начиналось, но почти сразу

пошло не как думал. Эта ее молодость, и наивность, и пленительность – они в нем вызывали не только трепет. Уж до того она оказалась чувственная, до того озорная и по-детски капризная, что его едва в слезу не бросало, и хотелось схватить ее крепко-накрепко, да ласкать, ласкать, вот прямо заглотал бы ее всю целиком. Странные она в нем возбуждала чувства – ему с ней было хорошо, ну словно он выпил на славу, но и по-другому хорошо тоже, так хорошо, как бывает, когда службу отстоишь или речь Уильяма Дженнингса Брайена [61] послушаешь, или ребенка несчастного осчастливишь, куколку там какую ему сунув, еще что. Только Вирджиния не просто чей-то там ребенок из тех, кого он в приют устроил, она для него своя плоть, своя собственная. Пруденс рожать-то не могла, ох, и злился он на нее, что было, то было. А теперь рад, что так получилось. Потому как, будь у него дети, он бы к Малышке ничего такого не испытывал. А Вирджиния для него важней, чем родная дочь. Ну вот, допустим, она ему впрямь собственной дочерью приходится, только дочерью, ничего больше, все равно из собственных его детей с нею бы никто не сравнился, куда там, Стойты ведь, чего лукавить, люди простецкие, а Пруденс тоже обаянием не отличалась, хотя, конечно, женщина была добродетельная, может, даже чересчур. Зато Малышка – она прямо совершенство, у нее все ладно так, все толково. Он уж давно забыл, что такое счастье, и тут она ему встретилась. И сразу все для него приобрело свой смысл. Теперь, когда она с ним, он больше не задумывается, зачем это он живет, для чего делами своими занимается. Да вот зачем, вы разве не замечаете, как на ней эта шапочка капитанская смотрится, вы взгляните, как на ней цацки эти, изумруды всякие играют, когда она приоденется,– все киношники на нее за столом глаза пялят.

Но теперь что-то скверное происходит. Украли у него это чувство, что смысл в жизни определенно есть. Малышка сама не своя, отдалилась от него, отгородилась, все куда-то уходит, уходит. А куда? И зачем это она? Зачем ей от него отгораживаться? Он ведь совсем один остается. Совсем один, а он уже старенький, вон она, белая ниша в колумбарии, для него приготовлена, он знает...

---

[61] Брайен Уильям Дженнингс (1860–1925), юрист и политический деятель, известен, в частности, как инициатор «обезьяньего процесса» над преподавателем-дарвинистом.

Что с тобой, Малышка, спрашивал он ее. Много раз спрашивал, и тревожно ему, и худо до того, что даже рассердиться на нее не может, и одиночества своего так боится, тут уж не о достоинстве своем думаешь, правах и прочем, а лишь бы ее удержать, чего бы не стоило.– Что это с тобой?

А она только на него посмотрит так, словно на другую планету ее унесло, посмотрит да выдавит: ничего, мол, все в порядке, зря он за нее волнуется, и помочь ей ничем не поможет да и незачем это, он и так все для нее делает, ей хорошо – лучше он бывает.

Случалось, он поминал Пита (как бы мимоходом, чтоб подозрений у нее не возникло), так она и бровью не поведет, только скажет: да, он славный, очень симпатичный, но до того прост – смех один, а она посмеяться любит.

– Послушай, Малышка, я тебя что-то не узнаю,– говорил он, и голос у него при этом дрожал, до того он себя несчастным чувствовал.– Ты со мной совсем другая стала.

Она же знай одно и то же: ой, что вы, ничего подобного, все, как было.

– Нет, ты меня больше не любишь.

Люблю, говорит. А он ей: нет, не любишь. А она: да бросьте, с чего вы вдруг. И что это он выдумал ее упрекать? В общем-то, права ведь, пальцем не ткнешь – вот, мол, и вот. По правде сказать, она в самом деле держится с ним, как прежде, и целовать себя позволяет, и все остальное. Но все равно переменилась, только вот не выразишь – в чем. Даже выглядит по-другому и держится по-другому и движения у нее другие стали. Он не мог бы сформулировать все это точно, но просто вид у нее такой, будто она не здесь перед твоими глазами, а еще где-то, и там до нее уж не дотянешься, не заговоришь с ней, даже ее не увидишь. Так-то вот. Но всякий раз, как он про это речь заводил, она насмех его поднимала, у вас, говорит, предчувствия всякие, как у женщин, про какие в книжках пишут, только все эти предчувствия вас морочат.

И получалось, что он ходит да ходит по кругу, хочет разобраться, в чем дело, но он не может и лишь изводит себя. Да, изводит, просто болезнь какая-то. С утра теперь приходится долго себя ломать, чтобы тяжесть и лень прошли, а потом набегают разные мысли про Малышку, и до того они тяжелые, что он ни с того, ни с сего то прислугу обругает, то на этого чертова англичанина наорет, то с Обиспо бранится. К тому же

пищеварение у него барахлит. Сердце покалывает, в желудке урчит, а недавно так заболело, он уж думал – аппендицит. Обиспо его успокоить хотел, газы, говорит, только и делов, а причиной его вялотекущий грипп. Тут он совсем из себя вышел, назвал этого Обиспо коновалом паршивым, раз он даже грипп лечить не умеет. Обиспо прямо насмерть перепугался, еще, говорит, денек-два потерпите. Курс надо до конца довести, но уж скоро. Вялотекущий грипп, говорит, особенная болезнь, симптомов вроде никаких, а весь организм отравлен и голова работать отказывается – одна ерунда в башке, а ты из-за нее мучайся.

Может, он и прав вообще-то, но насчет ерунды пусть бросит, никакая тут не ерунда. Малышка – она вправду совсем другая стала, как ему не мучиться, не слепой ведь.

Поглощенный своими лихорадочными тоскливыми мыслями, мистер Стойт катил по петляющей горной дороге; потом, миновав тенистый оазис Биверли-Хиллз, двинулись бульварами Санта Моники на восток – Клэнси жил в Голливуде. Утром этот Клэнси ему позвонил и разговаривал, как всегда, точно заговорщик, целую мелодраму разыграл. Сплошь намеки, недоговорки, измененные имена, и тем не менее, разобравшись, мистер Стойт понял, что дело на мази. Клэнси с командой удалось скупить почти все лучшие участки в долине Сан Фелипе. В другие времена мистер Стойт насладился бы триумфом, но сегодня даже мысль о миллионе, а то и двух, заработанных без больших хлопот, не принесла радости. Так вышло, что его принудили обитать в мире, где миллионы не много-то и значили. Сколько надо миллионов, чтобы печали его оставили? Печали старого, уставшего, опустошенного человека, которого в жизни ничто не занимает, только он сам, и никакой философии у него нет, отродясь не бывало, не ведает он ничего, кроме своих интересов, и ничего не умеет оценить, даже друзей нет, есть только дочка, она же возлюбленная, эта девочка-наложница, внушившая ему страсть воистину безумную и ставшая, вот уж правда, его идолом. До того дошло, что он и в верности ее сомневается, хотя вроде реальных поводов нет, а оттого и не удается испытать облегчение, дав выход обычным для таких случаев чувствам, с упреками набросившись, с гневом, или руку на нее занеся. Исчезал смысл его жизни, и тут он ничего не мог поделать, потому что оказался в ситуации, с которой совладать не умел, оттого и ощущая растерянность,

безвыходность. А где-то на периферии его сознания то и дело возникал тот круглый мраморный зал, где в центре стоит статуя Родена, олицетворяющая страсть, и белая ниша у ног этой статуи,– придет день, и нишу закроют плитой, на которой будет написано его имя: Джозеф Пентон Стойт, даты рождения и смерти. А рядом с этой надписью маячила перед глазами другая, оранжевыми буквами по черному, как уголь, фону: «Страшнее нет, как в длани Господа живого очутиться». Да, а Клэнси что-то там такое нашептывает, давая понять, что победа полная. Славно! Ах, как славно! Стало быть, через год-другой счет его увеличится еще на миллион. Только вот беда: миллионы помещаются в одном мире, он же, обездоленный, затравленный страхом старик, обитает в другом, и нет между двумя этими мирами никакой связующей нити.

**4**

Часа два Джереми Пордейдж трудился, распаковывая ящики, просматривая бумаги, делая беглую их опись и раскладывая по папкам. Нынче находок что-то нет: все какие-то счета, акты, деловые письма. В «Коултон и Тоуни» отослать бы или в «Хэммондс»; ему это совсем не интересно.

К половине двенадцатого чувство скуки стало непереносимым. Он решил сделать перерыв и, чтобы освежиться духом, достал переплетенную в кожу тетрадь, куда вносил свои записи пятый граф.

«Июль 1780,– читал он.– Печаль находится в близком родстве с Чувственностью; кому не случалось видеть, как рыдающая Вдова именно по причине искренности своих Переживаний неспособна делается остановить явившегося на Погребение, когда тот хитроумно и незаметно обращает порыв Сострадания в откровенное Домогательство. Мне и самому довелось посмертно обратить в рогоносцев одного Герцога и двух Виконтов (из коих последний почил всего днем ранее) и насладиться торжеством своим на той самой Постели, где лишь несколько часов назад возлежал усопший, ожидая, когда с почестями перенесен будет в семейный Склеп».

Как специально для матушки моей писано, подумал Джереми. Она такие штучки просто обожает. Передать бы ей этот текст прямо сейчас телеграфом, только очень уж в копеечку влетит.

Он вернулся к тетради.

«Ввиду того, что неожиданно появилась вакансия в моем Приходе, сегодня Сестра моя прислала сюда молодого Богослова, коего рекомендует, в чем на нее можно вполне полагаться, как олицетворение Добродетели. Однако же я не потерплю рядом с собой Пастыря, ежели он не умеет пить, как подобает мужчине, не знает толка в псовой охоте и неспособен возжелать Жен и Дочерей собственных прихожан. Добродетельному Пастырю не дано ни испытать, ни укрепить Веру паствы своей, меж тем как Вера одна сулит нам Спасение, о чем и написал я Сестрице».

Следующая запись датировалась маем 17S4.

«Когда вскрывают старые Усыпальницы, обнаруживают, что своды и стены покрыты слоями некой липкой слизи. Сие есть сгустившийся тлен».

«Январь 1786. Всего только какой-то десяток мыслей, записанных за десяток лет. Коль скоро и далее суждено мне заполнять сию тетрадь столь неспешно, придется пережить патриархов, дабы доведена она была до конца. Достойна сожаления подобная медлительность, однако же утешусь тем, что ближних своих я слишком презираю, чтобы тратить силы на их просвещение либо же развлечение».

Джереми бегло просмотрел следующие три страницы с выкладками хозяйственными и политическими. Кое-что поинтереснее нашлось под датой 12 марта 1787.

«Смерть есть наименее духовное из всех деяний человеческих, она деяние даже более плотское, нежели любовное соитие. Иной раз Агония Смерти подобна корчам на судне, каковым обречены страдающие Несварением. Сегодня я наблюдал, как умирает М.Б.»

«11 января 1788. В сей день пятьдесят лет тому назад явился я на свет. Из одиночества, кое суждено нам во Чреве, судьба переносит нас в одиночество средь Ближних и за ним приходит одиночество Могилы. Жизнь мы проводим в стараниях одиночество умерить. Однако же Общение с другими не есть Слияние. Самое многолюдное сонмище не та же ль дикая пустыня, лишь разросшаяся безмерно? Мы вступаем в Беседу, но так, словно бы говорит темница с темницей, и нет надежды, чтобы сказанное тобой для слушающих значило то самое, что ты желал сказать. Мы сочетаемся брачными узами, и вместо одного одиночества под нашею крышею поселяются два;

зачинаем детей, и в доме нашем становится много одиночеств. Соитие соединяет нас вновь и вновь, однако и соитие не есть Слияние, о нет, никогда! Самая близость оказывается лишь соединением Оболочек; мы спариваемся, подобно ньюгейтским Узникам, кои совокупляются с Блудницами – я сам был тому свидетелем – через прутья тюремной решетки. Наслаждение ни с кем разделить невозможно, равно как Боль; можно лишь вкусить их, лишь самому их доставить или же причинить; и когда мы даруем Наслаждение своим Возлюбленным, когда Страждущим предлагаем свои Милости, удовлетворить стремимся мы отнюдь не свое Человеколюбие, но только себя самих. Ибо Истина заключается в том, что добры мы по той же причине, по какой и жестоки, а причиною служит потребность ощутить собственную Власть над другими и ее усилить, не считаясь хотя бы с тем соображением, что таковые поступки делают нас еще более одинокими. Всем людям без исключения уготовано Одиночество, и нет иного способа умерить его, помимо Забвения, Глупости или Самообмана; однако же ощущение Одиночества у человека пропорционально ощущению его Власти над другими и действительному наличию оной. При любых обстоятельствах чем более велика сия Власть, тем более неотступно сознаем мы свое Одиночество. Жизнь дала мне почувствовать Власть над другими много раз».

«Июнь 1788. Нынче приходил засвидетельствовать свое уважение капитан Пейви, жовиальный толстяк, при всем трепете передо мной не умеющий удерживаться от самой вульгарной Развязности, коя ему соприродна. Я расспросил о последнем Плаванье; он со многими подробностями описал, как размещает Рабов в трюмах, какие использует цепи, чем кормит, описал и прогулки по палубе, устраиваемые, когда море спокойно, хотя в таковых случаях непременно спускают за борт Сеть, дабы отчаявшимся не вздумалось кинуться в волны; выслушал я его рассказ о наказаниях за неповиновение, о стаях голодных акул за кормою, о цинге и прочих болезнях; о том, что, лежа прямо на полу, Негры сдирают кожу до мяса, поелику корабль раскачивает, и они трутся о планки; о Вони до того ужасающей, что даже бывалые матросы, отважившись спуститься в трюмы, лишаются чувств и бледнеют, точно покойники; о частых Смертях, о Язвах, развивающихся с быстротой почти неправдоподобною, в особенности у Экватора, где всегда сырость. Когда он откланивался, я ему подарил

золотую табакерку. Не ожидавший подобных свидетельств моего расположения, он своим хриплым голосом столь усиленно меня благодарил, так заверял, что всегда будет блюсти мои Интересы, что я, едва не оглохнув, поспешил его остановить. Табакерка стоила мне шестьдесят гиней; три последних Плаванья капитана Пейви принесли тысяч сорок с лишком. Власть и Богатство возрастают в прямой зависимости от того, насколько человек удален от непосредственных источников, приносящих богатство и власть. Если для генерала риск составляет один шанс из ста, то для солдата – все сто шансов, тогда как на гинею, заработанную солдатом, приходится сто генеральских. Так же обстоит дело у меня, разумея Пейви и Рабов. Последние обрабатывают Плантации, имея вознаграждением побои да скудный корм; капитан Пейви терпит лишения и опасности Плаванья, а живет хуже любого Галантерейщика или Виноторговца; я ограничиваю свою деятельность распоряжениями Банкиру, и золотой дождь проливается на меня за сии труды. В мире, подобном нашему, человеку предоставлены всего три возможности. Первая: он волен поступать, как всегда поступало большинство, сиречь природную свою низость скрашивать безрассудством, столь же природным,– раз уж он слишком глуп, чтобы мошенничать, не таясь. Вторая: можно следовать примеру тех еще более законченных глупцов, что всячески стараются отречься от собственной Низости, дабы служить Добродетели. Третья: ему дано сделаться существом разумным, сиречь признающим свою Низость и научившимся ею пользоваться себе во благо, поелику самый акт познания оной Низости позволяет возвыситься над нею, равно как над недалекими Собратьями. Для себя я выбрал жребий разумного существа».

«Март 1789. Разум сулит сделать нас счастливым; Чувство отрицает, что сие есть действительно Счастие; а приносит Счастие только Чувственность. Меж тем Счастие – что оно? всего лишь аромат мимолетный».

«Июль 1789. Ежели бы Мужчины и Женщины предавались Наслаждению столь же шумно, как коты, какой Лондонец мог бы мечтать, что хотя бы раз выспится спокойно».

«Июль 1789. Бастилия пала. Да здравствует Бастилия!»

Дальше несколько страниц посвящались французским событиям. Джереми их пробежал. К 1794 году интерес пятого

графа к революции уступил место заботам о собственном здоровье.

«Навещающим меня я сообщаю, что болел, но теперь все хорошо,– писал граф.– Ни слова истины, ибо не я был тот, кто очутился у врат Смерти, и не я теперь поправляюсь. Тот первый был жертва Лихорадки, воплощение Боли и Апатии; а выздоравливает старик, слабый, ссохшийся, утративший желания: я ли это? От Существа, коим я некогда был, сохранились только мое имя да кое-какие воспоминания. Словно бы Некто скончался и завещал еще влачащему свои дни другу две-три дешевые безделки, чтобы тот не забывал Усопшего».

«1794. Состоятельный человек, коего сковал Недуг, схож с раненым, одиноко лежащим среди пустыни Египетской; Ястребы кружат над его головою все ниже и ниже, а Шакалы вкупе с Гиенами все ближе, ближе подползают к нему по пескам. Даже Наследники богатейшего из людей неспособны были бы проявить заботы столь неуспынной. Видя перед собою лицо Племянника и за маскою Сострадания различая нетерпеливую досаду на то, что Смерть все не приходит, хотя ей давно бы пора меня забрать, я испытываю новый прилив Жизненной Силы. И буду жить, хотя бы ради удовольствия лишить его той Радости, каковая по убеждению его (ибо он не сомневается, что Конец моей близок), уготована ему со дня на день».

«1794. Мир есть зеркало, где отпечатлелся лик смотрящего в него».

«Январь 1795. Пытался внять царю Давиду, утешающему слабых и сирых, однако же его слова не утешают. Пламень огня высечь невозможно, возможно лишь его возбудить; когда угасла последняя искра, никакой глас пламя возжечь не сможет.

Вероятно, и вправду, как утверждают Пастыри, мы спасены тем, что Некто принял за нас муку; однако же могу поручиться, что от наслаждения, испытываемого кем-то другим, мне ни тепло, ни холодно,– разве что усиливается чувство Превосходства и Власти, даруемое тем, что это я стал его причиною».

«1795. По мере того, как Радости, даруемые Чувственностью, остаются для нас в прошлом, мы стараемся возместить их утрату тем, что распаляем в себе Гордость и Тщеславие. Желание угнетать не слабеет в стареющем теле, и

когда тело лишается многого, что оно могло прежде, это Желание легко заступает место сделавшихся недоступными Наслаждений. Даже испепеляемый Наслаждением, я никогда не забывал, как сладостно угнетать. Из двух этих Страстей сейчас в преддверии Смерти, тот Фантом, в коий я превратился, вынужденно отдает предпочтение второй, менее вознаграждающей и, главное, намного менее безвредной».

«Июль 1796. Гонистерские пруды копали в эпоху Предрассудков монахи Аббатства, камни коего пошли на строительство ныне стоящего Дома. При короле Карле I мой прапрадед распорядился серебряными кольцами закрепить на пятидесяти крупных карпах изготовленные из свинца Пластины с его инициалами. Не менее двадцати таких рыбин все еще живы, в чем каждый может удостовериться, присутствуя на трапезе Карпов, приплывающих, когда звонят в колокольчик. Приплывают и другие, еще крупнее,– они, должно быть, свидетели далекой поры, когда монахи еще не ведали преследований, кои на их Братства обрушит впоследствии король Генрих. Наблюдая, как носятся Карпы в прозрачной воде, поражаюсь силе и ничуть не ослабевшей проворности огромных Рыб, из коих самые старые жили, вероятно, еще во времена, когда написана «Утопия» [62], а самые молодые – сверстники поэта, создавшего «Потерянный Рай» [63]. Сей Поэт пытался оправдать Деяния Божии, каковыми определены людские пути. Труд его приобрел бы больше ценности, ежели предлагал истолкование Деяний, определивших пути рыбьи. Философы попусту тратили время, отпущенное им самим, равно как их читателям, когда предавались спекуляциям относительно Бессмертия Души; точно так же Алхимики столетиями напрасно хлопотали над ретортами в тщетной надежде отыскать свой Элексир и Камень. Меж тем в любой речонке, в любом пруду встретятся Карпы, пережившие трех Платонов и с полдюжины Парацельсиев. Тайна вековечной Жизни явится не в старых Книгах, и не в расплавленном Золоте, и даже не в Небесах, она явится в тенистом ручье и добудет ее Удильщик из умелых».

В коридоре прозвенел звонок к ленчу. Джереми поднялся, отложил тетрадь пятого графа и зашагал к лифту, молчаливо улыбаясь при мысли о том, с каким наслаждением сообщит

[62] «Утопия» написана Томасом Мором (1478–1535) в 1516 г.

[63] Даты жизни Джона Мильтона: 1608–1674.

этому самонадеянному болвану Обиспо, что все его замечательные идеи насчет долголетия были высказаны еще в восемнадцатом веке.

## 5

В отсутствие мистера Стойта за столом царило буйное веселье. Слуги в охотку занимались своим делом, зная, что их не выбранят. Джереми мог разглагольствовать, не опасаясь оскорбительных замечаний и грубостей. Доктору Обиспо никто не мешал рассказывать историю про трубочиста, поспешившего застраховать жизнь сразу как кончился его медовый месяц, а Вирджиния хохотала во все горло, словно бы на минуту вырвавшись из своего глубокого транса,– это состояние она в себе сознательно поддерживала, чтобы, все свалив на усталость, подавить гнетущие переживания и печальные мысли о происходящем. И хотя вообще-то смеяться ей не следовало бы, не то Зиг вообразит еще, что она на седьмом небе от счастья, но, с другой стороны, не может она удержаться, и почему вообще-то ей сдерживаться, история и правда жутко смешная. А кроме того, надоела ей вся эта комедия с Питом, которую она из-за дяди Джо разыгрывает. Хватит актерствовать. Хоть раз в жизни можно и собой побыть. Только вот беда, уж больно она жалкая, когда самой собой становится: ноги как ватные, стоит только Зигу, чудовищному этому Зигу подойти поближе, клятву Деве и ту исполнить не в силах. Смех ее внезапно стих.

В скверном настроении пребывал только Пит – из-за анекдота про трубочиста, конечно, из-за того, что Вирджинию он так рассмешил, и еще оттого, что пала Барселона, а с нею рухнули его упования на скорый разгром фашистов, на близкую встречу с боевыми товарищами. Мало того. Расстроило его не только, что Вирджиния хохочет над этим дурацким трубочистом, сегодня она вообще огорчает его поминутно. Вот и сейчас – к двум первым блюдам и не притронулась, даже не взглянула. Господи, что это с нею? Он ничего не понимал и оттого мрачнел все больше. Что случилось? Ума не приложить, ведь так все было хорошо последние три недели. С того самого вечера, когда она столь неожиданно покинула их у грота, Вирджиния так чудесно с ним держалась – все время старалась быть поближе, разговаривали они подолгу, она просила рассказать что-нибудь про Испанию, даже биологией

интересоваться стала. Уж чего больше, захотела сама за микроскопом посидеть. От счастья руки его дрожали так, что еле удалось поставить линзы,– он ей собирался кое-что объяснить про кишечную флору карпов. Ну вот, уселась она на его место, склонившись над стеклышком, и каштановые локоны совсем закрыли инструмент, а из-под розового свитера выглянула шея, такая нежная, такая неодолимо манящая,– он призвал всю свою волю, чтобы в обморок не свалиться, до того поцеловать тянуло.

Были потом два-три случая, когда он пожалел, что так и не решился, не дал себе воли. Но, заставив себя вспомнить про свое строгое правило, Пит радовался, что смог удержаться. Ведь нехорошо бы получилось. Конечно, он давно уже не верит в Кровь Агнца, про которую вечно напоминали у него дома, но не забыл рассуждений своей набожной, строгой в таких вещах матери – поцеловать девушку, если с нею не обручен, страшный грех; в душе-то он так и остался ко всему на свете очень серьезно относящимся подростком, тем, кому в беспокойное время созревания проповеди сладокоречивого пастора Шлица внушили страстную жажду остаться чистым юношей, веру, что Любовь есть чувство Священное, и упование на заслуженную чудесную награду, какой станет брак по-христиански. Какое горе, что он пока слишком мало зарабатывает и поэтому не имеет права просить Вирджинию, чтобы она приняла его святую любовь, вступив с ним в христианский брак прямо сейчас. Да еще то худо, что с его стороны христианский брак будет христианским только по духу, тогда как Вирджиния на самом деле принадлежит той церкви, которую пастор Шлиц, случалось, именовал блудницей вавилонской, а марксисты так просто клеймили за то, что морочит пролетариям голову. К нему эта церковь отнесется ничуть не лучше, чем он сам к ней относится: правда, теперь, когда на нее обрушил гонения Гитлер, отношение Пита сделалось терпимее да и не забыл он тех сестер-монахинь, которые его выхаживали в Испании. Самое же главное вот что: даже если каким-то чудодейственным способом удастся преодолеть религиозные и денежные затруднения, есть еще мистер Стойт. Конечно, он совершенно твердо убежден, что для Вирджинии мистер Стойт тот же отец, ну, может, не отец, так дядя, но ничего другого, однако убежденность эта была слишком непоколебимой: Пит желал быть в этом убежден, уподобляясь Дон Кихоту, точно

знавшему, что его картонный шлем сделан из чистой стали. Убежденность была того сорта, когда лучше воздержаться от выяснений, на чем она держится, но, если он попросит Вирджинию стать его женой, от выяснений, а также от всяких подробностей, которые при этом могут обнаружиться, уж никуда не уйти.

И наконец, было тут еще одно осложняющее обстоятельство – мистер Проптер. Ведь если мистер Проптер рассуждает правильно, а к этому Пит склонялся все больше, то ясна неразумность шагов, которые лишь затруднят переход от человеческого к вечному. И хотя Вирджинию он любит, все равно трудно ему поверить, чтобы брак с нею не стал препятствием на пути просвещения его собственного, или ее, или всех других.

Вернее, он в это не верил, однако в последнюю неделю-две стал думать по-другому. А еще вернее, просто не думал про это совсем – слишком растерялся, ничего не мог понять. Потому что к полной неожиданности для него Вирджиния стала другой. Раньше вела она себя совершенно как ребенок, шумный, шаловливый, и вдруг сделалась задумчивой, неприступной, хотя по-прежнему наивной, словно дитя. Она всегда относилась к нему только по-приятельски – трунила над ним, перебрасывалась словечком-другим, вот и все, но с недавних пор все странным образом переменилось. Шуточки кончились, теперь она сделалась серьезной и вроде как начала о нем заботиться. Замечательно с ним держалась, но только не так, как девушки, добивающиеся взаимности. Нет, Вирджиния была ему как сестра, и не просто сестра: почти что сестра-монахиня. И не просто сестра-монахиня: почти что та, которая за ним ходила в том госпитале в Героне, молоденькая такая послушница с большими глазами на бледном овале лица, совсем как рисуют Пресвятую Деву, и всегда-то она светилась счастьем, но не оттого, что так уж ее радовало происходившее вокруг нее, что-то изнутри согревало этот ее необыкновенный, прекрасный взгляд, и когда она всматривалась в себя, ее словно бы уже ничуть не пугали ни воздушные тревоги, ни ампутации. Несомненно, на все она смотрела из вечности, как это называет мистер Проптер, а потому ничто не тревожило ее, как тревожит других, обитающих в человеческом. Этим никуда было не уйти от страха, от гнева, а если они умели владеть собой, давалось им такое самообладание усилием воли. Тогда он просто

восхищался своей сиделкой, не вдаваясь в размышления. Но благодаря мистеру Проптеру, стал не только восхищаться, а кое-что постигать.

Вот ту монахиню и напоминала ему Вирджиния в последние недели. В ней словно бы произошло нежданное переключение, и жизнь внешняя сменилась внутренней, а легкая отзывчивость – сокровенной, таинственной сосредоточенностью. Причина такой перемены оставалась ему недоступной, но сама перемена была очевидной, заставляя с собою считаться. Он и считался – подавил желание ее поцеловать, когда она сидела за микроскопом, даже не позволил себе прикоснуться к ней, взять за руку, хоть словом обмолвиться о своих чувствах. Странные, необъяснимые обстоятельства, которые побудили ее настолько измениться, сделают такой поступок неуместным, да что там, едва ли не кощунственным. Она ему как сестра, она так решила, и это чудесно; стало быть, он с нею должен вести себя как брат. И вот она – непостижимо, без всякого на то повода – словно перестала его замечать.

Выходит, сестра забыла, что есть у нее брат, и сестра-монахиня забылась, до того забылась, что прямо впивается глазами в доктора Обиспо с его похабной новеллой про трубочиста да еще хохочет во все горло. Как вдруг – тут уж Пит совсем перестал что-нибудь понимать – смех оборвался, и опять на лице ее появилась сосредоточенность, таинственная отрешенность. Сестра-монахиня явилась за столом столь же неожиданно, как прежде исчезла. Нет, это выше его сил, он даже предположить ничего не в состоянии.

Принесли кофе; доктор сказал, что, пожалуй, сегодня передохнет, благо в лаборатории все движется своим ходом, может, и Питу стоило бы малость побездельничать. Поблагодарив, Пит сделал вид, что страшно торопится (не хотелось новых унижений, когда Вирджиния, рассуждая, чем бы теперь заняться, опять его как бы не заметит), пробормотал извинения, наспех проглотил кофе и вышел. На улице сияло солнце; он двинулся вниз, в долину.

Вспомнились ему последние разговоры с мистером Проптером.

Про Библию, про самые глубокие места в ней. Вот эти: о «ненавидящих меня без вины» и «Бог поругаем не бывает: что посеет человек, то и пожнет». И про то, что никому не дано обретать, если взамен не вознаграждаешь; что чрезмерное свое

благоденствие, и власть, и наслаждения избыточные человек оплачивает, оказываясь более прежнего замкнут в темнице своего «я»; и что народы, которые стремятся к слишком быстрому прогрессу, не останавливаясь перед насилием, кончают тиранией Наполеона ли, Сталина, Гитлера, тогда как другие народы, процветающие, не ведающие внутренних конфликтов, тоже свое процветание оплачивают, впадая в самодовольство, делаясь снобами, консерваторами – как англичане.

Слышались выкрики и вопли павианов. Пит вспоминал рассуждения мистера Проптера о литературе. Человек с выношенными взглядами скучает над расхваленными критикой романами и пьесами, где только описывают, воспроизводят. Какая тоска все эти бесчисленные толстенные книги, в которых излагаются разные курьезы, или воссоздаются характеры, или описываются приключения, но нет общей идеи, которая бы объясняла, что они такое – и приключения, и курьезы, и характеры. Просто свалка фактов, свидетельствующих, что в жизни есть сладострастие и алчность, честолюбие и трусость, пылкие страсти и чувство долга; да, просто свидетельства, к тому же выдуманные, а никакой философии за ними не стоит, разве что пошлое здравомыслие или какие-то условности, сплетшиеся в систему, любопытную своими локальными особенностями; и сами-то факты излагаются без всякой рациональной последовательности, если за таковую не принимать заботы о связности рассказа. А какой вздор, какой немыслимый вздор несут те, кто берется обнаружить смысл в этом нагромождении приглаженных свидетельств, обнаружить идеи за этими цветистыми фантазиями! Сколько глубокомысленной чепухи наговорено да хоть бы про литературу с местным колоритом,– словно великое достоинство заключается в том, что человек описывает всякие необычные проявления той же алчности, или сладострастия, или чувства долга, а необычны они всего лишь потому, что люди, так вышло, живут в глубинке и говорят на диалекте. Или, допустим, не в глубинке, а в большом городе, но в бедных кварталах,– тогда уж обязательно жди каких-нибудь постмарксистских выкладок, которые не беспочвенны, конечно, однако до конца объяснить ничего не могут. Сколько разговоров про Великий Пролетарский Роман! Или, если не пролетарский, так жизнеутверждающий,– это когда доказывают, что Жизнь,

разумеется, Священна, и значит, совокупляйся с кем ни попадя, пей до одури, круши, что под руку подвернется, нюни распускай, Богу все на свете угодно, и потому все позволено, все есть добро. А критики тут как тут и давай разглагольствовать, какой, дескать, автор глубокий гуманист, как проницателен, сострадателен, вот он, истинный наследник Гёте, вот, наконец, законный восприемник Уильяма Блейка.

Пит улыбался, вспоминая, но было ему и смешно, и стыдно, ведь к разговорам этим он и сам серьезно относился, очень уж они казались значительными, нельзя иначе.

Но серьезность, неуместно проявляемая,– она-то иной раз и порождает самые фатальные наши ошибки. Всерьез надо относиться лишь к тому, что серьезности заслуживает, утверждал мистер Проптер. А в сфере сугубо человеческой ничего такого нет, за вычетом страданий, которые люди друг другу причиняют, впадая в безумство и становясь преступниками. Хотя, если как следует разобраться, и безумства эти, и преступления большей частью оттого и происходят, что слишком серьезно люди относятся к вещам, того не стоящим. И вот это, считал мистер Проптер, еще один ужасный изъян так называемой высокой литературы, она ведь принятую шкалу ценностей признает безоговорочно: почитает власть и положение в обществе, славит успех, а разные – чаще всего сумасбродные – амбиции государственных мужей или, скажем, почитателей Казановы, и героев бизнеса, и мечтателей о карьере, и тиранических родителей изображает так, как будто все это очень разумно. Словом, всерьез трактует не только страдание, но все то, чем страдание порождается. И лишь преумножает наши горести, поскольку открыто ли, косвенно, но оправдывает те чувства, те побуждения, из которых одни только горести и могут проистекать. Причем оправдывает, выбирая для этого слова самые благородные, самые убеждающие. Оттого и выходит, что, читая о вещах трагических, человек более всего зачарован блеском изложения, и хоть все очень скверно кончается, чувство у него все равно остается такое, словно так оно и должно быть, и очень все это достойно и благородно. Хотя на деле-то ничего подобного. Попытайтесь с холодной головой разобраться, о чем, собственно, говорится в «Федре», или в «Отелло», или в «Грозовом перевале», или в «Агамемноне»,– тут же увидите, что сплошь гадость и глупость. Но про гадость эту и глупость написано до того вдохновенно,

что потрясенный читатель, зритель лишь укрепляется в своей вере, будто при всех катастрофах мир в общем-то вполне благополучен, то есть человеческий, чисто человеческий мир, где все такое и происходит. Нет уж, добротная сатира намного, намного правдивее, и, даже спорить не о чем, бесконечно полезнее, чем все выдающиеся трагедии. Одно плохо, настоящая сатира – это ведь редкость, а дело в том, что не много было сатириков, готовых до конца пойти в своем обличении ценностей, признаваемых людьми. Вот «Кандид» – вещь по-своему замечательная, но только в своих рамках, а рамки-то узковаты: развенчиваются типичные устремления человеческие, однако всего лишь с целью достичь идеала, когда такие устремления станут безвредными. Спору нет, для большинства другого и не нужно, лишь бы никто никому вреда не причинял, ведь творить истинное добро способны единицы, а как доходит до зла, тут всякому удержаться трудно, если желание чинить зло возникло. Но ведь и то сказать, безвредность, всего только безвредность – разве она высший идеал? Il faul cultiver notre jardín [64] – не конечное слово мудрости человеческой, разве предконечное, и то в самом лучшем случае.

Солнце стояло так, что, спускаясь по холму, Пит увидел две крохотные радуги, вспыхнувшие между струящимися сосками нимфы Джанболоньи. Подумалось о Ное, о ковчеге, и тут же стала вспоминаться Вирджиния в купальнике из белого шелка. Он постарался отогнать эти видения, так не ладившие с новым, тщательно им лелеемым образом сестры-монахини, и, поскольку потоп как-то не настраивал его на размышление, попробовал, сосредоточившись, восстановить в памяти их с мистером Проптером разговор об эросе. Начался тот разговор с того, что Пит задал давно его мучивший вопрос: что считать нормальной половой жизнью – не в статистическом смысле, понятно, а в том, который подразумевают, говоря, допустим, об абсолютном зрении или о прекрасном кишечнике. Так вот, в половой жизни тоже есть норма, а если да, то какая она? И мистер Проптер ответил: никакая. Не может быть! – запротестовал он. Если даже в области физиологии существует критерий блага, значит, бывает полностью нормальная и естественная половая жизнь, как, к примеру, бывает полностью нормальное и естественное пищеварение. Но половая жизнь

[64] Пусть каждый возделывает свой сад (*франц.*)

человека не то же самое, что его пищеварение, возразил мистер Проптер. Вот когда спариваются крысы – да, это все равно что пищеварение, потому как у них это совершенно инстинктивно происходит, иначе говоря, контролируется только физиологическими факторами, теми же самыми, которые контролируют деятельность сердца, легких или почек, поддерживают нужную температуру тела, приводят в движение мускулы, осуществляют все функции центральной нервной системы. У человека телесное тоже подконтрольно физиологическим факторам, и они так же, как у животных, руководятся критериями блага. Однако половая жизнь человека почти полностью выведена из-под этого контроля. В его сфере остаются лишь мозговые процессы, делающие возможной половую жизнь. А все прочее направляется не инстинктом, но имеет самое прямое отношение к тому, как человек самого себя осознает. Даже воображая, будто он целиком и полностью животное в сексуальных своих проявлениях, человек на самом-то деле и в этом остается человеком. Иначе говоря, и в этом его направляет самосознание, а самосознание подчинено слову, там же, где слово, с неизбежностью появляются воспоминания, предпочтения, выбор, фантазия. С неизбежностью присутствуют прошлое, будущее, реальное, выдуманное, присутствуют раскаяние и предвкушение, добро и зло, высокое и низкое, прекрасное и безобразное. Мужчины, женщины, даже когда эротика выступает в наиболее животных своих проявлениях, склонны ее объяснять факторами, специфичными для человека, поскольку они сопряжены с существованием языка, а язык – он и придает особость всему, что с человеком происходит. Вот поэтому, какие бы формы ни принимала у людей половая жизнь, никогда нельзя признать ее «нормальной» в том смысле, как говорят о нормальном зрении или функционировании кишечника. Ибо как раз в этом смысле любые ее проявления – все нормы. И невозможно о ней судить, ссылаясь на какую-то абсолютную норму, определенную природой. Судить о ней необходимо, лишь постигая высшую цель, преследуемую каждым из индивидуумов, и осмысляя достигнутое им на пути к этой цели. Стало быть, тот, кто заботится о своей незапятнанной репутации в глазах общества, сочтет «нормальными» те формы половой жизни, которые на данный момент санкционированы утвердившейся в его обществе верой и «лучшими представителями» этого общества.

Являются, однако, индивидуумы, которых не страшит прогневить Бога или даже «лучших представителей». Для таких высшее желание состоит в том, чтобы вновь и вновь испытывать полное напряжение чувственности и чувства. Они, ясное дело, считают «нормальными» вовсе не те формы половой жизни, которые признаются теми, кто более склонен повиноваться принятому в обществе. А кроме того, существуют и другие образцы сексуальной «нормальности», признанные людьми, которым хотелось бы усидеть на двух стульях: удовлетворив собственные желания, но при этом не нарушив условностей религии и морали. Вспомните-ка, что было нормальным для Тартюфа, для Пекснифа, для какого-нибудь священнослужителя, вечно отирающегося рядом со школьницами, какого-нибудь министра, испепеляемого тайным вожделением к смазливым мальчишкам. Наконец, существуют ведь и люди, которым безразличны их успехи в обществе, те, кто в отличие от общества не поклоняется божкам, те, кого не снедает необходимость раз за разом устраивать пиры чувственности, поскольку у них совсем иные заботы – о постижении истины, о высвобождении, о том, как преодолеть рамки собственной личности, от человеческого поднявшись к вечному. И вот для них «нормально» в половой жизни совсем другое, чем для принадлежащих ко всем прочим категориям.

На бетонном корте дети повара-китайца запускали змея, сделанного в форме птицы,– к планке был прикреплен маленький свисток, и при дуновении ветра змей издавал жалобные звуки. Пит распознал кантонский выговор – веселое такое покрякиванье. Там, за океаном, подумал он, миллионы и миллионы детишек вроде вот этих умерли от голода и сейчас умирают. Мраморная фигура Пресвятой Девы стояла ниже, в Священном гроте. И вспомнилась ему молящаяся Деве Вирджиния в белых шортах и капитанской шапочке, вспомнилось напористое красноречие преподобного Шлица, и шуточки доктора Обиспо, и рассуждения Алексиса Карреля о Лурде, а затем и «История инквизиции» Ли, и как Тоуни доказывает, что протестантство послужило основой капитализма, и еще Нимёллер, и Джон Нокс, и Торквемада, и та сестра-монахиня, и опять Вирджиния, а под конец – мистер Проптер, среди всех его знакомых единственный, кто способен был найти какой-то смысл во всей этой абсурдной, безумной, дьявольской путанице.

## 6

Джереми чувствовал некоторое разочарование: доктора Обиспо ничуть не сокрушило известие, что его идеи были предвосхищены в восемнадцатом столетии.

– Вы бы не рассказали подробнее про этого пятого графа,– попросил он, когда они в обществе Вермеера спускались в подвал.– Так, говорите, до девяноста дотянул?

– Больше,– отозвался Джереми.– Девяносто шесть ему было или девяносто семь, не помню точно. Причем, заметьте, крепкий был старичок, кабы не скандал, еще бы пожил.

– Какой скандал?

Джереми кашлянул, провел рукой по лысине.

– Да обыкновенный, знаете ли,– проворковал он.

– Ну да! Неужто старый кобель еще за сучками таскался? – переспросил доктор недоверчиво.

– Таскался,– ответил Джереми.– В ненапечатанных записках Гревиля описано его очередное любовное приключение. Во время преставился, скажу я вам. Его как раз под арест брать собирались.

– За что же?

Джереми опять прокашлялся, моргнул.

– Изволите видеть,– проговорил он медленно, с безукоризненной крэнфордской своей интонацией,– он, по всему судя, имел обычай, чтобы наслаждению сопутствовало кровопролитие.

– Кокнул кого, что ли?

– Не совсем,– сказал Джереми,– но телесные повреждения нанес.

Разочарованно хмыкнув, доктор, впрочем, тут же утешился соображением, что в девяносто шесть лет кое-что значит и способность наносить телесные повреждения.

– Посмотрел бы я, что там у него на этот счет написано,– сказал он,– охотно бы посмотрел.

– Записи в вашем распоряжении,– Джереми был сама вежливость.

Доктор поблагодарил. Прошли в рабочий кабинет.

– Почерк довольно трудный,– сказал Джереми.– Лучше я вам вслух почитаю.

– Вот еще, зачем вам время тратить,– но, поскольку Джереми жаждал изобрести какой-нибудь предлог, чтобы можно было до другого случая отложить сортировку неинтересных ему бумаг, протесты доктора были перекрыты встречными протестами. Джереми настоял на своем альтруизме. Выразив признательность, доктор уселся слушать. На некоторое время Джереми лишил глаза их второй оболочки, тщательно протирая стекла очков, потом принялся перечитывать страницы, которые смаковал сегодня утром, пока не позвали к столу.

– «Явится в тенистом ручье,– дочитал он,– и добудет ее Удильщик из умелых».

Доктор Обиспо хихикнул.

– Неплохое определение науки,– сказал он.– Ведь что она такое? Вот именно, уженье в тенистом ручье, чтобы выловить бессмертие, а заодно все остальное, что попадется.– И он снова хохотнул, заметив, что старый циник ему определенно нравится.

Джереми читал дальше.

«Август 1796. Многословная моя племянница Каролина принялась сегодня корить меня тем, что именует она Неблаговидностью моего Поведения. Человек, коему нужды нет пересчитывать Лошадей у себя в стойле, Оленей в парке, либо же Карпов в прудах, должен бы выказывать Благовидность свою, будучи более общительным, сиречь более терпимым в обществе Глупцов, равно как более, нежеле мне свойственно, выказывать сострадание обделенным и униженным. На это я отвечал замечанием, что Человек есть некое Имя, коим пользуются, обозначая всякого рода неблаговидности Поведения, проистекающие из-за того, что под Именем этим подразумевают двуногое Тело, кое лишено оперенья, и что словами Каролина, Джон, а также им подобными, обозначаются те же неблаговидности Поведения, оным Телам свойственные. Единственная Благовидность, выказываемая людьми в массе своей, есть Благовидность Неблаговидности. Говоря по-другому, природа всех и всяческих неблаговидностей Поведения находится в зависимости от жизненного опыта человека, а также предков его. Неблаговидности предуказаны Законами и повинуются Законам, из обстоятельств предшествующей жизни вытекающим. Возможно признать действия определенного человека благовидными в том смысле, что Неблаговидность оных предопределена, а оттого Человеку не дано переступить границ, ему очерченных. Однако же та

Благовидность, коей требуют Каролина и прочие Глупцы, есть нечто совершенно иное. Люди эти упрекают нас за то, что логично один за другим следующие Поступки наши не кажутся благовидными в свете Предрассудков, произволом таких людей возведенных в систему, или же при испытании различными смехотворными кодексами, каковы кодексы Иудеев, Джентльменов, Ирокезов, Христиан и так дальше. Подобного рода Благовидность недостижима, попытки же ее достичь привести могут исключительно к Неразумию, либо же Лицемерию. Каролине я дал ответ: взгляни на собственное твое Поведение. Ах, помилуй, какая же Благовидность в том, что ты беседуешь об Искуплении с нашим Настоятелем, коль молоденьких наших Горничных не ты ль сама сечешь розгами с жестокостью истинно Драконовской? и велика ль цена милостям, коими ты похваляешься, когда твоим же повелением на полях устанавливаются капканы для воров? и благовидно ль, что при Дворе ты являешься в шелках, дома же довольствуешься chaise percée [65] и что возносишь Молитвы на воскресной заутрене, тогда как субботним вечером вкушаешь с супругом Наслаждения, кои, ни для кого не тайна, вкушаешь также по пятницам либо четвергам с неким Баронетом, чье имя незачем называть? Но я не успел договорить, так как Каролина поспешила меня оставить».

– Бедная Каролина! – со смехом прокомментировал доктор.– А впрочем, так ей и надо.

Джереми перешел к следующей записи.

«Декабрь 1796. После второго приступа легочной гиперемии Выздоровление проходило медленнее, нежели обычно и оказалось не столь полным. Ощущаю себя висящим над ямою, как если бы удерживала меня единственная нить, и нить оная свита из Страдания».

Доктор Обиспо изящным движением мизинца стряхнул на пол пепел с сигареты.

– Фармацевтическая драма, как всегда,– заключил он.– Курс тиамихлорида, немножко тестостерона, и он бы у меня запрыгал, как дитя малое. Вы не обращали внимания,– продолжал он,– что очень часто самые пронзительные романтические стихи писались только оттого, что их авторов скверно лечили? «И я засну, как утомившийся ребенок, и жизнь

[65] Драное кресло (*франц.*)

докучную слезами помяну». Прекрасно! Но если бы в те времена умели рассасывать легочные пробки и бороться с туберкулезом, несчастный Шелли ничего подобного не сочинил бы. К вашему сведению, сонливость вкупе с мизантропией по поводу докучной жизни – самый безошибочный признак туберкулеза, дошедшего до пробок в легких. Да и прочие, которые носились со своей Weltschmerz [66] чаще всего оказывались если не больными, так алкоголиками или наркоманами. Мне бы не стоило труда сделать так, чтобы они совсем другое писали.– Доктор взглянул на Джереми, оскалившись по-волчьи, и что-то детское было в его безграничном, торжествующем цинизме.– Ну ладно, послушаем, как наш старичок справляется с недугами.

«Декабрь 1796,– читал Джереми дальше.– Поползновения стерегущих меня гиен сделались до того несносны, что вчера я решился положить этому конец. Услышав, что я не желаю более их опеки, Каролина и Джон принялись меня заверять в преданности более чем Родственной. Дошло до того, что я принужден был сообщить им: ежели до полудня они не оставят мой Дом, я велю Дворецкому призвать с десяток людей, дабы выдворили их силою. Нынче утром наблюдал из окна их отъезд».

Далее шла запись от 11 января 1797. «Сия годовщина моего рождения вызывает у меня Мысли мрачнее обычного. Я слишком слаб, чтобы их записать. День выдался приятный и необыкновенно теплый для Зимы, посему я распорядился, чтобы меня отнесли в кресле к Прудам. Ударили в колокол, и Карпы тут же поспешили на свою трапезу. Вид этих Тварей составляет ныне едва ль не единственную мою отраду. Их глупость, по крайней мере, непретенциозна, а ожесточенность имеет своею причиною исключительно Аппетит, оттого не нуждаясь в оправдании. Тогда как людям ожесточенность свойственна всегда, являясь для них правилом, и Безумства свои они оправдывают Религией либо Политикой, а Невежество облечено у них в помпезные одеяния Философии.

Пока я наблюдал, как ярятся и теснят друг друга проголодавшиеся рыбы – сколь живо напоминали они причт, передравшийся за посвящение в сан! – Мысли мои возвратились к тому, о чем размышляю я давно и безуспешно. Отчего

[66] Мировая скорбь (*нем.*)

человеку надлежит умирать, прожив всего каких-нибудь семьдесят лет, тогда как Рыбе дано оставаться Юной и два столетия, и три? Возможны разные ответы, кои один за другим я отвергаю. Одно время казалось мне, к примеру, что Карп и Треска живут дольше нас по той причине, что обретаются в Воде, Вода же есть элемент более жизнетворный, нежели Воздух. Однако век некоторых водных Тварей недолог, тогда как иным Птицам дарован больший, нежели у людей, жизненный срок.

Тогда я задался вопросом: уж не оттого ль живет Рыба так долго, что зачинает потомство свое и вынашивает его способом столь необычным? Увы, фатальное Возражение вновь не замедлило. Самцы Попугаев и Воронов не ведают, как самим удовлетворить свою похоть, им ведомо совокупленье; самки же Слонов не откладывают яиц, но вынашивают своих детенышей, если верить мсье де Бюффону, целых двадцать четыре месяца, не менее. Однако же, разве не являются долгоживущими Тварями и Попугаи, и Вороны, и Слоны? и не явствует ль из этого, что Краткость жизни Человеческой имеет Причиною своей нечто иное, а не тот способ, посредством коего Мужчины зачинают, а Женщины производят на свет Потомство свое.

Единственная Догадка, противу коей не нахожу я Возражений, такова: Рацион Рыб, подобных Карпу и Треске, содержит некое вещество, оберегающее Тела их от Разложения, коему в большинстве своем уже при жизни подвержены прочие Твари; либо же вещество, оберегающее от Разложения, заключено в самом Теле сих Рыб, причем, логично рассуждая, искать оное надлежит, обратившись к Желудку, Печени, Кишкам и прочим Органам, усваивающим Пищу и оную переваривающим. У тех же, чей век, подобно Человеческому, недолог, Вещество, оберегающее от Разложения, надо думать, отсутствует. Коли так, не следует ли внедрить в наше Тело сие Вещество, позаимствовав его у Рыб? История не предоставляет нам свидетельств особенно примечательного долголетия тех, кто, обитая на Побережье, питается по преимуществу пищею морскою; не доводилось мне слышать о подобных же случаях долголетия жителей Портовых городов и прочих мест, рыбою изобилующих. Однако же, из обстоятельства сего не следует, что Вещество, оберегающее от Разложения, невозможно, заимствуя у Рыб, внедрить Человеку. Ведь прежде чем насытиться Рыбой, Человек ее приготовляет, меж тем как

известны бесчисленные примеры, когда при Нагревании претерпевали глубокие изменения многие Вещества; и более того, Человек выбрасывает как негодные в Пищу именно Органы поедаемой им Рыбы, кои есть все основания считать содержащими Вещество, Разложению препятствующее».

– О Господи! – воскликнул доктор Обиспо, не сдержавшись.– Неужто старый пачкун вздумал глотать сырьем рыбьи кишки?

Глаза Джереми, сверкнувшие под стеклами, пробежали страницу до конца и уже впились в следующую.

– Совершенно верно! – отозвался он с восторгом.– Вот, слушайте. «Первые три мои попытки окончились непроизвольным исторжением, однако же, сделав еще одно усилие, я заставил себя проглотить находившееся во рту; увы! триумф мой длился всего две или три минуты, после чего последовал приступ рвоты. И только после девяти или десяти опытов такого рода удалось мне проглотить и удержать несколько чайных ложек тошнотворной и скользкой плоти».

– Вот подвиг так подвиг! – заметил доктор Обиспо.– Я бы лучше прямо под бомбы полез, только не это.

Джереми покосился на него и тут же вернулся к дневнику.

«Вот уж месяц,– читал он,– как начал я испытывать на верность мою Догадку; теперь каждый день я поглощаю не менее шести унций сырых внутренностей, извлеченных из пойманного утром Карпа и растертых кашицей».

– Кстати,– перебил доктор, покачивая головой, – всяких паразитов и червяков у рыб больше, чем у всех остальных. Кровь в жилах стынет, как послушаешь, что вы читаете.

– Напротив, не беспокойтесь,– откликнулся Джереми, не отрываясь от тетради.– Его светлость чувствует себя все лучше и лучше. Вот, пожалуйста. «Испытывал необычайный подъем Энергии и Сил весь март». Уж не говоря про то, что «Аппетит начал возвращаться. Память окрепла, равно как способность разумного рассуждения». Очень мне нравится это «разумное рассуждение»,– мимоходом заметил Джереми.– Прелестно, и до чего в духе того времени. Великолепный образчик стиля чиппендейл! – Он молча пробежал несколько строк, а потом ликующе возвестил: – Смотрите-ка, в апреле он уже верхом ездит, «каждый полдень часовая прогулка на гнедом мерине». А доза «фекальной кашки», как это у него называется, увеличена до десяти унций ежедневно.

Доктор Обиспо вскочил со стула и принялся возбужденно шагать из угла в угол.

– Черт бы его подрал! – громко заговорил он.– Это вам не хаханьки. Серьезное дело. Сырые рыбьи внутренности; кишечная флора; предохраняет от интоксикации стерином, омолаживает. Да, омолаживает! – выкрикнул он.

– Граф выражается осторожнее,– вставил Джереми.– Вот так: «Обязан ли я исцелением своим Карпу или же Вернувшейся Весне, или, наконец, Vis medicatrix Naturae [67]* – сказать с достоверностью пока не могу».

Доктор кивнул с одобрением.

– Все правильно понимает.

– «Что из этого истина, покажет время,– читал Джереми,– в том случае, ежели мне удастся вынудить его к доказательствам, а сего я твердо вознамерился достичь, с неуклонностью следуя мною установленному Рациону. Исхожу из предположения, что Догадка моя может быть признана верною в том случае, ежели, продолжая держаться сего Рациона, я не только сумею восстановить прежнее состояние Здоровья, но верну себе Энергию, коей не ощущал с тех пор, как миновали дни Юности».

– Молодец! – одобрил доктор Обиспо.– Вот если бы наш дядя Джо подходил к делу столь же научно! Впрочем,– добавил он, вспомнив вдруг про нембутал и про детскую веру мистера Стойта в его врачебное всемогущество,– может, и ни к чему. Еще неудобства всякие появятся,– одному ему понятная шутка сопровождалась смешком.– Ладно, вернемся к истории болезни.

– К сентябрю он уже может скакать по три часа без отдыха, не чувствуя усталости,– сообщил Джереми.– Кроме того, его снова привлекают греческие авторы, тут он о Платоне очень критически высказывается. А дальше записей нет до 1799 года.

– До 1799 года! – с возмущением повторил доктор Обиспо.– Ну мерзавец! Только стало интересно, и на тебе: замолчал, а теперь блуждай вот в потемках.

Джереми взглянул на него, улыбаясь.

– Не совсем так,– сказал он.– Прошу: самая первая запись после перерыва в два года, а вы уж сами решайте, как у него обстояло дело с кишечной флорой.– Прокашлявшись, он начал читать, теперь в своей манере «под миссис Гаскелл»: «Май

[67] Целительной силе природы (*лат.*)

1799. Женщины, более остальных предающиеся распутству, в особенности те, кои принадлежат к Хорошему Обществу, очень часто лишены бывают немилосердною Природою обычных Резонов и Поводов, дабы увлечься галантным Приключением. От рождения им свойственная Холодность препятствует вкусить истинных Наслаждений, отчего они вечно восстают противу таковой своей Судьбы. Причиною, побуждающею их искать все новых и новых Приключений, выступает не Чувственность, но Надежда; у них нет желания вновь пережить знакомое Блаженство, напротив, мечта их та, что им доведется испытать обыкновенную, всеми превозносимую Радость, коей по несчастливому своему жребию не знали они дотоле. Для Сластолюбца женщина сомнительной Добродетельности нередко, хотя и силою иных причин, становится столь же отвратительною, сколь и для строгого Моралиста. Надеюсь, Небо оградит меня на будущее от Побед, подобных одержанной мною в Бате нынешней Весною!»

Джереми отложил тетрадь.

– Ну что, вы все еще в потемках? – осведомился он.

## 7

Электродрель с шлифовальной насадкой шкурила шершавую доску, издавая оглушающий визг. Мистер Проптер, склонившийся над верстаком, не расслышал, как вошел Пит. Долгие полминуты Пит молча стоял, наблюдая, как хозяин проводит дрелью из конца в конец доски. В лохматых бровях было полно опилок, и Пит заметил темное пятно на загорелом лбу, оставшееся от прикосновения пальцами, перемазанными маслом.

Ему вдруг стало стыдно. Не надо бы подглядывать, когда человек тебя не замечает. Может, занят он чем-то таким, чего тебе видеть не следует, а ты вот затаился и наблюдаешь. Он окликнул работающего. Старик бросил на него быстрый взгляд, улыбнулся и заглушил моторчик.

– Вот славно, Пит, вы-то мне и нужны,– сказал он.– Если, конечно, не откажетесь немножко мне помочь. Согласны? Ах да,– он не дал Питу договорить, что, разумеется, согласен,– я же совсем забыл, у вас сердце неважное. Мучительные эти ревматические боли. Может, вам лучше не браться?

Пит слегка покраснел; с физическим своим недомоганием он еще не успел сжиться настолько, чтобы не испытывать из-за него стыда.

– Но вы же не спринт пробежать меня просите, правда?

Полушутливый комментарий остался словно нерасслышанным.

– Так, думаете, ничего? – переспросил он, вглядываясь в лицо гостя заботливо и с любовью.

– Конечно, ничего, если вы про это вот говорите,– Пит показал на верстак.

– Вы уверены?

Пита очень трогало такое внимание.

– Абсолютно уверен! – заявил он.

– Прекрасно,– сказал мистер Проптер, ободрившись.– Считайте, что я вас нанял. Верней, не так, уж какой там наемный труд, если в оплату получите стаканчик колы, и только. Я вас призвал. Как в армию.

Дело в том, объяснил он, что все остальные, соседи его, очень заняты. И приходится в одиночку обслуживать целое мебельное производство. А вся штука в том, что надо торопиться, в домиках у него три семьи мигрантов живут среди голых стен – ни столов, ни стульев.

– Тут замеры,– он показал на прикнопленные к стене машинописные листки.– А доски вон там вон. Значит, так, начинайте вот с чего,– и, взяв доску, он водрузил ее на верстак.

Работали молча, не пытаясь перекричать визжание дрели. Потом отложили инструменты, занявшись другим, и стало потише. Стесняясь прямо сказать о том, что его мучило, Пит заговорил о новой книге профессора Пирла, демографа. На каждую квадратную милю земли в мире приходится сорок жителей. Стало быть, получается шестнадцать акров на душу. Сократим цифру, по крайней мере, вдвое, потому что многие почвы ни на что не годны; остается восемь акров. А при обычных методах хозяйствования прокормить человека способны и два с половиной. Если же еще пять с половиной акров могут давать избыточную продукцию, отчего треть населения планеты голодает?

– Я-то думал, в Испании вы это должны были понять,– ответил мистер Проптер.– Оттого, что не хлебом единым жив человек.

– При чем тут это?

– Да это и есть самое главное. Человек хлебом единым жить не может, поскольку ему необходимо сознание, что в жизни его есть смысл. Потому-то идеализм так укоренился. Но опыт и размышление убеждают, что идеализм, как правило, увенчивается войнами, казнями и всеобщим безумием. Хлебом единым человек не проживет, но если принимается кормить себя скверной духовной пищей, остается и без хлеба. А без хлеба остается оттого, что слишком поглощен хлопотами, как бы расправиться с ближними во имя Бога, Родины, Социальной Справедливости,– уж куда тут поля обрабатывать. Все это так понятно, проще некуда. Хотя,– заключил мистер Проптер,– совершенно ясно, увы, и другое: люди в большинстве своем предпочитают как раз очень скверную духовную пищу, а тем самым готовят собственную гибель, хотя и не догадываясь.

Он включил дрель, и она опять визжала, задыхаясь. Разговор прервался.

– В нашем климате,– заговорил мистер Проптер, когда сделали новую паузу,– да еще при том обилии воды, которое у нас будет со следующего года, если успеют достроить плотину на Колорадо, можно добиться в общем-то всего, чего хотите.– Он выдернул из розетки шнур, чтобы зачистить инструмент.– Возьмите городок с населением в тысячу человек, дайте этим людям три-четыре тысячи акров и постарайтесь наладить разумную систему кооперативов: одни производят, другие распределяют – ничего больше не надо, все будут сыты, потребности на две трети можно будет удовлетворять собственным трудом, а остальное покроют излишки урожая, которые можно обменивать. И такие вот кооперативы следовало бы устроить по всему штату. При том условии, разумеется,– он печально улыбнулся,– что вы получите одобрение банков и найдется достаточно разумных, честных людей, которые на самом деле хотят все устроить демократически.

– Банки-то уж наверняка откажут,– заметил Пит.

– И нужных людей наберется горсточка, не больше,– согласился мистер Проптер.– А хуже не бывает, чем проводить социальные эксперименты при помощи людей, для этого совсем непригодных. Вспомните-ка, чем кончались попытки устраивать у нас коммуны. Ну, Роберт Оуэн, фурьеристы и все прочие. Столько экспериментов, и сплошь неудачные. А потому, что людей для этих экспериментов подбирали как ни попадя. Никаких предварительных проверок, ни пробных сроков. Кто

заявится, того и принимают. Вот к чему приводит беспечный оптимизм относительно человеческой природы.

Дрель снова забормотала, и Пит принялся шкурить следующую доску.

– Так вы считаете, оптимистом быть не следует? – спросил он.

Мистер Проптер засмеялся.

– Странные вы задаете вопросы,– сказал он.– Вот, допустим, человек решил вакуум-насосом откачать воду из колодца глубиной в пятьдесят футов. Он что, оптимист?

– Дурак, он, только и всего.

– Конечно, дурак. Вот вам и ответ: дурак тот, кто с оптимизмом берется за что-то такое, что оптимистически никак не настраивает. И если Роберт Оуэн, собрав десятка три недоумков, неумех да проходимцев, уверился, что они явят пример нового, более совершенного человеческого сообщества, значит, был он круглый идиот, как ни крутите.

Помолчали; Пит распиливал доску на планки.

– Я, наверное, тоже слишком уж оптимистически на все смотрел,– сказал он, покончив с этим делом.

Мистер Проптер кивнул.

– В некоторых отношениях – несомненно,– сказал он.– Зато слишком пессимистически в других.

– Например?

– Ну, вот хотя бы,– пояснил мистер Проптер,– вы слишком оптимистичны в своих ожиданиях социальных преобразований. Думаете, добро можно изготавливать, как на фабрике. А добро, увы, ни на каком станке не выточишь. Тут другое умение требуется, моральное. И каждый сотворяет добро сам, своими личными усилиями. А если человеку неведомо, в чем заключается добро, если он ради него потрудиться не хочет, тогда его, добра-то, и не будет, как ни совершенствуй социальный механизм. Готово! – сказал он весело и сдул опилки, набившиеся в просверленное отверстие.– Займемся теперь ножками для стульев да еще рейки надо сделать.– Он пересек комнату и стал налаживать станочек.

– А в чем, по-вашему, я был не в меру пессимистом? – сказал Пит.

Не отрываясь от работы, мистер Проптер проговорил:

– В представлениях о человеческой природе.

– А я полагал, вы скажете, что о ней-то я как раз слишком хорошо думал,– в голосе Пита чувствовалось явное удивление.

– Вообще-то, конечно, это верно отчасти,– согласился мистер Проптер.– Вы как большинство остальных, вы с непонятным мне энтузиазмом взираете на людей, каковы они есть, на тех, кто довольствуется только человеческим. Видимо, верите, что люди, оставаясь такими, каковы они есть, тем не менее способны сотворить для себя мир, который будет намного лучше нынешнего. Однако этот наш мир лишь следствие того, каким человек был прежде, и образ человека, каков он сейчас. И если люди останутся такими же, как были прежде и как есть сейчас, очевидно ведь, что мир наш лучше сделаться не сможет. Воображая, что сможет, вы сверх всякой меры оптимистично взираете на человеческую природу. А с другой стороны, вы ужасный пессимист, если думаете, что люди собственной своей природой обречены всю жизнь пребывать в границах сугубо человеческого. Слава Богу, это не так,– произнес он с чувством.– Во власти человека выйти за пределы этих границ, подняться выше, к вечному. Никакое сообщество не сможет стать существенно лучше теперешнего, если не найдется в нем достаточно людей, знающих, что их человеческое бытие – не последнее слово, и способных предпринимать сознательные попытки, чтобы это бытие превзойти. Оттого-то и надо последовательно пессимистически относиться к тому, что у большинства вызывает оптимизм, ну, к таким вещам, как приложения науки, социальные реформы или та же человеческая природа, какою проявляется она в людях заурядных. И оттого же следует с твердым оптимизмом воспринимать заурядному человеку абсолютно неведомое, в силу чего он и смотрит на такие вещи пессимистически,– я говорю о возможности претворить и превзойти природу человека. Не в процессе эволюционных изменений, не в каком-то там далеком будущем, а, если хотите, сиюминутно, здесь и сейчас, поскольку нужны для этого лишь верно направленный разум да искренняя готовность.

Он попробовал станочек, но остановил его, еще что-то поправляя.

– Такой вот пессимизм и такой оптимизм встретятся вам во всех великих религиях,– добавил он.– Пессимизм, распространяющийся на состояние мира и на человеческую природу, какою она явлена в большинстве людей. И оптимизм

касательно вещей, достижимых всяким, кто этого захочет и будет знать, что надо делать.– Станочек был снова запущен и теперь работал без остановок.

– Вы же помните, как пессимистичен Новый Завет,– говорил мистер Проптер, перекрывая шум пилы.– Пессимистичен, когда речь идет о человечестве как массе: много званных, а мало избранных. И относительно слабостей людских, невежества – ведь как там сказано? кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Относительно жизни, обычной человеческой жизни – тоже, потому как с жизнью этой надлежит расстаться, если вечной жизни возжаждал. И даже относительно высших проявлений светской морали, раз в Царствие Небесное не допустят никого, чья праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев. А кто такие книжники и фарисеи? Просто наиболее достойные, столпы общества, люди, обо всем судящие правильно. И несмотря на все это, или как раз потому, что так, Иисус отказывает им, называя племенем змеиным. Бедный доктор Малдж! – заметил он как бы между делом.– То-то была бы для него мука, доведись когда-нибудь предстать перед Спасителем! – Мистер Проптер оглядел свою работу, удовлетворенно улыбнувшись.– А посмотрите священные книги индуистов, буддистов – там о том же самом еще последовательнее сказано, философически. Мир, как он есть, и люди, живущие только человеческим,– безнадежны: вот так-то, без всяких исключений. Надежда возникает лишь тогда, когда люди начинают понимать, что Царствие Небесное, или как угодно назовите, находится в них самих и обретено может быть каждым, кто готов взять на себя труд, без которого его не достичь. Это вот и есть оптимистическая сторона христианской доктрины да и любой из религий.

Остановив станок, мистер Проптер поставил новую доску и стал вытачивать вторую ножку для стула.

– В церкви, даже терпимой, оптимизм по-другому понимают, – сказал Пит, вспомнив свои метания, пока на смену преподобному Шлицу не пришел твердый антифашизм.

– По-другому,– согласно кивнул мистер Проптер.– Но то, чему учит терпимая церковь, к христианству решительно никакого отношения не имеет, как и ко всякой другой религии, стоящей ногами на земле. Там одни словеса.

– Словеса!

– Да, словеса,– не уступал мистер Проптер.– Смесь гуманистических доктрин начала нашего века с евангелическими, на которых держалось прошлое столетие. Прекрасное сочетание, нечего сказать! Гуманисты утверждают возможность обретения добра там, где его напрасно искать, и при этом отрицают существование вечного. А евангелисты отвергают связь причин и следствий, поскольку для них есть только твой личный Бог, который простит прегрешения. Джек Спратт с супругой, да и только! поставь между ними блюдо – они с двух сторон так подъедят, что ничего существенного не останется. Ах нет, простите,– голос мистера Проптера еле различался за гулом станка,– кое-что все же останется. Гуманисты ведь в поле зрения держат только одну расу, а евангелисты признают только одного Бога. Так что извести все существенное до конца предоставлено патриотам. Да еще фанатикам политических догм. Вот тут уж идолов сколько угодно, причем один рядом с другим даже находиться не может. «Есть боги в количестве предостаточном, и местные боссы – пророки их». Глупости терпимой церкви безвредны, пока времена стоят мирные, но все-таки заметьте, что глупости эти непременно дополняются безумствами остервенелого национализма, как только возникает кризис. И на такой-то вот философии воспитывают поколение за поколением. Ваши оптимисты из тех, кто постарше, на ней основывают свои упования, что мир можно изменить реформами.– С минуту мистер Проптер помолчал.– «Бог поругаем не бывает: что посеет человек, то и пожнет» процитировал он.– Нельзя обмануть. А люди этому просто не верят. Все норовят обмануть природу, и рассчитывают, что это им с рук сойдет. Была у меня одно время мысль трактат небольшой написать, вроде сборника полезных советов: «Сто способов обманывать Бога», так бы его назвал. Взял бы из прошлого, из нашего времени сотню примеров, показывающих, чем кончается дело, когда люди что-то затевают, не понимая, какова реальность. И разделил бы книжку на главы: «Как обманывать Бога, занимаясь сельским хозяйством... политикой... философией... экономикой». Полезная бы получилась книжка. Только немножко грустная,– уточнил мистер Проптер.

## 8

О том, что пятый граф, будучи восьмидесяти одного года от роду, произвел на свет трех незаконнорожденных младенцев, в дневнике сообщалось с небрежностью истинного аристократа. Ни похвальбы, ни самоуничижения. Всего лишь краткое, бесстрастное упоминание факта в записи, где сначала излагается беседа с герцогом Веллингтоном, а дальше – впечатления от музыки Моцарта. По прошествии ста двадцати лет доктор Обиспо, отнюдь не джентльмен-англичанин, впал в такую экзальтацию, словно подвиг этот был совершен им самим.

– Трех наплодил! – бушевал он в припадке плебейского восхищения.– Трех, нет, надо же! Вы мне скажите, как такое может быть!

Джереми, с детства усвоивший такие же, как у пятого графа, манеры, ограничился замечанием, что получилось у старика недурно, и принялся читать дальше.

В 1820 году граф снова заболел, но не слишком тяжело: три месяца кормился потрохами карпов, и этого хватило, чтобы к нему вернулось нормальное состояние здоровья, какое, писал он, «обыкновенно свойственно людям, в цветении сил находящимся».

Еще через год впервые после перерыва в четверть века он навестил семейство племянницы, с превеликим удовольствием обнаружив, что Каролина стала настоящей мегерой, а Джон совсем облысел и мучается астмой, старшая же их дочь чудовищно толста, и никто не берет ее замуж.

Известие о кончине Бонапарта настраивает графа на философские размышления, что только крайне недалекий человек не сумеет изыскать таких способов удовлетворить свою потребность славы, власти и ярких впечатлений, чтобы не приходилось ради них сносить лишения походной жизни и докучливые заботы правителя державы. «Пользуюсь выражениями, принятыми в обществе,– заключает граф,– однако же, с должной ясностью подобает сказать, что и в трудах домашних, никакого вреда не причиняющих, возможно свершить деяния, равные тем, коими знамениты Александр Великий и Бонапарте. Под оными мирными деяниями разумею подвиги на поприще Любовном, требующие умения завоевать желанную Женщину, завладевая и Телом ее, и Сердцем. В глазах человека здравомыслящего сии подвиги поистине замечательны. Ибо, зная настоящую их цену, человек

здравомыслящий без труда постигает, что стремление расширить границы Империи напрасно, поскольку глупо, глупо же оно, поскольку ненужно, а ненужно по причине того, что наслаждение, даруемое Победами и Всемогуществом, без необходимости прилагать столь мучительные усилия, терпя невзгоду и тоску, достижимо и на полях сражений, происходящих в обитом шелками будуаре Герцогини, либо же на соломенной подстилке Скотницы. А ежели непритязательное Удовольствие покажется вдруг пресным, ежели, подобно героям Древности, человек воспылает жаждой покорять иные Миры, ему довольно прибавить всего лишь еще гинею, хотя, мой опыт ему подтверждением, часто и в ней нет надобности, ибо достаточным оказывается просто возбудить потаенную Страсть подвергаться Унижениям и даже Насилиям, и, как только оная Страсть возбуждена, джентльмену ничто более не препятствует воспользоваться, коль есть охота, Розгами, и Кандалами, и Клетками, и всеми иными Олицетворениями полного его Торжества, кои способна изобрести Фантазия человека, своего Триумфа добившегося, и кои со смирением примет Побежденная, руководясь советами терпеливого Разума или же подчиняясь велениям собственного благосклонного Вкуса. Я вспоминаю замечание доктора Джонсона относительно того, что среди занятий, коим отдается человек, мало столь невинных, как преумножение своего Благосостояния. Однако преумножение радостей Любовных есть занятие еще более невинное. Достаточно было, чтобы Бонапарте обладал Мудростью, коя подсказала бы ему, что Жажду властвовать над другими он может удовлетворить без труда в Салонах и Опочивальнях своей Корсики, и тогда Свободным встретил бы он свой смертный час средь собственного народа, и сотни тысяч людей, убитых, искалеченных, лишившихся зрения, остались бы живы и сохранили здоровье, дарованное им природою. Несомненно, Глаза свои, и Конечности, и самое Жизнь они бы использовали столь же неразумно и зловредно, сколь их используют не умерщвленные Бонапарте и живущие поныне. Но при всем том, что Верховное Существо, возможно, с одобрением взирало на низложенного впоследствии Императора, коего стараниями многие Паразиты исчезли с поверхности Земли, сами Паразиты держались на сей счет отличного Мнения. Будучи обыкновенным Человеком здравого

образа мыслей и отнюдь не являясь Верховным Существом, я принимаю сторону Паразитов».

– Вы заметили,– задумчиво спросил доктор Обиспо,– что даже самые отъявленные негодяи обязательно делают вид, будто они поборники добра? Старый козел, и он туда же, а уж этому вроде лишь бы свое удовольствие получить и все равно, что о нем подумают. Ан нет, смотрите, как старается, целую страницу исписал, доказывая, что он лучше Наполеона. Если толком рассудить, так оно, конечно, и есть. И все же странно, зачем он, себе же противореча, так выставляет свои добродетели.

– Так за него никто ведь этого бы не сделал,– отозвался Джереми.

– Ну ясно, самому пришлось потрудиться,– поддакнул доктор.– Вот вам лишнее доказательство моей теории. Никаких Яго не существует. Все одно и то же творят, чем и Яго прославился, но ни за что не признают, что вели себя как злодеи. Словеса, словеса, складно так подбираются и выходит, что злодейства-то на самом деле во благо были, все правильно, все разумно. Я думал, хоть наш любитель сырых потрохов исключение составит.

Куда там! Сказать по правде, разочаровал он меня.

Джереми взглянул на него чуть снисходительно.

– А вы бы хотели, чтобы он был как Дон Жуан в аду? Calme héros courbé sur sa rapiére [68]*, так, что ли? Не думал я, что вы такой романтик.– Он полистал тетрадь дальше; оказалось, в 1823 году пятый граф провел несколько часов с Колриджем и нашел высказанные им мысли глубокими, однако уж слишком вязкими, «каковое качество пристало Воде в прудах, но достойно сожаления, когда проявляется оно в Рассуждении, кое, будучи здравым, должно отличаться ясностию, а тем паче ровностию, дабы человеку, его слушающему, не грозило увязнуть в топях и утонуть, провалившись в омуты Вздора». Джереми расплылся от удовольствия. Колридж не принадлежал к его любимцам. «Едва вспомню я, сколь много глупостей по сей день высказывают касательно чепухи, коею напитал перо свое сей куритель опия...»

– Давайте-ка лучше про самого графа,– перебил его доктор Обиспо.

[68] На шпагу опершись бестрепетной рукой (*франц.*).

Джереми вернулся к записям.

В 1824 году престарелый джентльмен сокрушается по поводу того, что принят билль, приравнявший работорговлю к пиратству, после чего занятие это сделалось преступным. Отныне доходы его уменьшаются на восемь-девять тысяч в год Утешает его мысль о философском уединении Горация, проводящего свои дни в сабинской усадьбе.

Два года спустя высшее наслаждение он черпает в медленном перечитывании Феокрита, а также в обществе юной женщины по имени Кэти, которую граф сделал своей домоправительницей. Тогда же, в 1826 году он, несмотря на сократившиеся доходы, не устоял перед соблазном приобрести великолепное «Успение Пресвятой Девы» кисти Мурильо.

Год 1827 проходит в денежных затруднениях, причиненных, судя по всему, тем, что, вытравляя плод, погибла очень юная девушка, состоявшая в помощницах у домоправительницы. Упоминания об этом в дневнике кратки и невнятны, но, очевидно, родителям девушки пришлось выплатить очень значительную сумму.

Затем он опять занемог и во всех подробностях описывает, как постепенно разлагается тело, особое внимание уделяя слабеющему зрению, мертвеющим вкусовым ощущениям. Непродолжительный курс диеты – кашица из внутренностей – вернул графу более жизнерадостное расположение духа, и в 1828 году он предпринял путешествие в Афины, Константинополь, Египет.

1831 год – граф занят переговорами о покупке дома под Фарнехемом.

– Надо понимать, усадьба Селфорд,– пояснил Джереми,– та самая, откуда привезли эти бумаги.– Он обвел рукой двадцать семь ящиков.– Обе старушки там до сих пор живут.

Чтение продолжалось. «Дом старый, мрачный и неудобный, однако же к нему прилегает довольно пространная Территория, расположенная на Возвышении вдоль реки, коей южный Берег образует почти перпендикулярно ниспадающий к водам Склон, усыпанный желтым песчаником и достигающий в высоту около ста двадцати футов. Песчаник есть мягкий, легко поддающийся обработке Минерал; сим объясняется существование очень обширных Погребов, кои вырыты под домом, надо думать, не менее Столетия назад с целью устроить под сводами оных хранилище Вин и прочих контрабандой доставленных товаров,

переправляемых с побережья Хэмпшира и Сассекса в Столицу. Желая успокоить Супругу, страшившуюся, как бы ребенок их не заблудился в сем подземном лабиринте, нынешний Владелец отгородил глухою стеною большую часть Погребов, однако же и та их часть, коей поныне пользуются, являет собой истинные Катакомбы. Находясь под защитою этих Сводов, человек испытывает уверенность, что в подобном Уединении ничто не воспрепятствует ему удовлетворить даже самые необыкновенные свои Желания».– Джереми оторвался от тетради.– Жутковато звучит, а?

Доктор пожал плечами.

– Абсолютного уединения все равно никому не дано испытать,– сказал он убежденно.– Вспомнить только, каких я натерпелся мук из-за того, что никогда не владел такими вот погребами...– Он оборвал себя, и по лицу его пробежала тень – черт побери, не вечно же ему кормить Джо Стойта нембуталом.

– Так вот, граф покупает этот дом,– сказал Джереми, читавший про себя.– Кое-что там подправляет, перестраивает – в готическом стиле. А в погребе, на глубине сорок пять футов устраивается этакое логово – в самом конце длинного коридора. И – какой приятный сюрприз для него! – под землей обнаруживают колодец, а кроме того, еще ров, идущий очень глубоко вглубь,– вот и нужник имеется. К тому же, там совершенно сухо, воздуха поступает более чем достаточно, а кроме того...

– Да что же он там собирается делать? – нетерпеливо перебил доктор Обиспо.

– Мне откуда знать? – откликнулся Джереми. Он пробежал страничку.– Тут вот воспроизведена речь, которую старик произнес в Палате лордов, поддерживая билль о реформе [69]*.

– Поддерживая? – доктор был изумлен:

«Во дни, когда начинались Французские Беспорядки,– прочел Джереми,– я восстановил противу себя приверженцев всех политических Партий, провозглашая: «Бастилия пала. Да здравствует Бастилия!» Сорок три года минуло с того приснопамятно зловещего События, и справедливость мною сделанных Предсказаний доказана появлением новых Тираний, равно как реставрацией прежних. Оттого сейчас с полною

[69] Подразумевается реформа парламентского представительства (1832): расширение прав и представительства третьего сословия.

верою в Правоту свою я провозглашаю: «Привилегия мертва. Да здравствует Привилегия!» Человечество в массе своей неспособно к Эмансипации и слишком закоснело, отчего ему не по силам направлять собственную Судьбу. Править всегда надлежит Тиранам и Олигархам. Я держусь весьма низкого мнения касательно Сословия Пэров, а также Землевладельцев; однако же собственное их о себе мнение должно быть даже более низким. Они страшатся, что Реформа лишит их Власти и Привилегий, тогда как я уверен, что, проявляя хотя бы то Благоразумие и Хитрость, коими одарила их нещедрая Природа, они сумеют сохранить для себя нынешние Преимущества. А поскольку сие не подлежит сомнению, предоставим Черни позабавиться участием в выборах. Ибо Выборы суть не что иное, как бесплатное представление Кукольного театра, затеянное Правящими, дабы отвлечь внимание Управляемых».

– Ему бы на нынешние выборы посмотреть, фашистские или там коммунистические, то-то повеселился бы, – сказал доктор Обиспо.– Кстати, сколько ему лет было, когда он эту речь произнес?

– Давайте подсчитаем,– Джереми с минуту вычислял сроки.– Да девяносто четыре уже.

– Девяносто четыре! – отозвался доктор.– Ну, если не в рыбьих кишках весь секрет, так не знаю, в чем еще.

Джереми перелистывал дневник.

– В начале 1833 года он опять посетил семейство племянницы по случаю шестидесятипятилетия Каролины. Она теперь не расстается с рыжим париком, старшая ее дочь умерла от рака, младшая страдает в несчастливом браке и стала очень набожной, сын, дослужившись до полковника, увяз в карточных долгах, которые, как он надеется, выплатят родители. В общем, как сказано у графа, «исключительно приятная картина».

– А про погреба больше ничего нет! – посетовал доктор.

– Ничего; а вот, смотрите-ка, заболела Кэти, его домоправительница, и граф посадил ее на рыбью диету.

Доктор оживился.

– И как?

– Следующая запись касается Мильтона,– разочаровал его Джереми.

– Мильтона! – повторил доктор Обиспо с обидой и чуть ли не возмущением.

– Говорят, что писаниями Мильтона доказано, сколь существенно для религии, чтобы ее излагали красочными выражениями, в которых предостаточно непристойностей.

– Может, он и прав,– заметил раздраженный доктор.– Но мне бы очень хотелось знать, как себя чувствует экономка.

– Она, во всяком случае, жива,– сказал Джереми.– А иначе с чего бы он стал вдруг жаловаться, как ему прискучила неумеренная женская опека.

– Прискучила! – прокомментировал доктор.– Это еще мягко сказано. Я знавал женщин, которые были хуже липучки для мух.

– Похоже, он ничего не имеет против, если ему разок-другой изменят. Ага, вот еще, о какой-то юной мулатке.– Джереми улыбнулся, читая: – «Восхитительное создание. В ней брутальность бесчувственной Готтентотки соединяется с низостию и вероломством, отличающими аристократок Европы». И, сделав этот вывод, старый джентльмен отправляется обедать с епископом Винчестерским в замок Фарнем, где все отвратительно: кларет водянист, портвейн ужасен, интеллект собеседника не выдерживает никакой критики.

– А про здоровье Кэти так и не слова? – вернулся к своему доктор Обиспо.

– Да с чего бы, помилуйте. Для графа она здорова, вот и все.

– Я-то думал, у него был научный склад ума,– сказал доктор сокрушенно.

Джереми засмеялся.

– У вас, я вижу, очень странные понятия о пятых графах, об одиннадцатых баронах. Сами посудите, ну какой им интерес в науке? – Доктор не нашел что возразить. Воцарилось молчание; Джереми принялся за следующую страницу.– Ах, разрази меня гром! – вдруг вскрикнул он.– Граф читает Джеймса Милля, «Рассуждение о человеческом уме». Это в девяносто пять-то лет! По-моему, еще поразительнее, чем омоложенная им экономка вкупе с мулаткой. «Обыкновенный Глупец просто недалек и невежествен. Чтобы сделаться Большим Глупцом, требуются изысканное образование и изысканные способности. Непреходящим достоинством мистера Бентама с Последователями останется то, что их Глупость, необходимо признать, всегда была грандиозной по размерам. «Рассуждение» мистера Милля есть истинный Колизей Глупости». А дальше –

про маркиза де Сада. Да, кстати,– Джереми в упор взглянул на доктора Обиспо,– вы когда мне книги вернете?

Доктор не смутился.

– Да когда угодно. Я их давно прочел. Джереми, стараясь не выдать своего восторга, прокашлялся и стал читать дальше.

– «Маркиз де Сад был человеком могучих дарований, коими неудачно воспользовался. По моему суждению, Писатель достигает Совершенства в том случае, ежели соединит способности Маркиза с достоинствами епископа Батлера либо Стерна».– Джереми помедлил.– Маркиз, епископ Батлер, Стерн – повторил он вдумчиво.– Боже, какая бы и вправду замечательная книга получилась! – Он читал: – «Октябрь 1833. Опорочивая себя, человек может испытывать удовольствие соответственно достигнутому им до того мирскому и умственному Величию, кое он порочит и к коему возвращается вслед за тем, как порочащее его Действие совершено». Неплохо сказано! – заметил Джереми, вспоминая троянок и свои пятницы раз в две недели на Мэйда-Вейл.– Очень неплохо. Так на чем мы остановились? Ах да, вот. «Христиане все время рассуждают о Страдании, однако же рассуждения их невнятны. Ибо самые существенные приметы Страдания суть: Несоответствие между мучительностью физического недуга и ничтожными причинами, оный нередко порождающими; а также и то, что, лишая организм всех его способностей и делая беспомощным тело, недуг неисполнимым делает назначение, кое телу определено Природою, сиречь препятствует ему предупредить страждущего об Опасности, извне или же изнутри ему грозящей. Рядом со Страданием пустое понятие Вечности оказывается вовсе эфемерным. Иное дело Наслаждение, ибо Наслаждение имеет для себя строго очерченные пределы, а всякие попытки оные преступить увенчаны будут тем, что Наслаждение обратится в Страдание. Оттого человек с ясным Умом испытывает намного больший Восторг, причиняя Страдание, нежели доставляя Наслаждение. Ведь, доставляя Наслаждение, мы совершаем всего лишь одно из обычных человеческих деяний, тогда как, причинив Страдание, прикасаемся к Вечному, тем самым приобщившись чему-то надземному и божественному».

– В мистику под старость впал, подлец заматерелый,– с сожалением отметил доктор Обиспо,– Тут впору нашего мистера Проптера вспомнить.– Доктор закурил. Помолчали.

– Нет, вы только послушайте,– вдруг оживился Джереми.– «11 марта 1834. Из-за непростительной беспечности Кэти Присцила нашла способ выбраться из своего заточения в подземелье. Поскольку же на теле сей особы имеются свидетельства того, что в продолжение нескольких недель она подвергалась моему Дознанию, в руках ее оказалась теперь моя Репутация и, возможно, самое Свобода и Жизнь моя».

– По-видимому, то самое, о чем мы говорили, прежде чем взяться за дневник,– сказал доктор Обиспо.– Последний скандал. Так что же там стряслось?

– Похоже, эта девица кому-то поведала свою историю,– ответил Джереми, не отрываясь от страницы.– Вряд ли бы он ни с того, ни с сего взялся жаловаться, что его обступила «враждебно настроенная Чернь». Вот еще: «Гуманные качества людей обратно пропорциональны их Количеству. Толпа не более гуманна, чем Лавина в горах или же Ураган на море. Людская Чернь на шкале моральных и умственных достоинств занимает место ниже того, кое принадлежит стаду Свиней или стае Шакалов».

Доктор Обиспо, откинувшись на стуле, зашелся своим особенным – металлическим, оглушительно громким – хохотом.

– Это прелестно! – сказал он.– Прелестно! До чего типичный образчик человеческой логики, лучше не сыщешь. Судите сами: homo поступает как sub-homo, а затем вдруг становится sapiens, желая доказать, что на самом деле он super-homo. Доктор потер руки.– Нет, просто уморительно! Давайте, впрочем, дальше.

– Так, насколько я понял, из Гилфорда прислали вооруженных людей, чтобы охранять дом от черни,– сказал Джереми.– Магистрат выдал предписание взять графа под стражу, однако, считаясь с его возрастом, положением в обществе, а также опасаясь скандала, каким обернется публичный процесс, с этим пока что не спешат. Ах, вот оно что, послали за Каролиной и Джоном. Старый джентльмен из-за этого рассержен не на шутку. Но воспрепятствовать не может. Родичи уже в Селфорде, «Каролина в дурацком своем оранжевом парике, а Джон, коему семьдесят два года, на вид не менее, как двадцатью годами старше меня, хотя мне уж двадцать четыре было, когда мой Братец, едва достигши подобающего возраста, возымел глупость сочетаться браком с дочкою Стряпчего, за что более чем по справедливости вознагражден был несчастием произвести на свет внука сего

Стряпчего, существо, неизменно у меня вызывающее Презрение, вполне заслуженное как ничтожеством его родословной, так и немощностью Интеллекта, однако же ныне обретающее Власть навязывать мне свою Волю, виною чему всего лишь небрежение Потаскухи, ведающей моим хозяйством».

– Этакое умилительное воссоединение семейства,– заметил доктор Обиспо.– В подробности, надо полагать, он не вдается?

Джереми покачал головой.

– Никаких подробностей. Сухое изложение событий. Семнадцатого марта родичи сообщают графу, что судебного преследования он может избежать при условии, если напишет дарственную, отказав им свое родовое имение со всеми доходами, и согласится окончить дни в частной лечебнице.

– Жестокие условия!

– Которых он не принимает,– договорил Джереми,– оповестив о своем решении наутро восемнадцатого числа.

– Вот молодчина!

– «Сии частные приюты для слабоумных,– прочел Джереми,– суть частные узилища, где, не зная над собою контроля Парламента или Суда, не подвергаясь проверкам, учиняемым Полицией, и даже не допуская Филантропов, одушевляемых Сострадательностью, наемные Палачи и Тюремщики вольны чинить мрачный Произвол, руководясь соображениями Мести за обиды, причиненные семейству, либо же просто Злобою, их отличающей».

Доктор Обиспо зааплодировал в восторге.

– Еще одна прелестная психологическая черточка! – воскликнул он.– Эти филантропы, одушевляемые сострадательностью, нет, вы подумайте! – хохотал он.– И наемные палачи! Ну, просто речь кого-нибудь из отцов-основоположников [70]*. Замечательно! Особенно если еще не забыли про невольничьи корабли и про малютку Присцилу. Все равно, как выступление фельдмаршала Геринга в обществе покровительства животным. Наемные палачи и тюремщики,– смаковал он, словно слова эти, как мороженое, таяли у него на языке.– Так, и что же за этим последовало?

– Графа ставят в известность, что он будет судим, приговорен и отправлен на каторгу в колонии. На что он

[70] Так называют в США героев американской революции 1776 г.

отвечает, что колонии ему предпочтительнее частных лечебниц. «После чего ощутил я замешательство драгоценных моих племянников. Они принялись уверять меня, что в Бедламе обходиться со мною будут по-человечески. Я ответил, что словам их не верю. Джон сказал, что клянется честию своей. Честию какого-то Стряпчего, уточнил я, напомнив, сколь часто законники торгуют истиною, ежели им посулить хорошее за то Вознаграждение. Тогда они попробовали склонить меня к согласию во имя доброго имени Семьи. Я сказал на это, что доброе имя Семьи меня не заботит, однако же у меня нет желания подвергнуться Унижению, каковым станет Публичный Процесс, ниже страданиям и неудобствам плаванья на судне с Каторжниками. Ежели они предложат Тому и Другому разумную Альтернативу, я готов их выслушать, хотя никакую Альтернативу не сочту Разумною, пока не получу гарантий гуманного обращения со мною, в их власти находящимся. Клятвы честию таковой гарантией для меня не являются; не соглашусь я также быть помещенным в Учреждение, где меня вверят заботам Лекарей и Попечителей, коих труды оплачиваются людьми, ищущими погубить меня елико возможно скорее. Посему я отказываюсь подписывать любой Договор, отдающий меня на их милость, ежели таковой Договор не сделает их столь же зависимыми от моего Благорасположения».

– Искусство дипломатии, словно в учебнике,– сказал доктор Обиспо.– Чемберлену бы повнимательнее этот учебник пролистать, когда он в Мюнхен собирался. Хотя, логично рассуждая, ничего бы всерьез не переменилось,– добавил он.– Потому что старания политиков не так уж много и значат, в конце-то концов; существует национализм, а стало быть, хотя бы одна война неизбежна для каждого поколения. Так всегда было и, думаю, нет причин сомневаться, что и дальше так будет. Любопытно, впрочем, как старик наш намерен осуществить свои дипломатические замыслы. Он ведь действительно у них в руках. Уж какая там зависимость от моего благорасположения!

– Не знаю, пока не знаю,– ответил Джереми, погруженный в хронику далеких событий.– Старичка опять увлекло на философские нивы.

– Философские? – доктор был сильно удивлен.– Ведь уж ордер на арест выписали.

– «Было время,– прочел Джереми,– когда я полагал, что все Усилия, людьми предпринимаемые, целью своею имеют Овладение неким Бастионом, находящимся приблизительно посредине женского Тела. Ныне склоняюсь я к уверенности, что Тщеславие и Корысть играют в деяниях человеческих роль даже более значительную, нежели Сладострастие, и что ими предуказана природа Помыслов людских». И так далее. Когда же, однако, вернется он к происходящему? Может, правда, и вообще не вернется, на него это похоже. Хотя нет, постойте.

«20 марта. Сегодня Роберт Парсонс, мой Поверенный, возвратился из Лондона, привезя с собою три железных ящика, заполненных золотыми Монетами, а также Ассигнациями, общей стоимостью в двести восемнадцать тысяч фунтов, кои удалось выручить продажею моих Векселей, равно как Брильянтов, Серебра и Предметов Искусства, каковые в столь краткие сроки можно было сбыть за наличные деньги. Ежели бы я располагал временем, продажа оных принесла бы не менее трехсот пятидесяти тысяч. Я готов философски примириться с понесенными убытками, поскольку сумма, коею я теперь располагаю, вполне достаточна для моих целей».

– Каких же это? – полюбопытствовал доктор Обиспо.

Джереми ответил не сразу. «Боже правый, да что же это творится! – сказал он, наконец, в недоумении разводя руками.– Вот послушайте. «Погребению должны сопутствовать все почести, подобающие высокому моему Титулу, а также образцовым Добродетелям, кои меня отличают. Джон и Каролина, побуждаемые скаредностью вкупе с черствостию сердца, имеют дерзость возражать, ссылаясь на большие Расходы, однако же я настоял на том, что Обряд должен стоить Четыре Тысячи фунтов, и не уступлю ни пенни. Единственное, о чем сожалею,– невозможность покинуть на время подземное мое Прибежище, дабы мог я созерцать весь Маскарад неутешного Горя и полюбоваться выражением Скорби, кое напечатлеют на увядших лицах своих новоявленный Граф вкупе с Графинею. Нынче вечером я в обществе Кэти удаляюсь в новую нашу Обитель, устроенную в Погребах; завтра Мир будет оповещен о моей Кончине. Тело какого-то ветхого годами Попрошайки уже тайком доставлено сюда из Хэслмира, дабы занять мое место во Гробе. По окончании Ритуала новый Граф с Графинею сразу же проследуют в Гонистер, где и будут

находиться в своей Усадьбе, оставив сей дом безлюдным, не считая Парсонса, коему вменены в обязанность Хлопоты о нашем материальном Благоденствии. Золото и Ассигнации, доставленные Парсоном из Лондона, уже помещены в подземное хранилище, месторасположение коего известно мне одному, и, согласно Договору, раз в год, а именно первого июня, я собственноручно, пока жив, буду вручать Джону или Каролине пять тысяч фунтов наличными, а ежели оба они покинут сей Мир ранее меня, та же сумма назначается их Наследнику, либо же законом признанному представителю их Семейства. Льщу себя мыслью, что, устроив дела таковым образом, я сохраню живым свой Дом, Покинутый Страстию, коя для них обоих есть нечто в высшей степени неведомое». Ну вот и все,– Джереми отложил тетрадь.– Дальше чистые листы. Всего две пустые страницы, и тетрадь кончается. Ни слова более.

Последовало долгое молчание. Доктор Обиспо, встав со стула, расхаживал из угла в угол.

– Стало быть, никому не известно, сколько же прожил на свете старый пакостник? – спросил он наконец.

Джереми покачал головой.

– Семейная тайна. Может, те две старухи что-то знают...

Остановившись прямо перед Джереми, доктор хлопнул кулаком по столу и объявил решительно:

– Еду в Англию первым же пароходом.

## 9

Даже посещение детского приюта не ободрило сегодня мистера Стойта. Сестры посылали ему самые лучезарные улыбки. Встретившийся в коридоре молодой приютский врач источал почтительность. Выздоравливающие с заученным энтузиазмом приветствовали его: «Дядя Джо! Дядя Джо!», а когда он останавливался у постелей лежачих, в тот же миг на их лицах появлялось выражение бесконечной радости. Игрушки, которые он раздавал, принимались как всегда: то с шумной радостью, то молчаливо, словно бы – и это доставляло ему особое удовольствие – одаренные лишились речи от изумления и счастья. Он переходил из палаты в палату, в который раз удручаясь при виде стольких тел, покалеченных скрофулезом и параличем, всматриваясь в эти бледные личики давно

привыкшие терпеливо страдать, в этих никнущих ангелочков, этих младенцев, измученных болезнью, этих курносых проказников, смиренных болью и притихших.

Обычно после таких обходов он испытывал чувство удовлетворения, то есть вообще-то расстраивался до слез, но при всем том его просто распирала гордость – он ведь человек, и детишки эти тоже люди, а вы поищите-ка таких вот стойких, таких мужественных, и кроме того, он действительно для них кое-что сделал, другой такой больницы нигде в нашем штате нет, тут все самое лучшее, что только можно достать, если денег не жалеешь. Но сегодняшний визит таких настроений не пробудил. Ни расстройства, ни гордости. И собой он сегодня не любовался, и сострадания к детям не испытывал, не тревожился за них; счастливое чувство, которое возникало из этих побуждений, нынче тоже не пришло. Он вообще ничего не чувствовал, ничего, одну лишь тупую, разъедающую тоску, которая его не отпускала весь день – и в Пантеоне, и у Клэнси, и в городской конторе. По пути из города он с нетерпением предвкушал, что вот сейчас, в приюте ему станет хорошо: так астматик мечтает об адреналине, опиоман – о своей трубочке, которой долго был лишен. А облегчения не наступило. Не помогли ему детки, нет, не помогли.

По опыту предыдущих визитов зная, что надо говорить на прощание, швейцар улыбался ему и все твердил, какие чудесные ребятишки, нигде таких не найдешь. Мистер Стойт покосился на него, холодно кивнул и сел в машину.

Швейцар смотрел ему вслед. «Как бы в ящик не сыграл»,– подумал он, вспомнив, какое было у мистера Стойта лицо.

Мистер Стойт возвращался в замок с тем же тяжелым чувством, с каким уезжал утром. Украшенный Вермеером лифт поднял его на пятнадцатый этаж; Вирджинии в будуаре не было. Он спустился на одиннадцатый – не оказалось ее и в бильярдной. На третьем выяснилось, что сегодня она не делала ни маникюра, ни массажа. Охваченный внезапно проснувшимся подозрением, он поехал вниз, до последнего подземного этажа, и чуть не бегом помчался по коридору к лаборатории – уж не сидит ли она у Пита? но в лаборатории было безлюдно. Попискивала в клетке мышь; за стеклом аквариума старый карп медленно выплывал из тени на свет, а потом поворачивал обратно в зеленый сумрак. Мистер Стойт опять бросился к

лифту, очутился наедине с грезами голландца, пожелавшего непостижимым образом придать будничности стройность математических формул, и нажал на самую верхнюю из двадцати трех кнопок.

Добравшись наверх, он остался в кабине и приник к стеклянной фрамуге в дверце.

Вода в бассейне стояла совершенно неподвижно. Видневшиеся между башнями горы сверкали своим вечерним великолепием – золотые лучи, перемежаемые тенями цвета индиго. На прозрачном небе не было ни облачка. У дальней стены бассейна стоял железный столик с бутылками и стаканами, а рядом низкая кушетка, на которой мистер Стойт принимал солнечные ванны. Сейчас на кушетке лежала Вирджиния, словно бы не проснувшись после наркоза,– приоткрытые губы, сомкнутые веки, рука безвольно свесилась к полу ладонью вверх, как цветок, небрежно оброненный и позабытый. Рядом, наполовину скрываемый столиком, сидел доктор Обиспо, этот доморощенный Клод Бернар, и поглядывал на Вирджинию с любопытством экспериментатора, увлеченного своим опытом.

В первую минуту мистер Стойт испытал такую ярость, что даже позабылось, чем она вызвана. С огромным усилием ему удалось сдержаться, не закричать, не выскочить пулей из лифта, размахивая кулаками и заходясь воплями, от которых пена вскипела бы на губах. Руками, трясущимися от негодования, ненависти, отвращения, он шарил по карманам. Ничего – только погремушка да два пакетика жвачки, оставшиеся после посещения приюта. Впервые за целые месяцы он забыл прихватить свой кольт с автоматическим зарядом.

Несколько секунд он колебался, не зная, что предпринять. Ринуться на него, как повелевал первый импульс, и задушить голыми руками? Спуститься за пистолетом? Он решил, что так будет правильнее. Нажал кнопку – лифт бесшумно заскользил вниз. Невидящим взором мистер Стойт уставился на Вермеера – за прозрачным экранчиком юная дама в голубых шелках, царившая на вселенной безукоризненной геометрической красоты, оторвавшись от клавикордов, рассматривала поверх выложенного шашечкой пола ту начинавшуюся за фрамугой лифта другую вселенную, в которой ведут свою безобразную, несуразную свою жизнь мистер Стойт и прочие ее обитатели.

Он метнулся в спальню, рывком выдвинул ящик, где лежали платки, яростно расшвырял батисты, перкали – ничего. Тут он вспомнил. Вчера утром он был без куртки. Кольт в боковом кармане. Пришел Педерсен, они занимались шведской гимнастикой. Делали упражнения на полу, лежа на спине, и пистолет мешал. Он его вынул и спрятал в ящике стола в кабинете.

Мистер Стойт помчался к лифту, спустился на четыре этажа и побежал в кабинет. Кольт в верхнем ящике справа, он точно помнит.

Верхний ящик справа оказался заперт. И остальные ящики тоже.

– Ах, сука старая! – шипел он, дергая за ручки.

Мисс Грогрем, его секретарша, предусмотрительная до мелочей, всегда все запирает, прежде чем уйти.

Осыпая проклятьями мисс Грогрем, которую он сейчас ненавидел чуть ли не сильнее, чем эту сволочь там, у бассейна, мистер Стойт опять бросился к лифту. Дверь не открывалась. Видимо, кто-то вызвал лифт, пока он копался в кабинете. Слышался едва различимый шум работающего подъемника. Лифт занят. Черт, да сколько же ему тут дожидаться!

Издав нечленораздельный выкрик, мистер Стойт побежал по коридору, взял направо, крутанул вращающуюся дверь, еще раз взял направо и очутился у грузового лифта. Схватился за ручку, потянул. Не открывается. Он с яростью надавил на кнопку. Бесполезно. Грузовой лифт тоже занят.

Он снова помчался коридорами – одна вертящаяся дверь, другая. Лестница вилась вокруг центрального ствола, уходившего вглубь на двести футов, до самых подвалов. Мистер Стойт побежал вверх по ступеням. Одолел два пролета и, задыхаясь, поспешил к лифтам. Грузовой был по-прежнему занят, но вторая кнопка сразу зажглась. Подъехав откуда-то сверху, лифт был к его услугам. Дверь, щелкнув, отворилась. Он ввалился в кабину. Юная дама в шелках так же безмятежно царила над безукоризненно рассчитанной вселенной. Расстояние от левого ее глаза до левого края картины соотносилось с расстоянием от правого края точно как единица к квадратному корню из двух минус один, а расстояние от этого глаза до нижнего края равнялось ему до миллиметра. Ленты, узлом завязанные на левом плече, помещались как раз на углу воображаемого прямоугольника, стороны которого в сумме

были равны основанию. Глубокая складка на шелковой юбке указывала местонахождение правой стороны этого прямоугольника, верхняя сторона обозначалась крышкой клавикордов. Ковер в верхнем правом углу занимал ровно треть площади картины и нижний его край размещался на высоте, пропорциональной основанию. Подчеркиваемый коричневыми и густыми охровыми тонами фона голубой шелк в сочетании с чернобелым рисунком мраморного пола словно бы отступал вглубь, повисая посреди полотна, как стальной брусок между двумя магнитами. Ничто не подлежало изменению в окаймленном рамой мире – абсолютная его законченность была не просто неподвижностью старых красок и холста, но тем вдохновенным успокоением, какое дарует сознание достигнутого совершенства.

– Старая сука! – бормотал себе под нос мистер Стойт и, позабыв секретаршу, переносясь мыслями к доктору Обиспо, добавлял: – Сволочь поганая!

Лифт остановился. Отшвырнув дверь, мистер Стойт ринулся по коридору в кабинет мисс Грогрем. Ему казалось, он помнит, где ключи; он ошибался. Ключи лежали где-то еще. Но где, черт возьми? где же? Ярость сменилась чувством собственной беспомощности, заставлявшим содрогаться в конвульсиях. Он вытаскивал ящик за ящиком, вываливая содержимое на пол, разбрасывал аккуратно сложенные бумаги, опрокинул диктофон, дошел до того, что начал швырять с полок книги, перевернул горшок с цикламеном и аквариум с японскими золотыми рыбками, стоявший на подоконнике. Среди раздавленного стекла и растрепанных справочников замелькали красные чешуйки. Пролившиеся чернила измазали трепещущие плавники. Схватив бутылку с клеем, мистер Стойт изо всех сил запустил ею в подыхающего меченосца.

– Сука! – орал он.– Сука!

И вдруг он заметил ключи, аккуратно повешенные на гвоздик у камина, где – ему ясно вспомнилось – он и прежде их видел тысячи раз.

– Сука! – с удвоившейся яростью выкрикнул он, хватая всю связку. Кинулся к двери, на минуту притормозив, чтобы скинуть со столика пишущую машинку. Она с тяжелым стуком хлопнулась на пол, где растекался по изорванным бумагам, по задохнувшимся рыбкам густой клей. Так ей и надо, старой суке,

с садистским наслаждением думал мистер Стойт, что было сил мчавшийся к лифту.

## 10

Барселона пала.

Ну хорошо, допустим, она бы не пала, ее бы даже не осадили – многое ли бы изменилось?

Как всякое людское сонмище, была она отчасти механизмом, отчасти недочеловеческим организмом, отчасти же сутью и воплощением безумств, нашему роду свойственных,– корыстолюбия и самомнения, жажды власти, одержимости бессмысленными словами, поклонения сумасбродным идеям.

Капитулировавший ли, несдавшийся, любой город и любой народ обречены судьбе своей в мире, утратившем Бога. Своей судьбы в утратившем Бога мире им не избегнуть, и оттого не избегнуть вечного позорища, вечно повторяющихся саморазрушительных устремлений.

Барселона пала. Но ведь и во времена общественного благоденствия на самом деле происходит неуклонный, катастрофический упадок. Созидающие основы цивилизации – не те же ли самые люди, которые их подрывают? Человек – он вроде термита, точащего стенки своего же дома, и термитом останется, пока остается только человеком.

Возводят башни и дворцы, замки, особняки и кузницы, но истончается каждая балка с той минуты, как ее закрепят, и дырявятся брусья, и пылью древесной крошатся перекрытия под ступившей на них ногой.

Какой величавый ансамбль, какие прекрасные статуи – но Пелопонесская война начнется со дня на день! Как изумительно украшен Ватикан – но разграбление Рима не за горами1 И вот уже докончена «Героическая» [71]* – но прославленный ею герой окажется обыкновенным бандитом. И вот уже поняли, что такое атом,– но добились этого те самые физики, которые вызовутся усовершенствовать орудия смерти, стоит заговорить пушкам.

В утратившем Бога мире людям остается лишь разрушать ими же сотворенное: разрушать, сотворяя, и творить с мыслью о разрушении.

[71] «Героическую» симфонию Бетховен посвятил Наполеону.

Безумие заключено в неспособности опознавать факты, и в том, что желание подчиняет себе мысль, и в том, что вещи видят не такими, как они есть, а вожделенную цель стремятся осуществить средствами непригодными, что прежний опыт засвидетельствовал на бесчисленных примерах.

Безумие заключено, например, в том, что человек осознает себя наделенным душой, целостной и неразложимой сущностью. Однако между животным низом и духом, витающим в высях, нет в человеческом бытие ничего, помимо неразберихи перепутавшихся побуждений, чувств и понятий, этого сцепления капризов наследственности, созданного общностью речи, клубка логически необъяснимых и часто противоречащих друг другу импульсов, желаний, идей. Память и медленно эволюционирующая плоть образуют ту пространственно-временную рамку, а верней, клетку, в которой это сцепление заключено. И полагать, будто в нем явлена цельная, неразложимая душа,– это вот и есть безумие. В человеческом, сугубо человеческом бытие душа отсутствует.

Сочетания мыслей, согласия чувств, сочленения прихотливых желаний. Случайностью все они создаются, и эта же случайность жестко предопределяет их характер. В «душе» нашей столь мало нас самих, что затруднительным становится хотя бы самым приблизительным образом представить себе, как «мы» должны отзываться на явления жизни, и стало быть, вовсе невозможным, если бы не приходил на выручку язык, даже не вообще дар речи, но тот язык, на котором мы говорим. И «душа» наша, и мир, где она обретается, предстали бы совершенно иными, если бы у нас отняли речь или вот заставили говорить не по-английски, а по-эскимосски. Безумие, среди всего прочего, заключено и в представлении, будто «душа» существует отдельно от языка, которому, уж так вышло, учили нас нянюшки.

Каждый психологический ход предопределен, и все они, совершаемые в клетке, которую образуют плоть наша и память, ничуть не свободнее – по отдельности, в совокупности,– чем действия, производимые любым органом тела. Толковать о свободе применительно к действиям, которые в действительности предопределены,– тоже безумие. В границах человеческого бытия свободных действий не бывает. Одержимые сумасбродным непризнанием фактов, каковы они есть, люди обрекают себя на то, чтобы добиваться

удовлетворения своих желаний, уродуя собственную жизнь, губя ее.

Точно так же, как города, где они обитают, как нации, к которым принадлежат, люди заняты разрушением того, что сами создали или стараются создать. Различие лишь в том, что города и нации подчинены законам, относящимся к большим числам, люди же – нет. Верней, не испытывают необходимости им подчиниться, ибо законы их к тому не принуждают, хотя на деле-то большинство людей все равно позволяют, чтобы эти законы ими руководили. А необходимости в этом для человека нет по той причине, что необязательно ему замыкаться только человеческим. Ему дано, оставив утративший Бога мир, устремиться к миру, осененному присутствием Его. В том сцеплении, которое представляет собой человеческая психология, любой элемент предопределен, а значит, предопределена и деятельность всей системы. Однако вне ее, хотя ее в себя вбирая и собою проникая, существует вечное,– оно открыто, оно взывает к познанию. Только вот ведь что: если стремишься приобщиться вечному, обретаясь в пространственно-временной клетке индивидуального бытия, значит, сцепление, именуемое нами «душой», должно добровольно отказаться от лихорадочной своей активности, должно, скажем так, предоставить простор для иного, вне времени находящегося сознания, должно умолкнуть, чтобы сделалось возможным внимать тому, истинно глубокому молчанию. Бог истинно присутствует лишь при полном отсутствии того, что мы называем своей человеческой природой. Никакая железная необходимость не обрекает человека на бесплодные муки, которые ему суждены, пока остается он в пределах только человеческого. Даже сцепление, названное нами душой, способно хотя бы минутами прерывать безумную свою активность, с тем чтобы являлся – хотя бы минутами – Бог. Но пусть вечное заявит о себе, пусть Бог возвещает о присутствии Своем достаточно часто, подавив человеческие желания, и чувства, и страсти,– вот тогда преобразится жизнь, которой мы живем, по неизбежности снова и снова возвращаясь к человеческому, только человеческому. Ведь, и погрязнув в неразберихе страстей наших и пристрастий, можем мы внимать красоте вечного, и тогда мы испытываем содрогание перед уродством собственной жизни, и, увидев

уродство, пытаемся ее преобразить. Хаос уступает место упорядоченности – не тому произвольному, по человеческим меркам выстроенному порядку, которым одаряет нас сервилизм перед какой-нибудь бредовой «идеей», но порядку, отразившему в себе истинные законы мира. Рабство уступает место свободе, ибо выбор наш более не основывается на произволе случайностей, о каких свидетельствует минувшее, он телеологичен, он совершается при непосредственном знании истинной природы вещей. Насилие и пустое существование по инерции уступают место умиротворенности, потому что насилие есть лишь маниакальная, а инерционное существование – депрессивная фаза того сумасшедшего цикла, который начинается с той минуты, как наше «я» вообразит себя самое или социальные свои продолжения в виде реальных сущностей. Удовлетворенность – это ведь здравая активность, которая направляется пониманием, что «душа», будто бы у нас имеющаяся, есть чистая иллюзия, и что все ею сотворенное есть безумие, и что все живое способно воссоединиться в вечности. Сострадание – одна из примет такой удовлетворенности, и дарует ее тот же самый акт познания истины.

Поднимаясь в замок по освещенному закатными лучами холму, Пит с постепенно утихавшим волнением вспоминал весь этот свой разговор с мистером Проптером. Барселона пала. А Испания, Англия, Франция, Германия, Америка – не то же ли самое падение, пусть временами покажется, что, напротив, происходит рост? не разрушается ли и тут созидаемое, и уже в ту минуту, когда созидают? Но ведь человеку, любому человеку по силам удержаться от падений, не разрушать самого себя и дальше. Со злом солидаризируются по выбору – не по необходимости.

Когда выходили из столярной мастерской, Пит набрался духу и спросил: так что я должен делать?

Мистер Проптер внимательно посмотрел на него.

– Если вы так хотите,– сказал он,– но только, если действительно хотите...

Пит кивнул, не отвечая.

Солнце зашло, и в наставших сумерках словно таилась умиротворенность – та, думал Пит, всматриваясь в далекие горы за равниной, которую дарует Бог, та, что превосходит разумение человеческое. Непереносимо расстаться с такой красотой. Войдя в замок, он направился прямо к лифту, вызвал кабину,

опустившуюся откуда-то сверху, очутился наедине с Вермеером и нажал кнопку. Там, на крыше предстанет ему воочию этот царственный небесный покой.

Лифт остановился. Пит распахнул дверь, вышел. Неподвижно мерцал заполненный бассейн. Он взглянул вверх, на небо, затем на горы, и пошел вокруг бассейна к башенкам на противоположной стороне.

– Уходи! – вдруг послышался приглушенный голос.

Вздрогнув, Пит резко обернулся и разглядел в тени Вирджинию, лежавшую почти у его ног.

– Уходи! – повторил голос.– Ненавижу.

– Извините,– пролепетал он.– Я никак не думал...

– Ах, это вы.– Она открыла глаза; в полумраке он все же заметил ее слезы. – Я-то думала, Зиг вернулся. За гребнем моим пошел.– Минуту помолчав, она вдруг зашлась рыданиями.– Пит, милый, я такая несчастная.

– Несчастная! – Слово это и тон, каким оно было произнесено, резко нарушили божественную умиротворенность. Мучимый тревогой и любовью, Пит опустился к ней на кушетку. (Под купальным халатом, невольно отметил он, на ней ничего не было.) – Несчастная?

Вирджиния всхлипывала, закрыв лицо руками.

– Пресвятая Дева! – доносилось ее задушенное слезами бормотание.– Прости меня, прости, даже Тебе рассказать не могу. Чудовище я самое настоящее...

– Милая,– попытался утешить ее Пит, уговаривая, словно ребенка. Он погладил ее по голове.– Милая моя!

У противоположного борта вдруг поднялся оглушающий шум; с громким стуком захлопнулась дверь лифта, раздались чьи-то стремительные шаги, сопровождаемые разъяренными нечленораздельными воплями. Обернувшись, Пит увидел, как прямо на них несется мистер Стойт, размахивая зажатым в руке предметом, похоже, автоматическим кольтом.

Он еще не успел подняться, как прогремели выстрелы.

Две-три минуты спустя появился, неся гребень Вирджинии, доктор Обиспо и увидел, как старик ползает на коленях, носовым платком пытаясь стереть пятна крови, хлеставшей из ран,– маленькой, вроде аккуратной дырочки, и другой, зиявшей, как пролом, в голове.

Малышка, забившись в густую тень у башни, твердила: «Пресвятая Дева Заступница молись за нас грешных в

последний наш час аминь» – и опять, и опять, быстрее и быстрее, захлебываясь рыданиями. Приступы рвоты, подступавшей поминутно, заставляли ее умолкнуть, содрогаясь в конвульсиях. И снова – «нас грешных в последний наш час аминь Пресвятая Дева Заступница...»

Остолбенев от изумления, доктор только и смог выговорить чуть слышно: «Господи Иисусе!» – и быстро, бесшумными шагами обогнул бассейн. Прежде чем его заметили, он предусмотрительно подобрал револьвер, сунув в карман. Не лишне будет, шут его знает. Он окликнул мистера Стойта. Старик вздрогнул, на лице мелькнуло выражение ужаса, смешанного со злобой. Всмотревшись, он опознал подошедшего, и страх сменился облегчением.

– Ах, слава Богу, это вы,– сказал он, но тут же вдруг вспомнил, что доктора-то и собирался прикончить. Впрочем, давно это было, где-то там, за миллион миль отсюда, миллион лет назад. А сейчас не до Малышки ему, и какая уж там любовь, какая обида, когда вот оно – неотступно, деваться некуда, видишь, лежит прямо перед тобой на полу, и страшно, страшно туда взглянуть.

– Спасите его, слышите! – просипел он хрипло.– Тогда объявим, что несчастный случай произошел, и все. Я ему сколько захочет заплачу. Ну, в разумных пределах,– повинуясь закоренелому рефлексу, уточнил он.– Только спасите! – Он с натугой поднялся, жестом показав доктору Обиспо, чтобы тот занял освободившееся место.

Доктор, отступив на шаг, стоял не шелохнувшись. Еще не хватало дорогой костюм перемазать, старик-то весь в крови.

– Кого это спасти, его, что ли? – переспросил он.– Да вы умом тронулись. Видите, мозг совсем уж вывалился, вон растекается по полу.

Дико вскрикнула, забыв о молитвах, Вирджиния.

– По полу! По полу!

Доктор Обиспо резко обернулся.

– А ты заткнись! Понятно?

Вопли тут же умолкли; секунду-другую ее выворачивало, а затем снова – «Пресвятая Дева Заступница молись за нас грешных в последний наш час аминь Пресвятая Дева Заступница молись за нас грешных...»

– Если кого можно спасти, так давайте вас,– сказал доктор.– И вот что,– добавил он с нажимом, всю тяжесть тела перенеся

на левую ногу, а кончиком правого ботинка указав на труп,– запомните как следует, спастись вам очень непросто будет. Либо на стульчик сядете, либо в Сен-Квентин [72]* пожизненно, и это еще в лучшем случае.

– Но ведь несчастный случай это, я ж говорю,– запротестовал мистер Стойт, задыхаясь от стараний рассуждать убедительно.– То есть, я хочу сказать, по ошибке так вышло. Не хотел я в него стрелять. Я не в него, я...– Он умолк и так и стоял с разинутым ртом, словно стараясь проглотить слова, вертевшиеся на языке.

– В меня вы стрелять собирались,– договорил за него доктор Обиспо, улыбаясь с тем выражением волчьей радости, которое всегда у него появлялось, если шуточки его оказывались особенно неуместными или кого-то ранили по-настоящему больно. Твердо зная, что старый козел слишком перепугался, чтобы взъяриться, да и пистолет надежно припрятан, он добавил все так же иронически: – Нехорошо выходит, когда за другими в щелочку подглядываешь, убедились?

–...в последний наш час аминь Пресвятая Дева Заступница,– долдонила Вирджиния в наступившей тишине.–...молись за нас грешных...

– Не хотел я, – тянул свое мистер Стойт.– Прямо черт попутал. Сам не понимаю, что со мной такое было.

– В суде расскажете,– саркастично заметил доктор.

– Да клянусь же, сам не понимаю,– вскинулся мистер Стойт. Осипший его голос прорезался вдруг смешной тонкой нотой. Страх совсем обескровил его лицо.

Доктор пожал плечами.

– Все может быть,– сказал он. – Только понимаете, не понимаете – значения не имеет.– И, элегантно вытянув носок ботинка, снова указал на труп.

– Но делать-то, делать теперь что? – чуть не взвыл мистер Стойт, трясясь от ужаса.

– У кого другого спросите.

Как бы умоляя, мистер Стойт потянулся пальцами к его рукаву, но доктор тут же сделал шаг назад.

– Не прикасайтесь! На руки свои посмотрите.

---

[72] Тюрьма в Сан-Франциско.

Мистер Стойт раскрыл ладони. Толстые, вроде крупной моркови пальцы были в крови, уже запекшейся и сгустившейся, словно глина, под ногтями.

– О Господи! – прошептал он.– Господи Боже мой!

–...в последний наш час аминь Пресвятая Дева Заступница...

Услышав про последний час, старик содрогнулся, как лошадь, огретая кнутом.

– Обиспо,– опять начал он, порывисто дыша и глядя на него умоляюще.– Обиспо! Послушайте, ну вы же должны меня вытащить. Помочь мне должны,– канючил он.

– После того-то, как вы со мной такое вот сделать хотели? – светлокремовый ботинок еще раз качнулся по направлению к телу.

– Значит, позволите, чтоб меня зацапали? – обезумев от ужаса, мистер Стойт смотрел на него, как провинившийся пес.

– А почему нет, скажите на милость?

– Ну нельзя же так! – надрывался мистер Стойт.– Нельзя!

Доктор Обиспо наклонился над кушеткой и, удостоверившись, что крови там, насколько было видно при таком свете, нет, уселся, поддернув брюки цвета кожи фавна.

– Ноги не держат, устал что-то,– сообщил он, словно продолжая непринужденную беседу.

Мистер Стойт не отставал.

– Помогите мне,– униженно молил он,– не пожалеете потом, слово даю. Все, что хотите, для вас сделаю. Все,– повторил он, уже не вспоминая про разумные пределы.

– Слушайте, хватит чушь пороть,– сказал доктор Обиспо.

–...Пресвятая Дева Заступница,– бубнила Малышка,– молись за нас грешных в последний наш час аминь Пресвятая Дева Заступница молись за нас грешных...

– Чушь порете,– повторил доктор Обиспо.

# Часть III

## 1

В двери кабинета Джереми постучали; вошел мистер Проптер. На нем, отметил про себя Джереми, тот же темносерый костюм с черным галстуком, в котором он был на похоронах Пита. Он кажется меньше ростом, когда рабочую одежду меняет на выходную, и меньше в ней похож на себя. Побитое непогодой лицо с резко выделенными чертами – совсем как лик той статуи, которую ставят высоко на западном фронтоне церквей,– над крахмальным воротником казалось особенно непроницаемым.

– Не забыли? – спросил он, обменявшись с Джереми рукопожатием.

Вместо ответа Джереми указал на свой темный пиджак и мешковатые брюки. Их ждали в колледже Тарзания на церемонию открытия Стойтовского корпуса.

Мистер Проптер взглянул на часы.

– Еще несколько минут у нас есть, можно поговорить спокойно,– сказал он, присаживаясь.– Что нового?

– Да все замечательно,– ответил Джереми. Мистер Проптер кивнул.

– Тут, наверное, и впрямь хорошо теперь стало, когда бедняга Джо со своей компанией отбыл.

– Я тут один-одинешенек, сторожу всякую всячину общей стоимостью двенадцать миллионов,– продолжал Джереми.– Жаловаться нечего, не скучаю.

– А признайтесь, будь рядом с вами те, кто всячину эту сделали, вы бы не очень радовались,– заметил мистер Проптер.– Ну, в обществе Греко, Рубенса, Фра Анжелико.

– Боже сохрани! – засмеялся Джереми, воздев руки.

– Вот в этом и прелесть искусства,– сказал мистер Проптер.– Запечатлевает только самые прекрасные черты людей, отмеченных большим талантом. Оттого-то я никогда не верил, что по искусству, какую эпоху ни возьми, можно судить о жизни в эту эпоху. Допустим, явится сюда какой-нибудь марсианин, и вы его поведете в музей, где выставлены Боттичелли, Перуджино, Рафаэль. Думаете, он сумеет по этим

картинам вообразить себе, что жизнь тогда была такой, как Макиавелли описывает?

– Ни за что,– согласился Джереми.– Но вот вам встречный вопрос. А Макиавелли – он что, достоверно описал? Нет-нет, я не сомневаюсь, что говорит он правду. Все, о чем у него сказано, действительно было. Однако казались ли его современникам эти вещи такими ужасными, как нам кажутся? Мы, разумеется, убеждены; люди ужасно от всего этого страдали. А вот действительно ли страдали?

– Действительно ли страдали? – откликнулся мистер Проптер.– Это бы у историков надо выяснить, да только они, разумеется, ничего сказать не смогут, не существует ведь способа вести статистику радости, равно как сопоставлять чувства людей, живших при таких-то условиях, с ощущениями живущих в совершенно других, глубоко изменившихся. Истинные условия в любую эпоху – это субъективное представление ее современников, хорошее им досталось время или плохое. А такие вещи никакой историк не выяснит.

– Согласен, однако способ есть,– надо всматриваться в свидетельства искусства,– возразил Джереми.– Я считаю, об этих субъективных представлениях искусство достаточно ясно говорит. Вот вы вспомнили Перуджино. Он жил в ту же эпоху, что Макиавелли. Стало быть, в то злосчастное время нашелся хотя бы один человек, сумевший быть счастливым. А если сумел один, отчего не суметь многим? – Он прокашлялся, готовясь процитировать классика.– «Состояние государственных дел людям не помеха, чтобы воздать должное обеду».

– Мудро, очень мудро! – сказал мистер Проптер.– Не забывайте, однако, что в Англии времен доктора Джонсона государственные дела шли превосходно, даже если иногда кое-что случалось неприятное. А как насчет, допустим, Испании или Китая, таких стран, где должное обеду не воздашь, поскольку обеда просто нет? Или возьмем противоположный случай: в государстве все обстоит великолепно, а вот аппетита у людей нет как нет.– Он помолчал, лукаво улыбаясь и покачивая головой.– Бывает так, что и радостей предостаточно, и горя тоже, а бывает, одно только горе вокруг. Вот и все, что вам скажет историк, если, конечно, он честен. А если склонен впадать в теологию, в метафизику и прочее, то разглагольствовать на этот счет будет до бесконечности,– как

Маркс, или Святой Августин, или Шпенглер.– На лице мистера Проптера промелькнула презрительная усмешка.– О Господи, как подумаешь, сколько вздора успели нагородить всего-то за несколько тысяч лет.

– Но вздор бывает занятен,– не уступал Джереми.– Особенно, когда городят умело...

– Я, видимо, варвар и поэтому предпочитаю здравый смысл,– сказал мистер Проптер.– И если уж мне понадобится философия истории, я обращусь к психологам.

– Тотем и Табу? [73]* – Джереми был слегка удивлен.

– Да нет же, нет,– с нескрываемым раздражением ответил мистер Проптер.– Не к этим психоаналитикам я пойду. Я подразумевал психологов религиозных, тех, кто из непосредственного опыта знает, что люди способны к высвобождению, к просвещению. Настоящую философию истории создаст лишь тот, чьи гипотезы проверены экспериментально, а оттого он и способен предложить такие обобщения, которыми обнимаются все факты.

– И какие же это обобщения? – осведомился Джереми.– Традиционные?

Мистер Проптер рассмеялся.

– Конечно, традиционные, старые, избитые истины, от которых никуда не деться. В границах человеческого людям суждены невежество, бесплодные мечты и страхи. Да, невежество, пустые мечтания и страхи, а в результате – недолговечные радости, и печали, которые надолго, и горечь разочарований как итог. Каким образом это предотвратить – ясно, однако немыслимо трудно предотвратить это реально. Что поделаешь, приходится выбирать: либо одолеем немыслимые трудности, либо, вне всякого сомнения, отдадимся во власть непреходящих печалей и горького разочарования под конец. Впрочем, все равно в истории обнаружит смысл лишь тот, у кого имеется общая гипотеза. И только религиозный психолог сумеет разобраться в этой дилемме с Перуджино и Макиавелли, да и в этом тоже,– он показал на папки архива Хоберков.

Глаза Джереми моргнули за стеклами очков, рука потянулась к лысине.

– Но ваш настоящий историк вовсе и не желает в этом разбираться,– сказал он.

---

[73] Заглавие одной из программных работ З. Фрейда.

– Увы, вот это я всегда упускал из виду,– вздохнул мистер Проптер.

Джереми прокашлялся.

– «И об энклизе долго рассуждал»,– процитировал он из «Погребения Грамматика».

– Рассуждал, а как же,– отозвался мистер Проптер, вставая. – Упивался своими рассуждениями, а ни на минуту в голову ему не пришло, что грамматика, которую он всю жизнь штудировал, до безнадежности антинаучна, что в ней полным-полно загримированной метафизики, что она непоправимо отстала и устарела. Что же, по-другому, видимо, и быть не может.– Он взял Джереми под руки; пошли к лифту.– А Браунинг был презанятный человек,– мысли его вернулись к Грамматику.– Какой сильный ум, но ведь и наивности сколько, просто не верится. Вспомнить хоть весь этот вздор про романтическую любовь! Дескать, сами небеса ее благословили, и туда, на небеса она возносит, а уж брак или там утонченный адюльтер – ну просто познание райского блаженства, не менее. Господи, какая чушь! Хотя опять-таки, по-другому быть не может.– Он вздохнул, помолчав.– Не знаю, отчего мне часто вспоминается вот это, не помню уж из какого его стихотворения: «В ту ночь, как он меня поцеловал, туманом огненным Душа вострепетала». Душа вострепетала огненным туманом, вы только вдумайтесь! Нет уж, по мне куда лучше Чосер о таких вещах говорить умел. Помните? «И плотника жену в два счета обтесал». Великолепно сказано – ясно, точно, никакой витиеватости. А Браунингу непременно надо вещать о Боге, хотя я думаю, он в таких материях на самом деле куда меньше смыслил, чем Чосер, пусть тот всячески старался про Бога вообще не вспоминать. Для Чосера ничто не стоит между ним самим и вечностью, одни лишь его земные вожделения. У Браунинга вожделений тоже достаточно, но плюс к тому от вечности его отделяет ужасное нагромождение всяких нелепостей,– осознанных нелепостей, прошу заметить. Взять хоть его притворный мистицизм, это ведь не так себе игра словами. Тут ясная цель была. Ему же надо себя убедить, будто его вожделения – божественной природы. «И плотника жену в два счета обтесал»,– снова продекламировал он, когда кабина, украшенная Вермеером, тронулась вверх.– «Туманом огненным Душа вострепетала». Удивительное дело, до чего изменяется весь дух и строй жизни в зависимости от того, как мы о ней думаем, как говорим.

Знаете, мы вроде айсбергов в океане слов – на четыре пятых под водой, только одна пятая наверху, там, где воздух, где мы живем непосредственной жизнью, обходясь без языка.

Пересекли холл. Машина мистера Проптера стояла у парадного входа. Он сел за руль, Джереми устроился рядом. Поехали вниз по петляющей дороге – мимо павианов, мимо нимфы Джанболоньи и Грота, миновали решетку и подъемный мост.

– Все время вспоминаю бедного нашего мальчика,– прервал молчание мистер Проптер.– Горе какое, и так нежданно-негаданно.

– Я и не знал, что у него с сердцем так плохо,– сказал Джереми.

– А я, понимаете, все виню себя за то, что случилось. Попросил его помочь в столярке. Видно, не по силам ему это было, хотя он меня и уверял, что с удовольствием работает. И как мне в голову не пришло! – молод он был, стеснялся сказать, что ему тяжело. Вот и расплачиваюсь за собственную глупость и тупость. Мне-то поделом, а вот почему он должен был расплачиваться?

Они молча ехали вдоль ограды приюта, через апельсиновую рощу.

– Есть что-то бессмысленное в ранней внезапной смерти,– наконец заговорил Джереми.– Что-то особенно бессмысленное, ранящее...

– Особенно? – переспросил мистер Проптер.– Да нет, я бы не сказал. Не больше бессмыслицы, чем во всем прочем, что входит в людской обиход. А если такая бессмыслица ранит вас, так оттого лишь, что безвременная смерть очевиднее всего остального противоречит нашим представлениям о самих себе.

– Простите, не понял,– сказал Джереми.

– Я хотел сказать, тем представлениям, которых, по моему представлению, придерживаетесь вы,– мистер Проптер улыбнулся.– Если что-то кажется вам бессмысленным, должно существовать и что-то иное, разумное. А разумным мы считаем свое представление о себе. Мы себе кажемся свободными людьми, которые предназначены для определенной цели. Но вот раз за разом случаются события, с этим представлением не ладящие. И мы эти события называем несчастными случаями – они для нас лишены смысла и логики. Но, простите, по каким критериям это определяется? Да по единственному критерию:

собственной фантазией мы создали автопортрет, на котором изображена – о, как лестно для нас! – вольная личность, носитель творческого духа, некто, твердой рукой направляющий собственную судьбу. Увы, образ этот ничего не имеет общего с обыденностью человеческого существования. Это образ того, чем мы хотели бы стать да и смогли бы, только надо приложить усилия. А пока мы остаемся рабами обстоятельств, ничего такого уж бессмысленного в ранней смерти нет. Это всего лишь событие, обнаруживающее природу мира, в котором мы живем, хотя по глупости воображаем, что мир, разумеется, совсем иной. Несчастье – это когда какие-то взаимосвязанные события, происходящие в границах детерминизма, приходят в противоречие с другими, которые развертываются в царстве свободы. Мы мним, будто жизнь наша полна несчастий, оттого что вбили себе в голову, что там, в царстве свободы осуществляется человеческое бытие. Но ведь это не так. В большинстве своем мы ведем механическое существование, и события происходят в согласии с законами больших чисел. То, что мы называем бессмыслицей и несчастьем, прикосновенно к самому существу мира, который мы для себя выбрали.

Джереми молчал, досадуя, что необдуманным словом загнал себя в положение, когда Проптеру не составит труда уличить его в «идеализме», никакой почвы под собой не имеющем. Проехали несколько миль, не обменявшись ни словом.

– Похороны я и вспоминать не могу,– сказал наконец Джереми; неискоренимая привычка во всем отыскивать что-нибудь пригодное для анекдота заставила его и в событии, о котором шел разговор, подметить зримые странности и нелепицы.– Рональд Фербенк, да и только! – Он хохотнул.– Я этому мистеру Хабакуку говорю: вы бы в статуи паровое отопление провели, что ли. А то пальцем притронешься, так холод прямо замогильный.– Согнутой ладонью он как бы поглаживал мраморный выступ.

Мистер Проптер, увлеченный своими мыслями о высвобождении, кивнул, вежливо улыбаясь.

– А как доктор Малдж свое надгробное слово говорил! – продолжал Джереми.– В жизни таких елейных речей не слышал. Куда там до него нашим католикам, так и втирается, втирается в душу! Прямо вазелин пополам с портвейном. И этак авторитетно: «Я есмь воскресение и жизнь» – как будто самым

буквальным образом понимать следует, а он, Малдж то есть, лично ручается, что так и будет, готов под это денежное обязательство выдать: возмещу, мол, все расходы по погребению, если на том свете что-нибудь не совсем в порядке окажется.

– Да он, не исключаю, действительно так на вещи смотрит,– сказал мистер Проптер задумчиво.– Бывают такие вот Пиквики – на особый лад, конечно. Ну, с особенной своей логикой: вы совершенно правы, только я поступлю так, словно вы решительно заблуждаетесь; или: в мире важнее этого нет ничего, однако я постараюсь насколько возможно это игнорировать.

– Но сами-то вы в утешения эти верите? – спросил Джереми.– Бог с ним: ведь Пиквик, не как Пиквик – верите или нет? – И, услышав, что в подобное воскресение и жизнь мистер Проптер не верует – «Ах, так?»,– заговорил с возмущением папаши, который застукал сына целующимся с горничной:

– Ах, так? Стало быть, вы признаете воскресение по-пиквикски?

– Но почему же не признать? – засмеялся мистер Проптер.

– Тогда скажите, что теперь сталось с несчастным Питом?

– Ну,– ответил мистер Проптер неспешно,– прежде всего должен вам сообщить, что Пита, то есть Пита как такового, более не существует.

– Какой-то уж сверх-Пиквик получается! – перебил Джереми.

– Однако,– не позволил себя увлечь в спор мистер Проптер,– его недоумения, страхи его, мечтания – думаю, они и сейчас, вполне возможно, бродят где-то в мире, бродят и тревожат. Все и всех тревожат, но прежде всего сами не находят успокоения. И не важно, какую они могли принять форму.

– А если бы Пит не был такой простодушный, если бы не влюбился так сильно, что тогда?

– Тогда,– ответил мистер Проптер,– тогда, разумеется, ничего бы не осталось такого, что способно тревожить.– И, помедлив, процитировал Таулера: – «Бог есть бытие, отчужденное от живущих, вольное могущество, чистая способность к созиданию». Машина свернула с магистрали и теперь ехали по маленькому, окаймленному перечными деревьями шоссе посреди зеленых лужаек на территории Тарзании. Новый корпус в строгом романском стиле высился

над другими зданиями. Мистер Проптер отыскал для старенького форда местечко среди поблескивающих кадиллаков, крайслеров и паккардов, выстроившихся у парадного входа, и они вошли. Слонявшиеся по вестибюлю фоторепортеры, с первого взгляда поняв, что не главы банков прибыли, не кинозвезды, или юристы из корпораций, или сенаторы, или попечители церквей, равнодушно отвернулись.

Студенты уже заполнили зал. Под их взглядами мистера Проптера с Джереми провели вдоль прохода к местам, оставленным для почетных гостей. Истинно почетных! Вон там, впереди, Сол Р. Каценблум, президент кинокампании «Авраам Линкольн пикчерз» и опора Общества Морального Перевооружения; рядом с ним епископ Санта Моники; там же и мистер Пеце-каньоло из Банка Дальнего Запада. Великую герцогиню Юлалию посадили рядом с сенатором Бардольфом, в следующем ряду оба брата Энгельсы, а также Глория Боссом – вон, болтает с вице-адмиралом Шатовером. Оранжевая тога, подвитая в парикмахерской борода – это Свами Йоголинга, основатель Школы совершенствования личности. Тут же и вице-президент нефтяного треста «Консоль», и миссис Вагнер...

Вдруг раздались оглушительные раскаты органа – играли гимн Тарзании. Вошла процессия преподавателей в академическом облачении. Они шли попарно, красуясь в мантиях с капюшонами и квадратных шапочках, отделанных кистями,– профессора богословия, философии, естественных наук, права, изящных искусств, литературы,– прошествовали по проходу и поднялись на возвышение, где для них полукругом, уходившим в заднюю кулису, были поставлены кресла. Посреди сцены водрузили кафедру, а за кафедрой стоял доктор Малдж. Читать приготовленный текст, разумеется, он не собирался; доктор Малдж всем и каждому с гордостью сообщал, что может без всяких записей говорить сколь угодно пространно. Кафедра потребовалась для того, чтобы над нею склоняться, в порывах страсти сжимая края ладонями или наваливаясь грудью, вдохновенно постукивая кулачком по пюпитру, покидая ее и возвращась в самые патетические моменты.

Орган умолк. Доктор Малдж приступил к своей речи, само собой, первым делом произнеся имя мистера Стойта. Благодаря щедрости мистера Стойта сегодня... Мечта осуществилась... Сей в камне воплощенный Идеал... Человек, верный Мечте... Мечта о великом Расцвете нашей Тарзании... Центр Мысли,

средоточие Исканий, светоч Прогресса... Калифорния, символ Новой Культуры... подъем Наук, триумф Духовности... (Голос доктора Малджа воспарял фаготом, гудел трубой Иерихонской. Вазелин то едва припахивал портвейном, то растворялся в потоках жирного вина.) Какая жалость (патетическая пауза, голос падает вниз, звучит саксофоном, контрабасом), о какая досада... Судьба воспрепятствовала быть сегодня с нами... Неожиданные прискорбные события... Унесен во цвете лет... Юный талант, многое обещавший в области естественных наук, столь же близких, осмелюсь предположить, сердцу мистера Стойта, сколь ему близки социальная благотворительность и Культура... Потрясенный трагедией... Исключительно отзывчивая душа под этой скромной оболочкой... Врач настоял на безотлагательной и полной перемене обстановки... Но, хотя его физически нет с нами, дух его... Он витает сегодня под этими сводами... Вдохновляющий пример для всех нас, вступающих на тропы познания или же искушенных опытом... Свет Культуры... Захватывающие Перспективы... Идеал... Свершения человеческие... Огромные достижения, которыми мы уже можем справедливо... Печатью благосклонности Божией отмечены труды нашего Колледжа... Вдохновляемые и направляемые... Всегда идти вперед... вверх... Упорство... Вера и Надежда... Демократия... Свобода... Бесценное наследие Вашингтона и Линкольна всегда... Величие Греции вновь оживает на тихоокеанских берегах... Знамя науки... Великое призвание... Ясная и достойная Цель... Веление Господне... Наша Тарзания...

Он наконец-то договорил. Заиграл орган. Процессия профессоров вновь продефилировала по проходу. Вслед ей потянулись почетные гости.

Когда вышли на залитую солнцем лужайку, в мистера Проптера мертвой хваткой впилась миссис Пецеканьоло.

– Замечательная речь, а сколько вдохновения!– щебетала она, полыхая восторгом.

Мистер Проптер кивнул.

– Да, столько вдохновения на моей памяти, пожалуй, ни в одной речи не бывало,– сказал он.– А уж речей-то я слушал, поверьте, куда как много.

## 2

В Лондоне чуть светило блеклое солнце, потихоньку разгораясь, пока машина петляла в постепенно светлевшем смоге дальних пригородов, грея все сильнее,– и вдруг где-то у Эшера они вырвались в ослепительную ясность раннего весеннего утра.

Мистер Стойт, закутавшись в подбитую мехом накидку, лежал на заднем сиденье. Таблетки теперь приходилось принимать скорее ради того, чтобы легче стало не врачу, а ему самому, и до ленча трудно было бороться с сонливостью. Похрапывая и постанывая, он дремал почти все время с той минуты, как отъехали от отеля «Риц».

Вирджиния, бледная и грустная, все еще сосредоточенная на своем несчастье, от мыслей о котором нисколько не отвлекли пять дождливых дней, пока плыли через океан, и потом еще три в Лондоне, где стояла мерзкая погода, с отсутствующим видом сидела впереди.

А за рулем (нанимать шофера он счел неблагоразумным) был доктор Обиспо, и все насвистывал, а то напевал вслух: «Stretti, stretti, nell' estasi d'amor» [74] – и затем: «Нам добрый эль, ей-ей не повредит»,– и еще: «В чертогах мраморных проснулся...» Погода явно настраивала его на веселый лад – весна ведь, как это там? неповторимая, чудесная пора, цветочки повылезли, бальзаминчики, примулы вон на подоконниках, или, может, не примулы, ну, да черт с ними. Смешные эти англичане, полицию надо позвать, так они сразу: «Офицер! Офицер!» – у него глаза округлились, как в первый раз услышал, и вообще по любому поводу к фараонам кидаются, а вот фараонов-то и не надо нам, совсем не надо. Торчат на перекрестках, словно шесты, гирляндами перевитые, а мы возьмем гирлянду с них сорвем да цветочки поближе рассмотрим, поближе, как там насчет кишечной флоры фараоновой, небось, позанятней рыбьей будет. Кстати, о флоре этой, они как раз ею скоро и займутся, как не порадоваться. Ведь к этим старухам они и катят, к Хоберкам в усадьбу, и уж ясно, заодно кое-что про пятого графа выяснят, можно будет наконец разобраться, как со старением дело обстоит, если стерины подавить, и кишечную флору карпов поближе посмотрим.

[74] Волною прилива окатил нас экстаз любви (*итал.*).

Передразнивая оперных теноров, он запел: «В чертогах мраморных проснулся, кругом вассалы да рабы. Я королем вдруг обернулся, но мне холо-о-пы не любы».

Сидевшая рядом каменная от горя Вирджиния резко обернулась в порыве нахлынувшего раздражения:

– Ой, ну хватит же, Господи! – визгливо вскрикнула она, прервав молчание, которое хранила с самого Кингстона на Темзе.– Потише нельзя, что ли!

Доктор не обратил на нее ни малейшего внимания.

– «Своих сокровищ не счита-а-ю».– Кстати, отметил он, довольно ухмыльнувшись собственным мыслям, теперь так оно и есть, ну почти.– «Не перечесть их никому».– Преувеличение, однако. Можно перечесть, не собьешься. Так, кое-какие запасы, чтобы существовать безбедно. Живи себе спокойно да занимайся наукой, времени не тратя на всю эту ораву недужных, кому все равно помирать пора. Двести тысяч долларов наличными плюс сорок пять акров в долине Сан Фелипе, дядя Джо поклялся ему, что земельку эту не сегодня-завтра орошать начнут. (Пусть только не начнут, он старого осла так прищучит, тому небо с овчинку покажется.) «Сердечная недостаточность вследствие миокардита ревматического происхождения». Да за такое медицинское заключение можно было куда больше взять. А ведь он не просто свидетельство выписал. Полноте! Сколько повозиться пришлось, чтобы все шито-крыто было. (Да, вот и костюм тот, цвета кожи фавна, выкинуть пришлось, а ведь девяносто пять долларов он ему стоил.) Надо же было так сделать, чтобы никто из обслуги не явился; Малышке пришлось хорошую дозу морфия ввести да в постель отправить; а разрешение на кремацию! – его же у ближайших родственников брать полагается, у сестры в данном случае, хорошо еще, она не из богатеньких и живет в Пенсаколе, штат Флорида, так что в Калифорнию приезжать ей, судя по всему, дороговато оказалось. Но самое-то сложное было такую похоронную контору отыскать, где бы с пониманием подошли, уж и поломал он голову, пока один жулик не нашелся, ну, встретились, поговорили – несчастный случай, мол, не надо шуму поднимать, а уж насчет расходов не беспокойтесь, все в порядке будет; тот давай краснобайствовать – как же, такой известный человек, нельзя, чтобы имя его в грязи вываляли, в общем, наплел все, что всегда плетут, а уж потом прямо к делу приступили: от

фактов деваться некуда, однако и фикции кое-какие бывают нужны,– и осталось только о цене столковаться. Кончили тем, что мистер Пенго согласился не заметить дырок у Пита в черепе, взяв и всего-то двадцать пять тысяч за услуги.

– «Своих сокровищ не счита-а-ю, не перечесть их никому. Друзей на пир я созыва-а-ю, отрада сердцу...» Да, надо было больше со старикашки слупить, намного больше. А с другой стороны, зачем? Он же человек рассудительный, философ, можно сказать, без всяких там амбиций, и к мирской суете он безразличен, какие у него особенные потребности? вот разве наука, а в остальном удовлетворять свои запросы он умеет, не тратясь, наоборот даже, все нужное получает да еще с приварком, как у него с миссис Боянус вышло, уж так она без ума от него была, что тяжелую золотую табакерку презентовала, а еще те запонки жемчужные от Джозефины, и другие, с монограммой бриллиантиками, от этой, как ее, ах, черт, память никуда становится...

«Друзей на пир я созыва-а-ю, отрада сердцу и уму»,– в голосе его к заключительному куплету появилась страстность, и он с чувством пропел: – «Но радость прежня-я-я всех больше, меня ты любишь, как и вста-а-рь»,– все так же внимательно наблюдая за дорогой, он насмешливо покосился на отвернувшуюся Вирджинию; и, словно бы с целью удостовериться, что так оно и есть, повторил: – «... как и вста-а-рь», и еще раз, с нажимом: «Меня ты любишь, как и вста-а-рь!»

Он снова взглянул на нее. Вирджиния смотрела прямо перед собой, прикусив губу, как будто с твердой решимостью сдержать подступающие рыдания.

– Во сне, значит, как наяву? – мелькнула его волчья улыбка.

Малышка молчала. Мистер Стойт хрипел на заднем сиденье, точно бульдог на коротком поводке.

– Ну что, ты меня любишь, как и встарь? – он взял направо и прибавил скорости, обгоняя колонну армейских грузовиков.

Закусив губу, Малышка проговорила:

– Своими руками задушить готова.

– Естественно,– согласился доктор Обиспо.– Только не задушишь. Потому что любишь, как и вста-а-рь, и даже сильнее. Хотя вот что,– растянувшийся в улыбке рот все больше напоминал оскаленную пасть,– не меня ты любишь, как и вста-а-рь, а любишь только...– он помедлил.– Ладно, попробую поэтично выразиться, ах, поэзия, какое диво, век бы слушал, не

наслушался, правильно говорю? Итак, меня ты, само собой, не любишь, но любовь тебе нужна, без нее ну ни денечка не прожить, а потому, как до дела дойдет, не получается меня прикончить, никак не получается, и не пробуй. Ненавидишь меня – ладно, неважно, а важно, что любовь-то я тебе даю, вот какая штука.– Он снова запел: – «Яичко золотое мне курочка снесла, а курочку я скушал, такие вот дела».

Заткнув пальцами уши, Вирджиния старалась не слушать постыдную эту правду. Уж чего там, правда и есть. Даже после смерти Пита, после того, как на коленях поклялась она Пресвятой Деве, что никогда, никогда больше у нее этого с Обиспо не будет, все повторилось опять.

Доктор продолжал импровизировать: «Ах, курочка, бедняжка, тебе не повезло, зачем тебя, дурашка, на кухню понесло! Я цыпками покрылся, никак их не свести...»

Вирджиния прижала ладони еще плотнее. Да, все повторилось опять, хоть она и кричала – нет, не смей! с ума сходила от злости, дралась с ним, царапалась, а он только посмеивался, но от своего не отступал, пока она вдруг не почувствовала, что жутко устала и страдает она, ой, как страдает. Он-то свое взял, конечно, а хуже всего, что ей вроде как уже и хотелось, чтобы взял, ну то есть, очень она страдает, потому и хотелось, после этого немного легче становится, и про кровь больше не вспоминаешь, и поспать можно. А наутро все то же – презираешь себя и ненавидишь больше прежнего.

– «...чешусь, как сумасшедший, пора к врачу идти»,– допел доктор Обиспо и перешел на обычную речь.– Да, цыпки вот, приснилось, что прямо с ног до головы цыпками покрылся, знаю-знаю, согрешил, наказан, да много чего такого снится, дурные приметы, знамения там разные, колесницы огненные катятся, смола кипит, пламя раздувают. Ну, и пусть себе, другое тоже ведь снится, самое главное – знаешь, да? – песенка расцветилась самыми звонкими нотами – «радость прежня-я-я всех больше, меня ты любишь, как и вста-а-рь...»

– Заткнись! – крикнула Вирджиния срывающимся голосом.

Вскинулся, проснувшись, дядя Джо:

– Что случилось?

– Песни ей мои не нравятся,– кинул через плечо доктор Обиспо.– И с чего бы? – Пою я неплохо, очень даже неплохо. Особенно когда слушателей немного, вот как сейчас.– Он расхохотался во все горло. Привычка Малышки кидаться от

алтарей Приапа к амвону и обратно от души его забавляла. И погода выдалась такая чудесная, и фараоны вон вроде шестов с гирляндами, а кроме того, скоро он окончательно выяснит, как стерины воздействуют на старение,– замечательный нынче денек.

Приехали в половине двенадцатого. В будке у ворот никого не было, доктору пришлось вылезти, чтобы самому отодвинуть засов.

Дорожка, ведущая к дому, заросла травой, парк смешался с подступающим неухоженным лесом. Вырванные с корнем деревья догнивали там, где их свалила пронесшаяся буря. На досках ставень людской размякшими бесцветными булками лепились толстые пятна плесени. Зеленые беседки превратились в маленькие джунгли, сплошь покрывшись колючками – не продерешься. Бельведер в греческом стиле, когда-то украшавший маленький холмик, совсем развалился. Обогнув этот холмик, они увидели перед собой дом, строившийся, судя по фасаду, во времена короля Якова, но потом подвергшийся нелепым переделкам под готику девятнадцатого столетия. Живые изгороди вымахали вверх – тис покачивался разлохматившейся занавесью. По разбегавшимся зеленеющим кругам, в которые были вписаны какие-то прямоугольники, серпы и трапеции, можно было догадаться, что некогда здесь были цветники, уступившие место зарослям чертополоха и крапивы. Из буйно разросшейся травы на лужайке торчали проржавевшие ручки молотков для крокета.

Доктор затормозил у подъезда и вышел. Тут же откуда-то из колышущейся занавеси выскочила девочка лет восьми-девяти. При виде машины и незнакомых людей она в растерянности повернула было обратно, но, присмотревшись, осмелела и подошла поближе.

– Вон чего у меня есть,– выговорила она с сильным акцентом уроженки Южной Англии и протянула им противогаз; маска до половины была засыпана цветочками примулы и пролески.

Доктор Обиспо весело засмеялся.

– Гирляндочки! С гирляндочек оборвала, правильно? – Он провел ей рукой по волосам, похожим на паклю.– Тебя как звать-то?

– Милли,– представилась она и не без гордости сообщила.– А я в одно место пять дней уже не хожу.

– Пять дней!

Милли покачивала головой и вид у нее был такой, словно одержана великая победа.

– Бабуля говорит: к врачу, говорит, идти придется.– И она торжествующе улыбнулась, словно бы оповещала, что завтра ее увезут на остров Бали.

– Бабушка правильно говорит,– сказал доктор Обиспо.– А живете вы с бабушкой где, тут, что ли?

Девочка согласно кивнула.

– На кухне она сейчас,– объяснила Милли, прибавив без всякой связи: – А знаете, она глухая.

– Так, а леди Джейн Хоберк? – расспрашивал доктор.– Тоже тут живет? И эта, как ее,– леди Энн, верно?

Милли снова кивнула. По лицу ее пробежала лукавая улыбка.

– Хотите про леди Энн тайну скажу?

– Какую это тайну?

Вытянувшись на цыпочках, она зашептала доктору в самое ухо:

– В животе у ней урчит, не поверите.

– Что ты говоришь?

– Прямо вроде птички чирикают,– образно пояснила девочка.– Как покушает, и давай урчать.

Доктор снова погладил ее по взлохмаченной голове.

– Нам бы повидать ее надо. И леди Энн.

– Повидать? – в голосе Милли слышалась тревога.

– Ты бы сходила к бабушке, пусть она нас проводит. Милли замотала головой.

– Нет, не могу. Бабуля никого не пускает. Сюда за штуками этими приезжали,– она подняла противогаз.– А леди Джейн жутко разозлилась, испугала меня. Палкой своей как по лампе треснет – ну, не нарочно, понимаете, получилось у нее так, а лампа-то бабах! и по полу на кусочки разлетелась. Ой, смешно вышла, прямо помрешь.

– Умничка! – сказал доктор Обиспо.– А хочешь, мы их опять напугаем?

– Это как это? – девочка смотрела на него недоверчиво.

Доктор придал себе заговорщицкое выражение и громко зашептал:

– Вот что, ты нам какую-нибудь дверку боковую покажи, а мы тихо-тихо войдем,– он прошелся на цыпочках по дорожке.–

А потом как в комнату их ворвемся, как напугаем! Леди Джейн точно еще одну лампу разобьет, а мы посмеемся – в жизни так никто не смеялся. Ну, договорились?

– Бабуля жутко на меня разозлится,– сказала девочка с сомнением.

– А мы ей не скажем, кто нас впустил.

– Все равно узнает.

– Не узнает,– уверенно сказал доктор Обиспо. Затем, вкрадчивым голосом: – Ириску хочешь?

Девочка уставилась на него непонимающе.

– Ну, ириску, вкусненькую такую! – соблазнил он ее и вдруг вспомнил, что в идиотской этой стране конфеты как-то по-другому называются. А, черт, как же? Наконец, догадался: «Кармель, понимаешь? В красивой такой коробочке». Он кинулся к автомобилю и притащил роскошного вида бонбоньерку, купленную на случай, если Вирджиния проголодается в дороге. Сорвал обертку, дал девочке понюхать и захлопнул крышку.

– Ну, показывай как войти. Я тебе всю коробку отдам.

Пять минут спустя, обогнув дом со стороны готических пристроек, они вошли внутрь через балконную дверь. В сумрачной комнате стоял сильный запах пыли, сухой гнили и нафталина. Когда глаза привыкли к полутьме, стали видны стол для бильярда, скрытый под чехлом, каминная полка с позолоченными часами, книжный шкаф, где стояло собрание романов Вальтера Скотта в кожаных розоватых переплетах и восьмое издание «Британской энциклопедии»; висела большая потускневшая картина, на которой изображалось крещение будущего Эдуарда VII, и рогатые оленьи головы на стенах. Ближе к двери оказалась карта Крыма, размеченная флажками, показывавшими позиции под Севастополем и на Альме.

Не расставаясь с цветочками в противогазе, Милли приложила палец к губам и неслышными шагами двинулась по коридору за погруженной в полумрак гостиной, потом через вестибюль и опять коридором. Наконец, остановившись, указала на дверь.

– Сюда,– шепнула она.– Там они сидят.

Не говоря ни слова, доктор протянул ей бонбоньерку; девочка схватила ее и, словно кошка, сцапавшая кусок мяса, метнулась по темному проходу мимо Вирджинии с мистером

Стойтом, чтобы спокойно насладиться трофеем. Доктор посмотрел ей вслед, затем обернулся к своим спутникам.

Пошептавшись, решили, что ему следует войти одному.

Он недрогнувшей рукой потянул дверь и затворил ее за собой.

Малышка и мистер Стойт остались ждать и простояли в коридоре чуть не вечность. Вдруг из-за прикрытой двери донесся какой-то странный, все усиливающийся шум; выбежал Обиспо. Резко захлопнул дверь, вставил в замок ключ, дважды повернул.

Секунды не прошло, как ручку начали яростно дергать изнутри, скрипучий старческий голос выкрикнул: «Да как вы смеете!» По дереву требовательно забарабанили костяной тростью и тот же голос провизжал: «Отдайте ключи. Немедленно отдайте!»

Доктор положил ключи в карман и, сияя самодовольной улыбкой, пошел по коридору.

– Ну, скажу я вам, таких злобных старух сроду не встречал, ведьмы, да и только,– сказал он.– Сидят друг против друга у камина, словно королева Виктория с королевой Викторией разговаривает.

К кричавшей присоединился второй голос, по двери колотили и царапали все яростнее.

– Давайте, давайте! – презрительно фыркнул доктор Обиспо и, подтолкнув мистера Стойта, привычно шлепнув Вирджинию по попке, скомандовал: – Пошли! Ну, чего встали?

– Куда пошли-то? – недовольно пробурчал мистер Стойт. Он так и не понял, на кой черт затеяли эту поездку за океан, разве вот чтобы в замке не оставаться. Ну, ясное дело, уехать надо было обязательно. Тут и думать нечего, о другом бы подумать, смогут ли они вообще домой вернуться, после такой-то передряги, сможет ли вот он снова у бассейна позагорать? О Господи, как вспомнишь, ужас берет...

Но какого рожна их понесло в Англию? Да еще в такое время года. Во Флориду бы им двинуть или там на Гавайи. Так нет, Обиспо как с ножом к горлу – в Англию, и баста. Наука, мол, того требует, важные вещи можно будет выяснить. А как ему с Обиспо спорить – не по силам ему это, пока не по силам. Да и обойтись без него никак нельзя. Нервы, желудок – все к чертям собачьим испорухалось. И спать без таблеток не может, а как фараона на улице заприметит, сердце-то прямо прыгает,

прыгает. Хоть до посинения тверди: «Бог есть любовь. Смерти нет»,– толку никакого. Старый он стал, со здоровьем плохо, скоро уж и конец ему придет, совсем скоро, если только Обиспо чего-нибудь прямо сейчас не придумает, лекарство какое найдет, только чтобы без промедления...

В едва освещенном коридоре мистер Стойт вдруг остановился.

– Обиспо! – сказал он, прислушиваясь, как обе леди Хоберк молотят тростями по двери своей превратившейся в камеру каминной.– Послушайте, Обиспо, а вы абсолютно уверены, что нет никакого ада? Доказать можете?

Доктор захохотал.

– А вы можете доказать, что на изнанке у Луны живут зеленые слоны?

– Нет, кроме шуток,– стоял на своем мистер Стойт.– Чувствовалось, что он встревожен.

– Я и не шучу,– весело ответил доктор.– Нельзя доказывать тезисы, не поддающиеся проверке опытом.

Подобные разговоры Стойт заводил с ним и прежде. И доктор находил нечто в высшей степени комичное, наблюдая, как обезумевший от страха старик пытается всему отыскать логичное обоснование.

Малышка слушала их беседу молча. Уж насчет ада она все точно знает, насчет того, куда обречены попасть совершающие смертные грехи вроде того, какой она опять совершила, хоть и поклялась Пресвятой Деве, что никогда это не повторится. Но Дева ведь такая добрая, милосердная такая. И к тому же, если разобраться, во всем виноват Зиг, кобель этот ненасытный. А у самой нее помыслы самые чистые, да только Зиг вламывается к ней, и все, тут же заставляет обет нарушить. Пресвятая Дева поймет ее. Самое жуткое, что это опять повторилось, хотя он ее в тот раз и не заставлял. Но все равно, не ее тут вина, если вдуматься, она ведь такая несчастная была, и чувствовала себя совсем слабенькой, и страдала ужасно...

– Хорошо, а как вы думаете, возможно, чтобы ад все-таки существовал? – опять завел свое мистер Стойт.

– Все возможно,– с безмятежностью ответил доктор. Он остановился, прислушиваясь, что там верещат эти ведьмы за дверью.

– Значит, хоть один шанс из тысячи есть, что ад существует? Один из миллиона?

Усмехнувшись, доктор Обиспо передернул плечами.

– Вы бы лучше у Паскаля осведомились,– посоветовал он.

– У какого Паскаля? – заинтересовался мистер Стойт, готовый ухватиться за любую соломинку.

– Да нет, он уж умер давно.– Веселье так и распирало доктора Обиспо.– Самого его все равно что ручку эту дверную расспрашивать. Ну ладно, пошли, Бога ради! – и, схватив дядю Джо за руку, доктор чуть не поволок его за собой.

Услышав о Боге, мистер Стойт весь затрепетал от ужаса.

– Но мне надо точно знать!

– Как это вы хотите точно знать, чего знать нельзя!

– Не может быть, чтобы выяснить невозможно было.

– А вот невозможно. Помрете, тогда и выясните, что да как. Куда к дьяволу девчонка эта запропастилась? – раздраженно говорил доктор.– Милли!

Девочка с перемазанным липким лицом нашлась под вешалкой для зонтиков в вестибюле. Она жевала, не переставая.

– Нашли, кого хотели? Доктор кивнул.

– Они решили, я из противовоздушной обороны, насчет защиты от налетов.

– Во-во,– взволнованно сказала девочка.– В тот раз она потому и лампу кокнула.

– Поди сюда, Милли,– велел ей доктор Обиспо. Она подошла.– Двери в подвал где?

Лицо Милли исказилось страхом.

– Заперто там.

– Знаю,– сказал доктор.– Леди Джейн ключи мне дала.– Он вытащил связку: три больших ключа болтались на кольце.

– Призраки там всякие водятся,– прошептала Милли.

– Про призраков давай не будем.

– А бабуля говорит, они страшные такие,– захныкала девочка.– Как привяжут, ни за что не отпустят! – Она чуть не ревела.– Говорит, если я в одно место не буду ходить, как положено, меня призраки утащат. А чего ходить, не получается, и все.– Слезы уже катились у нее по щекам.– Я виноватая разве?

– Конечно, не виноватая,– нетерпеливо перебил ее Обиспо.– Никто вообще ни в чем не виноват. Даже в своем запоре. Ладно, покажи мне, где дверь в подвалы.

Захлебываясь слезами, Милли трясла головой.

– Боюсь я.

– Да ведь спускаться туда я тебя не прошу. Просто покажи, где дверь, и все.

– Не хочу.

– Ну, не надо, ты же хорошая девочка,– успокаивал ее доктор Обиспо,– сделай, что просят.

Окаменев от страха, Милли только содрогалась, захлебываясь рыданиями.

Стремительным движением доктор выхватил у нее из рук бонбоньерку.

– Не скажешь, больше никаких ирисок не будет,– раздраженно сказал он и тут же поправился: – Карамелек, то есть.

Милли вскрикнула от горя, тут же попытавшись вернуть себе коробку, но доктор поднял ее повыше – не допрыгнешь.

– Нет, сначала покажи дверь в подвалы,– и, чтобы убедить ее в серьезности сказанного, он, вытащив из бонбоньерки пригоршню конфет, принялся отправлять их в рот.– Сладкие какие! – причмокнул он.– А вкусные! Знаешь, хорошо, что ты нам помочь не захотела, я теперь сам их съем.– На лице его появилось выражение блаженства.– Прелесть какая! Бедненькая Милли! А ей ни конфеточки не достанется,– и он выгреб из бонбоньерки еще.

– Не надо! Ой, не надо! – вопила девочка, горестно наблюдая, как челюсти Обиспо перемалывают чудесные эти коричневые шарики один за другим. Жадность победила страх, и, словно вероотступница, сломленная пыткой, но поклявшаяся все сказать на исповеди, она крикнула: – Ну покажу я вам, где двери, покажу!

Чудо свершилось тут же. Доктор кинул в бонбонеьерку оставшиеся конфеты и закрыл крышку.

– Пошли! – сказал он, протягивая девочке руку.

– Вы коробоку отдайте! – канючила она. Доктор, искушенный в дипломатии, покрутил головой.

– Нет, ты сначала нас проводи.

Секунду Милли колебалась, но, признав печальную необходимость выполнить свои обязательства по договору, взяла его за руку.

Сопровождаемые дядей Джо и Малышкой, они вышли из вестибюля, пересекли гостиную, миновали коридор, карту Крыма, бильярдную, еще один длинный коридор и попали в просторную библиотеку. Красные плюшевые занавески были

задернуты, но немного света сочилось из щелей. На стеллажах высотой почти под терявшийся в полумраке потолок коричневыми, голубыми, розовыми рядами стояли классики, и на равном удалении один от другого высились водруженные на тумбы из красного дерева бюсты знаменитых мертвецов.

– Вон леди Джейн, видали? – по секрету сообщила Милли, указывая на голову Данте.

– Господи Иисусе! – не выдержал, наконец, мистер Стойт.– Вы что затеяли? Куда это мы тащимся, черт возьми?

Доктор Обиспо пропустил сказанное мимо ушей.

– Ну, и где же дверь? Девочка махнула рукой.

– Это что еще за шуточки,– начал было доктор с возмущением, но тут же увидел, что один из стеллажей, забитых книгами, на самом деле представлял собой декоративное сооружение – несколько планок, обтянутых кожей, по которой нарисованы были корешки тридцати трех выпусков Полного свода проповедей архиепископа Стиллингфита, а также (вот она, рука пятого графа!) Собрания произведений Донатьена Альфонса Франсуа маркиза де Сада в семидесяти семи томах. Подойдя поближе, он обнаружил и замочную скважину.

– Карамельки мои отдавайте,– потребовала девочка.

Доктор, однако, не желал никаких неожиданностей.

– Сперва посмотрим, подходит ли ключ.

Он приналег, и со второго раза замок подался.

– На вот, держи.– Бонбоньерка перешла к Милли, и в тот же миг дверь распахнулась. С воплем ужаса девочка метнулась прочь.

– Вы что затеяли, говорю? – тревожился мистер Стойт.

– Затеял? – переспросил доктор Обиспо, рассматривая ступени, ведшие вниз, где лестница утопала в кромешной тьме.– Ничего я не затевал, только вы вот все интересовались, существует ли ад, так мы это скоро узнаем. Не сию минуту, правда, но думаю, что скоро. Слава тебе, Господи, какой-никакой, а свет у нас будет.

Два старинных корабельных фонаря стояли на полке, приделанной к двери с внутренней стороны. Доктор взял один из них, встряхнул, поднес к носу. Масло в нем было. Он зажег оба, один отдал мистеру Стойту и, вооружившись вторым, начал осторожно спускаться.

Долго шли все вниз и вниз, пока не попали в круглую камеру, вырубленную в желтом песчанике. Там оказалось

четыре двери. Наугад открыв ближайшую, очутились в узком коридоре, который опять привел в камеру с двумя выходами. Первый вел в тупик, за вторым снова начиналась лестница, по которой они добрались до пещеры, куда в далекие времена сваливали мусор. Идти оттуда было некуда; медленно, стараясь не терять собственного следа, но все-таки дважды повернув в неверном направлении, они вернулись в круглую камеру, откуда начинали свою экспедицию, и пошли через другую дверь. Сбегающие вниз пролеты, несколько небольших зальчиков. В одном стены были оштукатурены и покрыты скабрезностями, нацарапанными полтора столетия назад. Они шли все дальше, дальше, миновали еще одну лестницу и оказались в большой квадратной комнате, где была воздушная шахта,– через уходящую под углом вырубку в камне откуда-то очень издалека сочился, мерцая, дневной свет. Дальше пути не было. Пришлось опять поворачивать. Мистер Стойт пустился в жалобы, но настояниями доктора поиски продолжались. Решили обследовать третий выход. Коридор, три примыкающих друг к другу помещения. Из последнего две двери, за одной лестница вверх, однако почти тут же упирающаяся в каменную стену, за другой тоже лестница – она вела в коридор, проложенный ниже. Прошли футов тридцать-сорок – слева открылась ниша. Доктор Обиспо посветил фонарем, и в слабых лучах они увидели сводчатый лаз, в самом конце которого стояла на лепном возвышении мраморная копия Венеры Медичи.

– Ах ты, шут бы их побрал! – воскликнул мистер Стойт, но почти тут же его охватила паника.– Послушайте, Обиспо, как эту штуковину сюда втащили, а? – приставал он к доктору, стараясь идти рядом.

Доктор ничего не ответил, возбужденно шагая все вперед и вперед.

– Чокнутые какие-то,– заключил мистер Стойт, ковыляя следом.– Совсем чокнутые. Знаете, не нравится мне тут.

После долгого молчания доктор обронил наконец, растягивая пасть, точно волк над добычей:

– Надо бы ее достать да в Пантеон «Биверли» отправить. Так, а это что за штуковина такая?

Лаз вывел их в довольно большую комнату. Посередине стояло что-то вроде каменного жернова с двумя высокими железными опорами по бокам, на которых, закрепленный брусом, покоился барабан с цепью.

– Колодец! – воскликнул доктор, тут же вспомнив соответствующее место в записях пятого графа.

Со всех ног он помчался к туннелю, начинавшемуся у дальней стены. Пробежал несколько метров, и путь ему преградила тяжелая дубовая дверь, инкрустированная шляпками гвоздей. Вытащив ключи, доктор вставил первый попавшийся, и дверь сразу отворилась. Они стояли на пороге маленькой прямоугольной камеры. Фонарь высветил дверцу на противоположной стороне. Доктор тут же бросился к ней.

– Тушенка! – констатировал изумленный мистер Стойт, когда его фонарь выхватил из тьмы множество банок и жестяных коробок, которыми были заставлены полки высокого шкафа, занявшего чуть не всю стену.– «Креветки Билокси. Ананасные дольки. Бобы по-бостонски»,– читал он и, покончив с этикетками, повернулся к доктору.– Вот что, Обиспо, мне тут совсем, совсем не нравится.

Малышка вытащила платочек, смоченный одеколоном «Потрясение», и поднесла к носу.

– Запашок тут,– пробормотала она едва внятно и передернулась от отвращения.– Ужас просто!

Обиспо тем временем подбирал ключ к дверце. Наконец, ее удалось отпереть. Теплый воздух ворвался в комнату и вместе с ним хлынула нестерпимая вонь. «О Господи!» – простонал мистер Стойт, а Малышка, прижав платок к лицу еще плотнее, издала вопль не то страха, не то омерзения.

Доктор, корчась от запахов, шел навстречу потокам гнилых испарений. Короткий коридорчик привел его к еще одной двери – из железных прутьев, точно в камерах смертников, отметил он про себя. Он водил фонарем, направив его прямо в зловонную тьму.

Мистер Стойт с Малышкой, оставшиеся в комнате, вдруг услышали возглас изумления, секунду спустя сменившийся неистовым, конвульсивным хохотом,– металлический, беспощадный смех доктора Обиспо накатывал оглушительными волнами. Словно бы лихорадка сотрясала их спутника, и гогочущие звуки, мечась под тесными сводами, заполнили все пространство без остатка. Вонючий теплый воздух ходуном ходил от приступов безудержного веселья, раскалывалась голова.

Сделав знак Вирджинии следовать за ним, мистер Стойт ринулся к противоположной стене и, напрягая силы, побежал по

узкому туннелю. Гоготанье Обиспо действовало ему на нервы. «Какого вы черта?» – заорал он с раздражением, протискиваясь вперед, но не докончил фразы.– А это что такое, Господи? – прошептал он.

– Да видите ли, ну вроде недоразвившийся орангутанг,– начал было пояснять доктор Обиспо, однако новый приступ смеха согнул его пополам, точно он получил удар в солнечное сплетение.

– Пресвятая Дева! – пролепетала Малышка, прикрываясь платком.

За железными решетками при тусклом свете фонаря им открылся крохотный мирок разнообразных форм и красок. На краю низкой кровати восседал, царя над этим мирком, мужчина и как зачарованный смотрел прямо на фонарь. Ноги, покрывшиеся густой рыжеватой шерстью, были ничем не прикрыты. Рубашка, единственное его одеяние, прорвалась и засалилась. Наискосок через могучую грудь шла широкая шелковая лента, как можно было догадаться, некогда голубая. На шнурке, обмотавшем шею, болтался медальон со Св. Георгием, поражающим Дракона,– золото по эмали. Он сидел скрючившись, спрятав голову между поднятых плеч и устремив подбородок вперед. Мощной, но какой-то до странности неуверенной ладонью существо это потирало больное место, красным пятном выступавшее из-под волос на левой лодыжке.

– Вот, прошу: зародыш орангутанга, у которого было вполне достаточно времени, чтобы стать взрослой особью,– справившись наконец с собой, проговорил доктор Обиспо.– А хорош-то, до чего хорош, нет, не могу! – Его снова затрясло от хохота.– Вы на физиономию взгляните! – выдавил он из себя, пальцем указывая через прутья. Прямо на них из глубоко запавших глазниц над спутанными волосами, толстым слоем закрывшими челюсти и щеки, были наставлены голубые зрачки. Брови отсутствовали, зато полкой нависала над грязными морщинами огромная заостренная кость.

Вдруг из глухой тьмы фонаря выхватили еще одно обезьяноподобное лицо – почти безволосое, так что на нем ясно видна была не только кость, хребтом нависшая над глазами, но и странно скривившаяся нижняя челюсть и необыкновенные наросты за ушами. Вслед лицу явилось на свет и тело, укутанное в старый клетчатый халат, который украшали какие-то стекляшки.

– Ой, женщина, что ли? – зашептала Вирджиния, которую тошнило от ужаса и отвращения, вызываемого этими движущимися перемазанными мумиями.

Доктор зашелся в припадке еще более шумного веселья.

Мистер Стойт вцепился ему в плечо, встряхнув со всей силы:

– Это что за типы?

Обиспо вытер слезящиеся глаза, перевел дух, овладевая собой,– неистовый его смех постепенно утихал. Он уже собрался ответить мистеру Стойту, но тут существо в рубашке вдруг обернулось к той, другой, в халате, и треснуло ее по голове. Сильная ладонь угодила прямо по щеке. Существо в халате зашлось воплем ярости и боли, отпрянув назад в темноту. Оттуда неслись нечленораздельные визгливые выкрики, похоже, представлявшие собой сплошное кощунство.

– Вот это, которое с орденом Подвязки, – сказал доктор Обиспо, перекрывая шум, – это пятый граф Гонистер. А второе – его домоправительница.

– И кто же их так уделал?

– Время, только и всего, – безмятежно ответил доктор.

– Время?

– Насчет самки точно не знаю, – продолжал доктор. – А вот графу... постойте-ка, в январе ему стукнул двести один годик.

Из темноты по-прежнему вопила пронзительным голосом самка и сыпала невнятными оскорблениями. Не обращая на нее внимания, пятый граф почесывал больную лодыжку.

А доктор все говорил. Замедление процессов развития организма... один из механизмов эволюции... антропоиды с возрастом глупеют... старение, интоксикация стеринами... кишечная флора карпов... пятый граф сделал открытие первым, опередил, подлец... зародыш антропоида теперь обретает способность взросления... изумительно! в жизни так не смеялся!

Не сходя с места, пятый граф помочился на пол. Визг в темноте стал еще громче. Обернувшись, граф утробным голосом исторг целый залп давно забытых непристойностей.

– Больше никаких экспериментов не требуется, – заключил доктор Обиспо. – Сомнений нет: метод работает. Начнете принимать кашку немедленно. Немедленно! – повторил он с саркастической эмфазой.

Мистер Стойт молчал.

По ту сторону решетки пятый граф поднялся и, потянувшись, почесал грудь, зевнул, сделал шаг-другой туда, в темноту. Визги домоправительницы стали прерывистей, взволнованнее. Притворяясь, что ему это все равно, граф не спеша расправил широкую орденскую ленту, потрогал пальцем медальон и при этом издал звуки напева, при всей необычности позволявшие угадать мелодию из «Дон Жуана» в обезьяньем переложении. Существо в халате, подхватив напев, тоже заскулило, и голос точно бы скрадывала темнота. Вдруг, свирепо зарычав, пятый граф мощным прыжком перекрыл все освещенное пространство и исчез во мраке. Послышались стремительные шаги, сопровождаемые воплями, затем донесся вскрик, отзвуки глухих ударов и новые вскрики, быстро утихшие и сменившиеся неровным хриплым урчанием, перемежавшихся попискиванием.

И тут заговорил мистер Стойт.

– Это сколько же лет потребуется, чтоб до такого дойти? – медленно, раздумчиво сказал он,– Ну, то есть не сразу же так вот, как эти... какое-то время человек все-таки... ну, как сказать, нормальным остается, верно? Главное дело, шоку нельзя поддаваться, – присмотришься, этим вроде как и хорошо. На свой лад, конечно, а все равно неплохо им, совсем неплохо. Вы как думаете, Обиспо?

Доктор долго смотрел на него, не произнося ни слова, потом, откинув голову, опять захохотал.

## Оглавление


| | |
|---|---|
| Предисловие | 5 |
| Часть I | 7 |
| Часть II | 160 |
| Часть III | 236 |

Олдос Хаксли
ХІ6 И после многих весен. Роман, пер. с англ. М.: Издательство имени Сабашниковых, 1992. – 272 с.

ISBN 5-8242-0004-1

Действие романа происходит в роскошном калифорнийском поместье американского магната, пригласившего английского профессора для разборки купленных им семейных архивов аристократического британского рода. Острый сюжет не мешает автору затронуть глубокие философские проблемы жизни и смерти реальности и иллюзии. На русский язык переведен впервые.

4703010100–001
Х ——————— КБ 22-25-1991 ББК 84.4.Вл.
Б94(03)–1992

Олдос Хаксли
И ПОСЛЕ МНОГИХ ВЕСЕН

Редактор М. Шумская
Оформление А. Мусин

Сдано в набор 22.11.91. Подписано к печати 24.01.92. Формат 84χ 108/32. Бумага кн. журнальная. Печать офсетная. Гарнитура «Тайме». Усл. печ. л. 14,28. Уч.-изд. л. 14,15. Тираж 50 000. Заказ 2440. Цена договорная.
Издательство имени Сабашниковых. 119146, Москва, 2-я Фрунзенская, 7.

Российский государственный информационно-издательский центр «Республика» «Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, Краснопролетарская, 16.